# Время должно остановиться

# Олдос Хаксли

# Перевод И. Моничева

*Но мысль — рабыня жизни, жизнь — забава*

*Для времени, а время — мира страж —*

*Должно найти когда-нибудь конец.*

У. Шекспир. Король Генрих IV[[1]](#footnote-1)

## I

Себастьян Барнак вышел из читального зала публичной библиотеки и задержался в вестибюле, чтобы надеть свое поношенное пальто. Глядя на него, миссис Окэм почувствовала, как ее сердце пронзила сталь меча. Это маленькое, утонченное создание с ангельским личиком и светлыми вьющимися волосами было живым воплощением ее собственного, ее единственного, ее ушедшего милого сыночка.

Она заметила, что губы мальчика шевелились, пока он влезал в рукава пальто. Говорит сам с собой точно так же, как когда-то ее Фрэнки. Он повернулся и пошел к выходу мимо скамьи, на которой она сидела.

— Погода сегодня вечером промозглая, — сказала она громко, подчиняясь внезапно вспыхнувшему желанию ненадолго удержать этот живой призрак, провернуть воспоминание с острыми краями в своем израненном сердце.

Неожиданно выведенный из глубокой задумчивости Себастьян остановился, повернулся и несколько секунд непонимающе смотрел на нее. Затем до него дошел смысл этой по-матерински сочувственной улыбки. Взгляд его стал жестким. Такое с ним случалось и прежде. Женщина воспринимала его как одного из сладеньких детишек в колясках, которых всем им непременно хотелось погладить по головке. Надо бы проучить старую стерву! Но ему, как обычно, не хватило смелости и присутствия духа. И потому он лишь чуть заметно улыбнулся и сказал: да, вечер в самом деле выдался ненастным.

Миссис Окэм открыла сумочку и достала небольшую коробку из белого картона.

— Могу я тебя угостить?

Она протянула коробку к нему. Это было французское шоколадное печенье, любимое лакомство Фрэнки, впрочем, и ее тоже. Миссис Окэм питала слабость к сластям.

Себастьян посмотрел на нее в нерешительности. Правильное произношение, одежда из твида, хотя и несколько бесформенная, хорошо подобрана и качественной выделки. Но сама женщина толстая и старая — лет сорока, не меньше, решил он. И колебался между искушением поставить это навязчивое существо на место и не менее острой тягой к вкуснейшим langues de chat[[2]](#footnote-2). Она похожа на мопса, отметил он про себя, глядя на ее плоское и пухлое лицо. Розового бесшерстного мопса с плохой кожей на мордочке. После чего решил, что может принять «шоколадку», не жертвуя ни малой толикой собственного достоинства.

— Благодарю вас, — сказал Себастьян и одарил ее одной из тех полных очарования улыбок, которые на пожилых леди всегда действовали совершенно безотказно.

Быть семнадцатилетним, чувствовать, что обладаешь умом совершенно зрелого мужчины, а выглядеть подобием ангела делла Роббиа, которому не дашь и тринадцати, — какая абсурдная и унизительная участь! Но в прошлое Рождество он читал Ницше и знал, что должен Любить свою Судьбу. Amor fati[[3]](#footnote-3), но только с долей здорового цинизма. Если люди готовы платить, чтобы поглазеть на того, кто выглядит моложе своих лет, отчего не дать им такую возможность?

— Какая вкуснятина!

Он снова улыбнулся ей, и уголки его губ уже были коричневыми от шоколада. Меч в сердце миссис Окэм с мучительной болью провернулся еще раз.

— Возьми всю коробку, — сказала она. Ее голос дрожал, в глазах блеснули слезы.

— Нет, что вы, я не могу...

— Возьми, — настаивала она. — Возьми же.

И она буквально втиснула коробку ему в руку — руку Фрэнки.

— О, спасибо... — Как раз на это Себастьян и надеялся, даже рассчитывал. У него уже накопился опыт общения со старыми и сентиментальными дурочками.

— У меня тоже когда-то был сынок, — надтреснутым голосом сказала миссис Окэм. — Очень похожий на тебя. Те же волосы и глаза...

Слезы потекли по ее щекам. Она сняла очки и протерла их. Потом высморкалась, встала и поспешила в читальный зал. Себастьян смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью. Внезапно на него накатило ужасное чувство вины и стыда. Он посмотрел на коробку в своей руке. Какой-то мальчик должен был умереть, чтобы он сейчас лакомился langues de chat: и если бы его собственная мать была жива, она достигла бы примерно тех же лет, что и это несчастное создание в очках. И если бы умер он сам, то она тоже стала бы несчастной и сентиментальной. Под влиянием импульса Себастьян едва не выбросил коробку, но сдержался. Нет, это глупость, какое-то нелепое суеверие. Он сунул коробку в карман и вышел в окутанные туманом сумерки.

«Миллионы и миллионы», — шептал он, и невообразимая масштабность зла, казалось, только возрастала при каждом повторе этой фразы. По всему миру миллионы и миллионы мужчин и женщин испытывали боль, миллионы умирали вот в эту самую секунду, миллионы оплакивали их с искаженными мукой лицами, как у этой старой карги, со слезами, струящимися по щекам. И еще миллионы голодных, миллионы испуганных, нездоровых и не находящих умиротворения. Миллионы подвергались оскорблениям и побоям со стороны других миллионов — грубых и жестоких. И повсюду вонь отбросов, спиртного и давно не мытых тел; повсеместно все заражено тупостью и обезображено уродством. Ужас не исчезнет, даже если ты сам почувствуешь себя здоровым и счастливым, — ужас всегда рядом. За ближайшим углом или почти за каждой соседней дверью.

И когда Себастьян спускался по Хаверсток-Хилл, он чувствовал, как им полностью овладевает необъятная обезличенная тоска. Казалось, ничего больше не существовало, кроме смерти или нестерпимой боли.

И тут ему вспомнились слова из Китса: «Огромная всемирная агония!» Огромная агония. Он напряг память, чтобы вспомнить другие строки. «Никто не доберется до таких вершин...» Как же там дальше?

Никто не доберется до таких вершин, вещала эта тень ему,

Но только тот, кого печалит вся Вселенной скорбь,

Кто горем тем проникся до глубин души, кому покоя нет...[[4]](#footnote-4)

Как это верно! И наверняка Китс думал об этом холодным весенним вечером, спускаясь с холма в Хэмпстеде, так же, как сейчас сам Себастьян. Шел, останавливался, откашливался и думал о собственной смерти, как и всякий другой. Еле слышным шепотом Себастьян начал повторять строки:

Никто не доберется до таких вершин, вещала эта тень ему,

Но только тот...

Но, боже мой, как же ужасно звучали эти строчки вслух! Никто не доберется до таких вершин, вещала эта тень ему, но только тот, кого, кому... Разве он сам мог не слышать этих повторов? Впрочем, Китс часто допускал небрежности. И гениальность не уберегала его от порой жутких ляпов и дурного вкуса. В «Эндимионе» попадались места, от которых только и можно было содрогнуться. А если учесть, что все это еще и имело отношение к Греции...

Себастьян улыбнулся с сочувственной иронией. Наступит день, когда он всем покажет, что можно сотворить на основе греческой мифологии. А пока он мысленно вернулся к словам, которые пришли на ум в библиотеке, когда он читал книжку Тарна по истории эллинской цивилизации. «Не думай о сушеных фигах!» — так должна была начинаться строчка. Или: «Не думайте о высушенных фигах...» Но ведь чем так плохи сушеные фиги? Рабов, например, сушеными фруктами не кормили. Им доставались только никуда больше не годные отбросы. «Не думайте о сгнивших фигах». Вот как! И определение оказывалось на слог короче, что всегда хорошо.

Не думайте о сгнивших фигах, об унижениях побоев,

О стариках, что умереть боятся...

Нет, это невероятно плоско! Как ровная мостовая, укатанная паровым катком, как худшее из Вордсворта. А если так: «О стариках, которых смерть страшит»?

О стариках, которых смерть страшит,

О женщинах...

Он надолго задумался, как в двух словах передать гнетущую жизнь в гинекее. А потом из таинственного источника света и энергии, скрытого в его сознании, выступило превосходно подходящее сочетание: «О женщинах, что заперты по клеткам».

Себастьян не сдержал улыбки, когда воображение нарисовало ему эту картину — целый зоопарк из диких, не поддающихся приручению девиц, оглушительное карканье и щебет в просторном вольере для старых дев и вдовушек. Эти образы пригодятся для другой поэмы — той, в которой он сведет счеты со всем слабым полом. Но сейчас речь об Элладе — реальном историческом убожестве Греции, ее придуманной славе. Придуманной, конечно, когда речь шла о народе в целом, но наверняка доступной для отдельной личности, и в первую очередь — для поэта. Однажды, хоть пока и не ясно как и где, Себастьян сумеет до этой славы дотянуться, в чем у него не возникало ни тени сомнения. А сейчас важно не выставить себя дураком. Следовало смирять ностальгическую страсть, добавляя к экспрессии чуть-чуть иронии, сдабривая вожделенный идеал щепоткой острой приправы абсурда. Совершенно забыв об умершем мальчике и о всемирной агонии, он угощался langues de chat из лежавшего в кармане запаса и с набитым ртом возобновил опьяняющий труд сочинителя.

Не думайте о сгнивших фигах, об унижениях побоев,

О стариках, которых смерть страшит, о женщинах, что заперты по клеткам.

Но довольно истории. Теперь в ход пойдет фантазия.

И — круглый год — в июне...

Он помотал головой. «Круглый год» — словно на уроке географии недалекий директор описывает климат какого-нибудь Эквадора. «Хронический» или «застарелый» сами просились на замену. Возникавшие при этом ассоциации с варикозными венами и болтовней домработниц на кокни его порадовали.

В хроническом июне этих мест блаженных

Какие только Алквиады не отступали бороду Платона!

Мерзость! Здесь не место именам собственным. Быть может, «какие только мускулы стальные»? Нет. Не точно. И тут же, как манна небесная, подсказка: «Надменные тяжеловесы». Да, да — «надменные тяжеловесы наклонялись». Он даже рассмеялся вслух. Стоило заменить Платона на мудрость, и у него получилось:

В хроническом июне этих мест блаженных

Надменные тяжеловесы наклонялись над мудрости седою бородой.

Себастьян несколько раз со смаком повторил это двустишие. Настал черед противоположного пола.

Где-то рядом раздаются и звон струны, и пение флейт.

Он шел, наморщив лоб, недовольный собой. Эти взметнувшиеся фигуры вакханок, эти груди и ягодицы у Праксителя, эти танцовщицы на амфорах — как же дьявольски трудно понять и описать их! Сжать, чтобы выразить суть! Слепить из этих обольстительных образов один чувственный комок, чтобы затем в едином порыве выдавить из него полный бокал словесного сока: пьянящего и возбуждающего, терпкого и сладострастного. Легче сказать, чем исполнить. Но его губы снова шевелились.

— Где-то рядом, — прошептал он.

Где-то рядом раздаются и звон струны, и пенье флейт.

Там круг за кругом вихрь кружится танца упругих и пластичных тел,

Отброшены последние покровы с манящих плотских лун!

Себастьян вздохнул и покачал головой. Еще не совсем то, что нужно, но временно придется удовлетвориться этим. Он не заметил, как дошел до угла. Отправиться сразу домой или добраться до Бэнтри-плейс, встретить Сьюзен и дать ей послушать новые стихи? Немного подумав, Себастьян избрал второй вариант и повернул направо. Ему захотелось аудитории и аплодисментов.

...упругих и пластичных тел,

Отброшены последние покровы с манящих плотских лун!

Но, быть может, вся вещь пока что слишком коротка? Да, будет неплохо вставить пару строф между этими пластичными телами и финалом, подобным сверканию пурпурных бенгальских огней. Покуситься даже на Пантеон, почему нет? Или взять что-то из Эсхила. Было бы занятно.

В сравненьи с этим меркнут все трагедии,

Фальшивы те возвышенные речи, что исторгают в муках рты...

Но боже милостивый! Вот же те бенгальские огни, которые неудержимо и даже непрошено сами рвутся в его стихи.

И ежечасно, поражая взгляд, над островами в море гиацинтов

Открыта взору яростная похоть...

Нет, нет, нет. Слишком расплывчато, слишком бесплотно, абстрактно!

Быки и юноши, изогнутые шеи лебедей

И нежные соски грудей прелестных.

Какая торжествующая похоть,

Зажженная ярчайшим из огней...

Но «ярчайшим» не соответствовало замыслу. Это слово означало только само себя, и ничего более. Ему нужен был эпитет, который показывал не только интенсивность огня, но придавал бы ему святости, страстно хранимой веры даже в сексуальном экстазе, оставаясь поэтичным (и религиозным — каждому свое!) и возвышая действо над обыденным людским существованием.

Он вернулся к началу, в надежде с разбега по инерции преодолеть возникшее препятствие.

И ежечасно, поражая взгляд, над островами в море гиацинтов

Быки и юноши, изогнутые шеи лебедей

И нежные соски грудей прелестных.

Какая торжествующая похоть,

Зажженная... Зажженная...

Себастьян помедлил, и слово пришло.

Зажженная чистейшим из огней, от жара Истинного Света,

Когда в своей невинности святой сплетаются в совокупленье Боги!

Но вот он уже свернул на Бэнтри-плейс, и, хотя окна пятого дома были закрыты и плотно занавешены, он мог слышать, как Сьюзен на уроке музыки играет мелодию Скарлатти, над которой билась всю зиму. Ему пришло в голову, что такая музыка, наверное, зазвучала, если бы пузырьки шампанского могли в строгом ритме всплывать к поверхности и лопаться с сухим и пикантным звуком, каким было само вино, из глубин которого они поднимались. Сравнение так понравилось Себастьяну, что он напрочь забыл, что еще никогда в жизни не пробовал шампанского. Нажимая на кнопку звонка, он завершил мысль, вообразив музыку даже более сухой и пикантной, как если бы ее исполняли на клавесине, а не на приторном «Блютнере» старого Пфайффера.

Сьюзен заметила его поверх рояля, стоило ему войти в музыкальный класс — эти красиво очерченные, чуть приоткрытые губы и мягкие волосы, в которые ей всегда хотелось запустить пальцы (чего он не позволял), сейчас растрепанные ветром, беспорядочные, но такие привлекательные бледные завитки. Как мило, что он отклонился от своего маршрута и зашел за ней! Она чуть заметно, но радостно улыбнулась ему и при этом заметила в его волосах небольшие капельки воды, подобные восхитительной росе на капустных листьях — только у него они были еще меньше и лежали словно на шелковой подкладке. Если прикоснуться, они наверняка окажутся холодными как лед. Стоило ей подумать об этом, как левая рука стала попадать не по тем клавишам.

Престарелый профессор Пфайффер, который ходил из угла в угол зверем в клетке — небольшой, но раскормленный медведь в мятых брюках и с усами моржа, — вынул из угла рта сильно зажеванный окурок сигары и воскликнул по-немецки:

— Musik, musik!

Сделав над собой усилие, Сьюзен выбросила из головы росу в шелковистых кудрях, подхватила сонату заново с того места, где сбилась, и продолжила играть. К своей немалой досаде, она почувствовала, что покраснела.

Алые щеки и волосы, рыжеватые почти до красноты. Свекла и морковь, безжалостно отметил Себастьян; не нравилось ему и как становились видны ее десны, если Сьюзен расплывалась в улыбке, — впечатление чересчур «анатомическое».

Взяв заключительный аккорд, Сьюзен опустила руки на колени в ожидании вердикта учителя. Он последовал громоподобно сквозь облако сигарного дыма.

— Хорош, хорош, хорош, — и профессор Пфайффер хлопнул ее по плечу, словно погонял запряженную в коляску пони. Потом он повернулся к Себастьяну: — Унд здес у нас маленкий Ариэль! Oder, наверное, дер маленкий Пак[[5]](#footnote-5) — нет?

И он подмигнул щелкой между своими тяжелыми ресницами, что, как ему представлялось, и выглядело забавно, и содержало толику свойственной людям культуры тонкой иронии.

Маленький Ариэль, маленький Пак... Дважды за день, и на этот раз без малейшей причины — только потому, что старый пузан считал себя остроумцем.

— Не будучи немцем, — язвительно отозвался Себастьян, — я, разумеется, не читал Шекспира и ничем не могу вам помочь.

— Дер Пак, дер Пак! — прогрохотал профессор Пфайффер и рассмеялся так бурно, что вызвал приступ своего извечного бронхита и закашлялся.

На лице Сьюзен отразилась неподдельная тревога. Это могло привести к бог весть каким последствиям. Она соскочила с винтового стульчика у рояля и, как только взрывы жутко бурлящего мокротой кашля профессора Пфайффера пошли на убыль, объявила, что им надо немедленно уходить. Ее мама просила сегодня непременно быть дома пораньше.

Профессор Пфайффер утер с глаз слезы, снова зажал в зубах то, что оставалось еще от сигары, пару раз похлопал Сьюзен по плечу все тем же жестом погонщика и попросил ни в коем случае не забыть, что он сказал ей по поводу трелей для пальцев правой руки. Затем, взяв со стола отделанную вставками из кедра серебряную шкатулку для сигар, которую благодарные ученики подарили ему на последний день рождения, он повернулся к Себастьяну, положил свою квадратную лапищу на плечо мальчику, а другой сунул ему сигары прямо под нос.

— Возьми одна, — сказал он вкрадчиво. — Возьми одна отлишны «гавана». Мягкая, und garantiert[[6]](#footnote-6), от нее не тошнить даже молошный поросенок.

— О, замолчите! — выкрикнул Себастьян в ярости, уже граничившей со слезами, а потом выскользнул из-под руки своего мучителя и выбежал из комнаты. Сьюзен чуть задержалась в нерешительности и тоже, не вымолвив больше ни слова, поспешила вон из класса. Профессор Пфайффер снова вынул изо рта огрызок сигары и бросил ей вслед:

— Быстро! Быстро! Наш маленкий гениус сейчас плакать.

Дверь захлопнулась. Пренебрегая своим бронхитом, профессор Пфайффер снова разразился громким смехом. Два месяца назад «маленкий гениус» взял одну из сигар и, пока Сьюзен старательно наигрывала «Лунную сонату», попыхивал минут пять. А затем последовал отчаянный рывок в сторону туалета, но добежать туда вовремя не удалось. Профессор Пфайффер обладал здоровым средневековым чувством юмора. Для него лужа блевотины, оставшаяся на лестничной площадке, была едва ли не самой смешной шуткой со времен «Фауста».

## II

Он шел так быстро, что Сьюзен пришлось бежать, но все равно она догнала его уже у второго фонарного столба. Взяв его за руку, с нежностью пожала ее.

— Себастьян!

— Отцепись! — сказал он резко и стряхнул ее пальцы с себя. Ему не хотелось, чтобы кто-то успокаивал или утешал его.

Ну вот! Она снова сделала что-то не так. Но почему он до такой чудовищной степени чувствителен? И какого дьявола нужно вообще обращать внимание на глупости старого козла Пфайффи?

Какое-то время они просто молча шли рядом. Первой заговорила она:

— Ты написал сегодня новые стихи?

— Нет, — соврал Себастьян.

Сплетение богов в совокуплении потеряло весь свой жар и обратилось в пепел. После случившегося от самой мысли, что ему надо читать ей теперь эти строки, тошнило, как почти выворачивало наизнанку при виде вчерашних объедков и мысли о том, каковы они теперь на вкус.

Снова наступило молчание. Сейчас короткие каникулы, размышляла Сьюзен, и, поскольку приближались экзамены, в футбол никто не играл. Неужели он провел часть дня у этой мерзкой стервы Эсдейл? Под следующим фонарем она искоса посмотрела на него. Да, никаких сомнений. У него под глазами пролегли синяки. Свиньи! Ее внезапно переполнила злость — раздражение, порожденное ревностью, тем более болезненной, что о ней невозможно было даже поговорить. Она не имела на него никаких прав. Никогда и речи не заходило о том, что они больше, чем двоюродные брат и сестра. Почти родные. Кроме того, она ясно понимала, страдая от этого, что ему и в голову не приходило воспринимать ее по-другому, иначе, так, как ей хотелось бы. А между тем, когда два года назад он сам попросил разрешения посмотреть, какая она без одежды, Сьюзен не только отказала ему, но и впала в полнейшую панику. Двумя днями позже она поделилась всем с Памелой Гроувз, и Памела, посещавшая одну из школ с прогрессивными методами преподавания, чьи родители были намного моложе, просто закатилась от хохота. Сколько переживаний на пустом месте! Да если Сьюзен хочет знать, то она со своими братьями и кузенами постоянно видят друг друга без всего! Да. И приятели братьев видели ее тоже. Так почему же не показать себя бедняге Себастьяну, если ему хочется? Какая глупая викторианская, пуританская стыдливость! Сьюзен даже стало стыдно за их с матушкой старомодные взгляды. В следующий раз, как только Себастьян попросит, она сразу же сдернет с себя пижаму и встанет перед ним, как она решила заранее, с видом римской матроны или кто там еще был изображен на гравюре с картины, Альма-Тадемы, висевшей в кабинете отца? Она с улыбкой поднимет руки, словно поправляя прическу. Несколько дней Сьюзен оттачивала каждое движение, репетируя перед зеркалом, пока не довела их до абсолютного совершенства. Но, увы, Себастьян больше не обращался к ней с подобной просьбой, а ей не хватало смелости проявить инициативу. Вот и получилось, что теперь он мог творить самые дикие безобразия с этой сучкой Эсдейл, а у Сьюзен не осталось ни прав, ни хотя бы повода накричать на него. Не говоря уже о том, чтобы влепить ему пощечину, чего ей нестерпимо хотелось, и обзывать его по-всякому, и оттаскать за волосы, и... заставить себя поцеловать.

— Ты, наверное, провел день у своей драгоценной миссис Эсдейл, — сказала она, стараясь вложить в интонацию презрение и моральное превосходство.

Себастьян, который шел потупив голову, вскинул на нее взгляд.

— А тебе-то какое дело до этого? — спросил он после паузы.

— Никакого. — Сьюзен передернула плечами и чуть слышно рассмеялась. Но внутренне была недовольна собой и пристыжена. Сколько раз она давала зарок никогда больше не показывать, что ей интересны его животные страсти, не слушать всех наводящих ужас подробностей, которые он описывал так живо, с демонстративным удовольствием! Но каждый раз любопытство брало верх, и она жадно внимала его рассказам. Внимала просто потому, что эти отчеты о том, как он занимается любовью с кем-то другим, причиняли невыносимую боль. Но и потому тоже, что даже такое косвенное участие в его любовных делах, пусть чисто теоретическое и воображаемое, странным образом возбуждало ее и само по себе составляло часть чувственной связи между ними, духовного слияния — не удовлетворявшего, ужасно расстраивавшего, но — единения.

Себастьян смотрел в сторону, но внезапно снова повернулся к ней со странной улыбкой, похожей на улыбку триумфатора, человека, только что кого-то победившего.

— Хорошо, — сказал он. — Но учти, ты сама напросилась. Так что не вини меня, если твоя девичья скромность будет повергнута в шок.

Он издал грубоватый смешок и пошел дальше молча, в задумчивости потирая переносицу кончиком указательного пальца. Как же хорошо ей был знаком этот жест! Он безошибочно показывал, что Себастьян либо сочиняет стихи, либо размышляет, как лучше подать свою очередную историю.

Ох уж эти истории, эти необыкновенные истории! Сьюзен прожила в фантастическом мире, созданном Себастьяном, почти так же долго и насыщенно, как и в реальном мире. Даже, вероятно, более насыщенно, поскольку в реальности ей приходилось рассчитывать только на себя саму, натуру прозаическую, в то время как в мире его рассказов ей доставалась доля богатого воображения Себастьяна, и ее уносил с собой волнующий душу и увлекательный поток его слов.

Первую из таких историй, которую Сьюзен помнила ясно, Себастьян рассказал ей на пляже в Тенби тем летом (скорее всего, это было лето 1917-го), когда на общем торте, приготовленном к их совместному дню рождения, зажгли пять свечек. Среди выброшенных на берег водорослей они нашли тогда красный резиновый мяч, порванный почти пополам. Себастьян промыл его, чтобы очистить от набившегося внутрь песка. На влажной внутренней поверхности мяча обнаружился похожий на крупную бородавку нарост. Что это было? Только производители могли бы ответить. А для пятилетнего ребенка в наросте заключалась непостижимая тайна. Себастьян испытующе дотронулся до него пальцем. Это пуп на животике, прошептал он. Они сразу же украдкой огляделись, не слышит ли кто-нибудь: слово «пупок» легко попадало в категорию неприличных, такие не следовало произносить вслух. Пупки у всех растут внутрь, продолжал Себастьян. А когда она спросила, откуда он знает, пустился в подробный рассказ о том, что на его глазах делал с одной маленькой девочкой в смотровом кабинете доктор Картер, когда тетушка Элис привела его к врачу из-за больного уха. Разрезал ее ножом — вот что делал доктор Картер, — разрезал большим ножом и вилкой, чтобы посмотреть на ее пупок изнутри. А если у тебя кожа оказывалась слишком твердой, доктора пускали в ход одну из тех пил, которыми мясники резали кости. Да, так и было, честно-пречестно. И чтобы доказать это, он начал делать вид, что пилит мячик ребром ладони. Изношенная резина мяча поддавалась под давлением; рана делалась все шире и шире по мере того, как он погружал руку глубже в то, что виделось Сьюзен уже не мячом, а животиком маленькой девочки, и больше того — почти что ее собственным животом. «Ш-ш-ш-ш, ш-ш-ш-ш, ш-ш-ш-ш», — продолжал пилить Себастьян, уже добравшись пациенту чуть ли не до горла. От этого звука действительно кровь стыла в жилах, как от звона стальной пилы по кости. А потом, рассказывал Себастьян, когда разрез получался достаточно длинным, они тебя открывали. Вот так — он отделил одну половину мяча от другой. Выворачивали верхнюю часть наизнанку — вот так, чтобы помыть пупок изнутри с мылом и убрать с него всю грязь. Он принялся яростно скрести таинственную выпуклость, и его ногти так жутко шуршали по резине, что это наводило на Сьюзен неописуемый страх. Она вскрикнула и закрыла уши ладошками. На многие годы вперед доктор Картер стал для нее воплощением зла, и она начинала плакать, стоило ему приблизиться. Даже сейчас, когда она знала, какая чепуха вся эта сказка о пупке, вид его черного саквояжа и шкафов в его смотровой комнате, полных всевозможных стеклянных трубочек, сосудов и никелированных инструментов, наполнял ее смутной тревогой, от которой она никак не могла полностью избавиться вопреки всем доводам рассудка.

Дядя Джон Барнак часто уезжал из дома на несколько месяцев подряд, путешествуя по свету и пописывая статьи в левацкие газеты, из тех, что отец Сьюзен мог терпеть у себя только лишь в виде растопки для камина. А потому Себастьян значительную часть времени оставался на попечении своей тети Элис, живя в самом близком соседстве с ее младшим ребенком, маленькой девочкой, с которой его разница в возрасте составляла всего один день. И с ростом маленького тельца его живое воображение делалось развитым не по годам, а истории, которые он рассказывал ей — или, скорее, вслух сочинял для самого себя, вдохновляемый ее присутствием, — становились все более сложными и перегруженными подробностями. Порой такая история могла продолжаться неделями и месяцами с бесконечной серией продолжений, сочиняемых по пути в школу и обратно, или за ужином перед газовым обогревателем в детской, или на открытой верхней палубе автобуса, где они усаживались вдвоем, пока скучные взрослые прятались от ветра на первом этаже. Был создан, например, целый эпос, который повествовался практически без перерывов в течение всего 1923 года, — сага о Ларниманах. Или, вернее, о Ла-а-арниманах, потому что название этого племени всегда произносилось шепотом и с обязательным ритуальным растяжением первого слога. Эти самые Ла-а-арниманы были семьей человекоподобных монстров-людоедов, которые жили в подземных туннелях, сходившихся к центральной пещере в точности под вольером для львов и тигров в зоопарке.

— Слушай! — шептал Себастьян каждый раз, когда они оказывались напротив клетки сибирского тигра. — Слушай! — И он с силой топал ногой в асфальт. — Там пустота. Ты уловила звук?

И, естественно, Сьюзен тоже слышала пустоту, а услышав, содрогалась при мысли о том, как Ла-а-арниманы сидели там в пятидесяти футах под ними рядом со сложно устроенным гудящим механизмом, помогавшим им пересчитывать огромные деньги, похищенные из сейфов Банка Англии, как поджаривали детишек, которых умыкали через подвальные люки, как разводили кобр, чтобы запустить потом в канализацию; идет себе человек утречком спокойно посидеть на унитазе, а оттуда вдруг показывается с шипением змеиная голова с распущенным капюшоном. Не то чтобы она до конца верила в это. Но даже если не верить, все равно получалось страшно. Эти жуткие Ла-а-арниманы с их кошачьими глазами, с необыкновенными электрическими пистолетами и с подземными американскими горками — конечно же, они никогда не жили под львиным вольером (хотя под землей там действительно ощущалась пустота, стоило топнуть ногой). Но все же они существовали. Для нее доказательством был факт, что они часто ей снились, а по утрам Сьюзен с крайней осторожностью глядела из-за углов и видела зверей, опасаясь кобр.

Впрочем, теперь Ларниманы далеко ушли в прошлое. Их место занял сначала частный сыщик. Потом (когда Себастьян прочитал одну из папиных книжек про революцию в России) — Троцкий. А затем настал черед Одиссея, чьи приключения летом и осенью 1926 года оказались куда более страшными, чем все, о чем когда-либо сообщал в своих репортажах Гомер. Именно в истории про Одиссея Себастьян впервые включил действующими лицами девушек. Нет, они, конечно, фигурировали в его эпических фантазиях и прежде, но только как жертвы врачей-убийц, каннибалов, кобр и революционеров. (Все, чтобы у Сьюзен мурашки побежали по коже и она издала вскрик испуга!) Но вот в продолжении странствий Одиссея они начали выступать в совершенно иных ролях. Их преследовали, чтобы поцеловать, за ними подсматривали в замочные скважины, когда они переодевались, они плавали нагими в светящемся ночном море, когда Одиссею тоже вдруг приходило в голову освежиться.

Запретные темы, отталкивающе заманчивые, отвратительные в своей привлекательности! Себастьян поначалу касался их вскользь, мимоходом, так сказать, pianissimo[[7]](#footnote-7) и senza espressione[[8]](#footnote-8), словно спешил скорее проскочить скучную часть, гаммы для разминки пальцев, чтобы приступить к романтической рапсодии непосредственно об Одиссее. Pianissimo, senza espressione, а затем — бам! — аккорд Скрябина посреди квартета Гайдна, и тема начинала звучать поразительно громко и внушительно! И вопреки всем усилиям воспринимать все это равнодушно и спокойно, как воспринимала бы Памела, Сьюзен не выдерживала, краснела, готова была разразиться возмущенными восклицаниями, заткнуть уши и бежать прочь, чтобы не слышать больше ни слова. Но всегда продолжала слушать. А порой, когда он прерывал повествование и задавал ей какой-нибудь прямой и жутко нескромный вопрос, она даже заставляла себя что-то мямлить на эту невозможную тему, упираясь взглядом в пол, или же, наоборот, начинала говорить неестественно громогласно с жеманными модуляциями в голосе, а потом, сама того не желая, прыскала от смеха.

Постепенно и Одиссея сошла на нет. У Сьюзен появились уроки музыки и заботы об оценках в будущем аттестате зрелости, а Себастьян бесконечно предавался чтению греческих и английских поэтов, сам пробуя сочинять стихи. На фантастические истории больше не оставалось времени, и даже когда им удавалось ненадолго встречаться, ему стало больше нравиться читать ей свои последние творения. Когда Сьюзен хвалила их, что случалось почти неизменно — поскольку она действительно считала их восхитительными, — лицо Себастьяна светилось от радости.

— Да, пожалуй, это в самом деле неплохо, — говорил он, скромничая, но его улыбка и сияние в глазах, которое невозможно было погасить, выдавали истинные чувства. Но случалось, что некоторые строки были ей непонятны или не нравились; тогда он багровел от злости, обзывал ее дурой и лицемеркой. Или того хуже: саркастически заявлял, что ничего другого и не мог ожидать, поскольку все женщины наделены куриными мозгами, а музыканты славятся полным отсутствием ума; им вполне хватает пальцев и солнечного сплетения. Иногда его слова обижали, но гораздо чаще вызывали улыбку и ощущение, что в сравнении со столь явными проявлениями детской несдержанности сама Сьюзен выглядит восхитительно взрослой и, несмотря на поразительный поэтический дар, во многом превосходит его. Когда Себастьян начинал вести себя подобным образом, он показывал себя необычайно одаренным, но все же ребенком, и тогда в ней оживала другая сторона любви к нему — материнская и покровительственная.

А затем совершенно внезапно через несколько недель после начала нынешнего учебного года истории возобновились, но в совершенно ином ключе. Потому что теперь они стали не повестями о других, а как бы эпизодами автобиографии Себастьяна. Он начал рассказывать ей о миссис Эсдейл. Ребенок из его характера никуда не делся, ему все еще требовалась материнская забота, он нуждался в защите от последствий своих детских поступков. Но вот тот уже вполне взрослый юноша, к которому Сьюзен втайне питала совсем иные чувства, кого почти боготворила, стал любовником другой женщины. Она была старше Сьюзен, красивее и в миллион раз опытнее; богата, изящно одета, умело делала маникюр и пользовалась косметикой — словом, ни о каком сравнении и речи быть не могло. Сьюзен ни словом не давала ему понять, насколько ей все это претит, зато дневник ее пестрел исполненными горечи записями, а по ночам она зачастую засыпала, только уже выплакав в подушку все слезы.

Нахмурившись, она сейчас искоса бросила взгляд на своего спутника. Себастьян все еще в глубокой задумчивости ласкал свою переносицу.

— Давай-давай, — в ней вдруг взыграло чувство глубокой неприязни, — три хоботок своего вдохновения, пока не получится хоть что-то складное.

Себастьян вздрогнул и огляделся по сторонам. Его лицо приобрело обеспокоенное выражение.

— Что-то складное? — переспросил он с некоторой опаской.

— Все эти твои красивые речи и остроумные шутки якобы экспромтом, — пояснила она. — Ты, вероятно, считаешь, что я совсем не знаю тебя. Держу пари, ты слишком застенчив, чтобы сказать что-то уместное сразу, даже когда вы...

Она осеклась, не в силах заставить себя произнести фразу, которая выдала бы, насколько неприглядной выглядит для нее воображаемая картина их занятий любовью.

В другое время столь прямой намек на его робость, на унизительную немоту и косноязычие, которое овладевало им в незнакомой или слишком солидной компании, вызвал бы в нем приступ злости. Но в этот раз он был лишь, казалось, слегка задет, но больше заинтригован.

— Почему ты отказываешь мне в праве на маленькую ложь? — спросил он. — Самую крохотную. Искусства ради.

— Ты хочешь сказать, ради себя самого — чтобы выглядеть как персонаж Ноэла Кауарда.

— Как персонаж Конгрива, — возразил он.

— Да чей угодно! — сказала Сьюзен, довольная выпавшим случаем выплеснуть накопившиеся обиды, не показав их истинной природы и причины. — Любая замшелая ложь сойдет, лишь бы тебе не пришлось выставить себя таким, каков ты на самом деле...

— Тот же Дон Жуан, но лишенный дара красноречия, — сказал Себастьян. Эту фразу он придумал себе в утешение после того, как имел такой жалкий вид на рождественской вечеринке у Бовени. — А тебя бесит, что я пытаюсь направить разговор в нужное русло. Не будь уж слишком отъявленной педанткой.

И он улыбнулся ей с таким очарованием, что Сьюзен пришлось капитулировать.

— Договорились, — проворчала она. — Буду верить тебе, даже подозревая, что ты лжешь.

Он окончательно расплылся в улыбке; теперь это был счастливейший из всех ангелов делла Роббиа.

— Даже зная наверняка, что я лгу, — уточнил он и в голос расхохотался. Это была по-настоящему тонкая шутка. Бедная старушка Сьюзен! Она *знала*, что его претензии на умение поддерживать умную светскую беседу — это миф. Но знала она и о том, как однажды он разговорился, сидя на верхней площадке автобуса, шедшего по Финчли-роуд, с молодой и красивой темноволосой женщиной, как эта женщина пригласила его к себе домой на чашку чая, слушала его стихи, призналась, что очень несчастлива с мужем. Под каким-то предлогом она вышла из гостиной, а всего минут пять спустя позвала его: «Мистер Барнак, мистер Барнак!..» И он пошел на зов, поднялся наверх, пересек лестничную площадку, через полуоткрытую дверь попал в почти совсем темную комнату, а потом почувствовал на себе ее обнаженные руки и губы, касавшиеся его лица. Сьюзен знала это наизусть и еще многое другое. Но вся прелесть ситуации заключалась в том, что никакой миссис Эсдейл не существовало. Имя и фамилию он позаимствовал из телефонного справочника, бледный овал лица — из альбома викторианских гравюр на металле, а остальное стало чистейшим плодом его фантазии. И тем не менее все, что вызывало возмущение бедняжки Сьюзен, — это плавная и поэтичная элегантность его рассказов!

— Сегодня на ней было черное кружевное нижнее белье, — начал импровизировать он, совершенно увлеченный выразительной картиной в духе Бердсли, которого обычно презирал.

— С нее станется! — сказала Сьюзен, неприязненно подумав о прочном белом хлопке, который носила сама.

Перед мысленным взором Себастьяна вставал образ Каллипиги в трусиках, вышитых гарусом по канве, окутанной паутиной арабесок. Она почему-то напомнила ему декоративную фарфоровую лошадь, серую в яблоках, с завитой гривой, и про себя он даже рассмеялся.

— Я сказал ей, что она — последняя археологическая находка. Пестрая Афродита Хэмпстедская.

— Лжец! — с жаром воскликнула Сьюзен. — Ты не говорил ей ничего подобного.

— Я даже собираюсь написать стихотворение о Пестрой Афродите, — продолжал Себастьян, не обращая на ее слова внимания.

В его сознании уже вспыхнул ослепительный и шумный фейерверк сверкающих фраз.

— Татуировки на шее, пунктиры и завитки. Вот женственное оружие. Но нет ничего убийственнее тончайшего этого кружева на золотистой... Лучше будет: на бархате нежной кожи под самой ее поясницей...

И, право же, рифма получилась как нельзя кстати. Необычная и красивая рифма. «Оружие» и «кружева» — два крепких крюка, на которые можно было теперь навесить сколько угодно изящных брюссельских роз и велюровой кожи.

— Умоляю, заткнись! — сказала Сьюзен.

Но его губы продолжали двигаться:

— О, чудо чернильных узоров на кремовой ягодице! Ты взмахиваешь крылами, подобно волшебной птице, при каждом летящем шаге...

Внезапно он услышал, как его окликнули по имени, и позади действительно раздался топот летящих шагов.

— Какого дьявола?..

Они остановились и повернулись.

— Это Том Бовени, — сказала Сьюзен.

Он самый. Себастьян улыбнулся.

— Спорим на пять монет, он сразу же начнет с обычной дурацкой шутки вроде: «Сьюз, съешь арбуз?»

Шести с половиной футов ростом, трех футов в плечах и с двухфутовым брюхом Том налетел на них, как экспресс «Корнуоллская Ривьера».

— Басти, мой мальчик! — завопил он. — Как раз тебя-то я и искал. Вижу, с тобой наша милая Сьюзен. Привет, Сьюз, съешь арбуз?

Он рассмеялся собственной остроте и обрадовался, когда Себастьян и Сьюзен дружно расхохотались тоже. Такое с ним случалось редко.

— Хотел сказать тебе, — продолжал Том, — что все на мази.

— Что именно?

— Я уладил последние проблемы с ужином. Когда узнал, что по завершении семестра ты тоже уезжаешь за границу, решил устроить все в самом конце каникул.

Он усмехнулся и дружески похлопал Себастьяна по плечу. И этот туда же, отметила про себя Сьюзен. А потом ей пришло в голову, что к Себастьяну все относились так, а он этим пользовался. Умело пользовался.

— Ты доволен? — спросил Том.

Басти он воспринимал как свой талисман, как свое дитя, но в то же время как объект утонченной и светлой любви, которую он — вполне гетеросексуальный с виду юнец — не осознавал за собой, не понимал, что чувствует, а если бы и понимал, то не сумел бы подобрать для этого чувства определения. Он готов был на все, чтобы угодить своему малышу Басти.

Но вместо того, чтобы просиять от радости, Себастьян вдруг погрустнел, чуть ли не перепугался.

— Право же, Том, — промямлил он. — Тебе не стоило... Не надо было так стараться из-за меня.

Тот рассмеялся и ободряюще стиснул ему плечо.

— Пустяки, приятель.

— А как же другие парни? Им же это неудобно, — сказал Себастьян, хватаясь за любую соломинку.

Но Том решительно отмел все сомнения в сторону. По его словам, остальным было решительно наплевать, когда состоится прощальная вечеринка — в начале или в конце каникул.

— Пьянка — она и есть пьянка, — тоном философа заявил он, но в этот момент Себастьян оборвал его так резко, что это получилось некрасиво даже с точки зрения элементарной вежливости.

— Нет, забудь об этом! — воскликнул он с обреченностью в голосе.

Воцарилось молчание. Том Бовени удивленно смотрел на него сверху вниз.

— Ты говоришь так, будто тебе ничего не надо. Ты не придешь? — спросил он, все еще слегка ошеломленный.

Себастьян понял свою ошибку и поспешил заверить, что идея сногсшибательная и ему ничего не хотелось бы больше. Что было правдой. Ужин в «Савое», шоу и ночной клуб как венец веселья — ничего подобного он раньше не пробовал. Но ему приходилось отказываться от приглашения по унизительно детской причине: у него попросту не было одежды для подобных мероприятий. А когда он уже рассчитывал, что все забыто и вопрос снят к всеобщему удовлетворению, появляется Том, и проблема возникает снова. Черт бы его побрал! Черт бы его побрал! Себастьян был решительно готов возненавидеть этого легкомысленного здоровяка за столь навязчивое проявление дружеской привязанности.

— Но если тебе хочется прийти, — напрягал извилины Том, пытаясь извлечь из услышанного здравый смысл, — то какого лешего ты отказываешься? — Он обратился к Сьюзен: — Быть может, ты знаешь ответ на эту загадку?

Сьюзен попала в затруднительное положение. Она, разумеется, знала о том, что дядя Джон из принципиальных соображений отказывался покупать Себастьяну вечерний костюм. В этом проявлялись самые дурные черты его характера. Но почему Себастьян должен стыдиться этого? Почему ему просто не рассказать все начистоту?

— Я, конечно, могу только предполагать... — осторожно начала она.

— Замолчи! Замолчи немедленно! — В приступе ярости Себастьян с такой силой ущипнул Сьюзен за руку, что она взвыла от боли. — Быть может, это научит тебя не лезть в мои дела, — прошептал он злобно и повернулся к Тому. И она с все возраставшим недоумением слышала, что, конечно же, он придет, что было крайне любезно со стороны Тома взять на себя все хлопоты и даже суметь изменить дату. Крайне любезно; и он даже сумел улыбнуться Тому одной из своих фирменных ангельских улыбок.

— Ты же не мог подумать, что я закачу вечеринку без тебя, Басти? — Том Бовени снова стиснул плечо своему талисману, своему единственному ребенку, своему вундеркинду и своей тайной любви. — Сейчас, когда мне предстоит отправиться в Канаду, и только богу известно, свижусь ли с тобой опять. То есть с тобой и остальными парнями из Хаверстока, конечно, — поспешил поправиться он, а потом, чтобы обеспечить себе алиби в глазах Сьюзен, добавил проникновенно: — Если бы мы не устраивали мальчишник, ты бы тоже получила приглашение. Милая Сьюз, съешь весь арбуз!

Он хлопнул ее по спине и рассмеялся.

— А теперь мне пора лететь. Вообще-то у меня не было времени даже на разговор с тобой, но, если уж мне повезло и я встретил тебя, грех не воспользоваться случаем. До скорого, Басти. Пока, Сьюз.

Он развернулся и побежал легко и стильно, несмотря на свои габариты и вес, как профессиональный стайер, скрывшись в темноте, откуда только что возник. Они снова пошли дальше вдвоем.

— Прости, но я никак не возьму в толк, — сказала Сьюзен после продолжительной паузы, — почему ты просто не можешь сказать правду? Не твоя вина, что у тебя нет смокинга. И нет такого закона, который запрещал бы тебе надеть синий шерстяной костюм. Тебя не выставят из ресторана, если ты придешь в нем.

— О, силы небесные! — воскликнул Себастьян, не зная, как еще отреагировать, потому что ему нечем было крыть сводившую с ума справедливость ее слов.

— Но мне-то ты можешь объяснить, почему не сказал правды ему? — упорствовала Сьюзен.

— Не желаю никому ничего объяснять, — сказал он гордо, стремясь подчеркнуть, что тема исчерпана.

Сьюзен посмотрела на него, подумала, насколько же он нелеп в своей гордыне, и пожала плечами:

— Ты хочешь сказать, что у тебя нет разумного объяснения.

В снова наступившем затем молчании Себастьян тихо переживал всю горечь своей участи. Сьюзен была права, он не хотел объяснений, потому что не мог ничего объяснить. Но не из-за недостатка причин, а в силу их мучительной природы. Сначала эта старая корова в библиотеке; даже смерть ее сыночка не оправдывала сюсюканий с ним, как с младенцем в пеленках. Потом Пфайффер с его вонючими сигарами. А теперь еще и это, последнее унижение. Он не только выглядел совсем мальчишкой, хотя знал, что стократ умнее и способнее самых зрелых мужчин. У него не было даже нормальной одежды и остальных атрибутов, положенных ему по его реальному возрасту. Если бы он хорошо одевался и имел в достатке карманных денег, прочие унижения не были бы столь нестерпимыми. Будь он свободнее в расходах, имей более модное пальто, он легче выносил бы обманчивость своей внешности и фигуры. Но отец выдавал ему всего лишь шиллинг в неделю и принуждал донашивать дешевые вещи, пока в них не появлялись прорехи или не становились слишком коротки рукава. А уж о смокинге для сына он и слышать не хотел. Его облачение лишь подчеркивало хрупкость тела, которое так неопрятно прикрывало; он был ребенком в детской одежде. И эта дуреха Сьюзен еще спрашивает, почему он не мог сказать Тому Бовени правду?

— «Amor Fati», — процитировала она. — Разве ты не говорил мне, что отныне это станет твоим девизом?

Себастьян не удостоил ее ответом.

Поглядывая на него, пока он шел рядом с мрачным лицом и до странности скованным, напряженным телом, Сьюзен почувствовала, как ее раздражение тает, уступая место материнской нежности. Мой бедный, мой дорогой! До какого же жалкого состояния он сумел себя довести! И по каким идиотским причинам! Переживать из-за смокинга! Зато она могла руку дать на отсечение, что у того же Тома Бовени никогда не было романа с красивой замужней женщиной. И вспомнив, как встрепенулся он недавно при упоминании миссис Эсдейл, Сьюзен по доброте душевной решилась на вторую попытку.

— Ты не успел закончить рассказывать мне о черном кружевном нижнем белье, — напомнила она после слишком уж затянувшегося молчания.

Но на этот раз ничего не вышло; Себастьян помотал головой и даже не взглянул на нее.

— Ну, пожалуйста, — пробовала упрашивать она.

— Не хочу, — а когда Сьюзен стала настойчивее, сказал с напором: — Ты не поняла? Я не хочу сейчас разговаривать об этом.

Теперь он уже не находил ничего забавного в ее чрезмерной доверчивости. Если смотреть на вещи трезво и с правильной точки зрения, то вся эта болтовня об Эсдейл выглядела лишь еще одним унижением для него.

Он мысленно вернулся к тому жуткому вечеру два месяца назад. На выходе со станции подземки «Кэмден-Таун» торчала девица в голубом, вульгарно хорошенькая, с накрашенными губами и пышными волосами, отливавшими в желтизну. Он два или три раза прошел мимо, набираясь отваги, но чувствуя знакомую слабость в коленях, какую испытывал каждый раз, когда его вызывал к себе директор школы для нравоучительной беседы по поводу математики. До самого порога у него подводило низ живота, но потом, когда, постучавшись, он входил и усаживался напротив крупного и чрезвычайно тщательно выбритого лица, все оказывалось не так уж скверно. «Складывается впечатление, Себастьян, что ваша признанная одаренность в одном из предметов обучения служит для вас поводом пренебрегать работой над другими, которые не доставляют вам равноценного удовольствия». А заканчивалось все тем, что ему приходилось являться в школу на пару часов даже в короткие каникулы или решать ежедневно несколько задач сверх программы в течение месяца. То есть ничего страшного не происходило, ничего, чтобы оправдать тошнотворные предчувствия. Черпая мужество из этих размышлений, Себастьян подошел к девушке в голубом и сказал:

— Добрый вечер.

Поначалу она отказывалась воспринимать его всерьез.

— С таким-то мальчишкой? Да я потом умру от стыда!

Ему пришлось показать дарственную надпись на книге «Оксфордская антология греческой поэзии», которая случайно нашлась у него в кармане. «Дорогому Себастьяну в день 17-летия от дяди Юстаса Барнака. 1928 год». Девушка в голубом прочитала эти слова вслух, с сомнением посмотрела на его лицо и снова вернулась к книге. От форзаца она наугад перешла сразу к середине томика.

— Ого! Да это на идиш! — Теперь она вгляделась в него с любопытством. — Вот уж ни за что бы не догадалась.

Себастьян подтвердил правоту догадки.

— И ты хочешь меня уверить, что можешь ее читать?

Он показал ей это на примере хора из «Агамемнона», чем убедил окончательно: тот, кто был способен на такое, уже явно не был ребенком. Но есть ли у него деньги? Себастьян достал бумажник и показал фунтовую купюру, все еще остававшуюся от подарка дяди Юстаса на Рождество.

Хорошо, сказала девица. Но у нее не было своей комнаты. Куда он собирался ее отвести?

Тетя Элис, Сьюзен и дядя Фред уехали на все выходные, и у них дома осталась только престарелая Эллен, которая, во-первых, неизменно ложилась спать ровно в девять, а во-вторых, была глуха как пень. Они могли отправиться туда, и он поймал такси.

О последовавшем затем кошмаре Себастьян не мог вспоминать без содрогания. Когда они оказались в его комнате, он обнаружил сначала ее резиновый корсет, а потом и тело, такое же бесчувственное, как и покрывавшая его резина. Вялые бессмысленные поцелуи; ее дыхание — изо рта разило пивом, луком и кариесом. Его собственное перевозбуждение, такое неистовое, что у него мгновенно улетучилось всякое физическое влечение. Затем спокойная холодность и возникшее следом чувство отвращения к тому, что лежало рядом, словно это был труп. Но труп хохотал и высказывал презрительное сострадание к его немочи.

Спускаясь к входной двери, девица попросила разрешения заглянуть в гостиную. У нее мгновенно округлились глаза, когда при включенном свете она узрела ее скромную роскошь.

— Ручная работа! — с восхищением сказала она, проходя мимо камина и пробегая пальцем по краске на парадном портрете дедушки Себастьяна. После этого вопрос оказался для нее решенным. Она повернулась к Себастьяну и потребовала с него еще фунт. Но больше у него не было. Девушка в голубом выразительно плюхнулась на софу. Что ж, очень хорошо. Она подождет, пока он найдет деньги. Себастьян выгреб из карманов всю мелочь. Три шиллинга и одиннадцать пенсов. Нет, сказала она. Ее устроит только еще одна бумажка, еще фунт. И сиплым контральто она начала мурлыкать это слово:

— Фунт, фунт, фу-унтик.

На мотив песенки «Эти ирландские глаза».

— Не делайте этого, — взмолился он. Но песня зазвучала только громче. Она распевала во все горло.

— Фунт, фунт, фу-унтик, красивый, хрустящий такой...

Уже почти в слезах, Себастьян попытался урезонить ее: наверху спал слуга, да и соседей мог разбудить шум.

— Пусть все приходят, — сказала девица в голубом. — Милости просим!

— Да, но что они скажут? — Голос Себастьяна был еле слышен; у него дрожали губы.

Девица презрительно посмотрела на него, разразившись оглушительным и противным смехом.

— Так тебе и надо, маленький плакса, вот что они скажут. Отправился шляться по шлюхам, а самому надо было сидеть дома, чтобы мамочка вовремя сопли утирала. — Она начала отбивать ритм. — Раз, два, три, а теперь все вместе. Ирландский фунт, английский фунт, бумажки дороги-и-е...

На небольшом столике рядом с софой Себастьян заметил нож для бумаг из черепахового панциря с позолоченной ручкой, презентованный дяде Фреду по случаю 25-летия его работы в Сити и конкретно в компании «Фар-Истерн Инвестмент». Стоил он гораздо больше фунта. Схватив его, Себастьян попытался вложить нож ей в руку.

— Возьмите это взамен, — упрашивал он.

— Еще чего? Чтобы меня повязала полиция, как только я попытаюсь продать его? — и отпихнула нож в сторону. Взяв октавой ниже, но еще громче она завела свое: — Ирландский фунт...

— Замолчите! — в отчаянии воскликнул он. — Замолчите! Я найду для вас деньги. Честное слово, найду!

Девушка в голубом перестала распевать и посмотрела на свои часики.

— Так и быть. Даю тебе пять минут, — сказала она.

Себастьян выскочил из комнаты и рванулся вверх по лестнице. Минутой позже он уже барабанил в дверь, выходившую на одну из площадок.

— Эллен! Эллен!

Ответа не последовало. Глуха как пень. Проклятая старуха! Черт бы ее побрал! Он снова постучал и продолжал выкрикивать ее имя. Внезапно без всякого предупреждения дверь открылась, и на пороге показалась Эллен в ночном халате из серого фланелета, с седыми волосами, завязанными ленточками в два поросячьих хвостика, но без вставной челюсти, отчего ее круглое, как яблоко, лицо казалось провалившимся внизу. И когда она спросила, уж не пожар ли случился в доме, он с трудом понял вопрос. Сделав над собой огромное усилие, он изобразил самую ангельскую улыбку — ту самую, которая всегда позволяла добиваться от Эллен чего угодно всю их жизнь под одной крышей.

— Прости, Эллен, я не стал бы тебя так будить, но дело очень срочное.

— Какое дело? — спросила она, поворачиваясь к нему тем ухом, которое слышало немного лучше другого.

— Не могла бы ты одолжить мне фунт?

На ее лице не отразилось понимания, и ему пришлось прокричать:

— ФУНТ!

— Фунт? — теперь несколько изумленным эхом повторила она.

— Да, я одолжил деньги у приятеля, и он сейчас ждет внизу.

Беззубо шамкая, но сохраняя свой северный прононс, Эллен поинтересовалась, почему с приятелем нельзя рассчитаться завтра.

— Потому что он уезжает, — объяснил Себастьян. — Ему нужно в Ливерпуль.

— О, в Ливерпуль, — сказала Эллен совершенно другим тоном, словно все теперь представилось ей в ином свете.

— Он торопится на корабль? — спросила она.

— Да, отплывает в Америку! — прокричал Себастьян.

В Филадельфию.

Рано утром отбывает в Филадельфию[[9]](#footnote-9).

Он посмотрел на часы. Чуть больше минуты — и безобразные звуки ирландской песни раздадутся снова. Он улыбнулся Эллен еще более очаровательно.

— Сможешь меня выручить?

Старушка улыбнулась в ответ, взяла его руку и приложила на мгновение к щеке, а потом, не произнеся больше ни слова, направилась в глубину спальни за кошельком.

Когда все вернулись домой, уже в понедельник, Себастьян впервые рассказал про миссис Эсдейл, провожая Сьюзен после урока у Пфайффера. Утонченная, образованная, необузданно сладострастная Эсдейл в объятиях своего победоносного юного любовника. Такой стала оборотная сторона медали, на лицевой стороне которой остались образы похабной девицы в голубом и испуганного, малодушного, никчемного мальчишки.

На углу Гланвил-плейс их пути расходились.

— Отправляйся прямо домой, — сказал Себастьян, прерывая долгое молчание. — А я пойду посмотрю, смогу ли застать отца.

И не дожидаясь ответа Сьюзен, он повернулся и быстро пошел прочь.

Сьюзен застыла на месте, глядя, как он торопливо двигался вдоль улицы, такой хрупкий и беспомощный, но маршировавший с решимостью отчаявшегося навстречу неизбежной неудаче. Потому что, конечно же, если бедный мальчик надеялся на доброту дяди Джона, он лишь напрашивался на новую душевную рану.

При свете уличного фонаря на углу его бледные волосы вдруг вспыхнули ярким ореолом взъерошенного пламени, а потом он свернул и пропал из виду. И в этом вся жизнь, размышляла Сьюзен, пустившись в путь дальше в одиночку. Череда уличных углов. Ты встречаешь что-то — необычное, красивое и желанное, а в следующий момент подходишь к очередному углу, за которым оно скрывается и исчезает навсегда. А если и не исчезает, то оказывается влюбленным в миссис Эсдейл.

Она поднялась по ступенькам крыльца дома 18 и позвонила. Ей открыла Эллен, но, прежде чем впустить, заставила тщательно вытереть подошвы о половик.

— Не хватало только, чтобы ты натащила грязи на мои ковры, — сказала она своим обычным ворчливым, но добродушным тоном.

Перед тем как подняться наверх, Сьюзен поздоровалась с матерью. Миссис Поулшот оказалась страшно занята и лишь мимоходом чмокнула дочь в щеку.

— Постарайся ничем не потревожить своего папочку, — посоветовала она. — Нынче вечером он что-то не в духе.

О Господи, подумала Сьюзен, которая страдала от перепадов настроений отца, сколько себя помнила.

— И переоденься в светло-голубое платье, — добавила миссис Поулшот. — Я хочу, чтобы дядя Юстас увидел, какая ты красавица в лучшем наряде.

А ей было глубоко наплевать, считал ее красавицей дядя Юстас или нет. И вообще, думала она, поднимаясь по лестнице, стоит ли даже пытаться конкурировать с замужней дамой, богатой, выписывавшей туалеты из Парижа и, вероятно, — хотя Себастьян странным образом ни разу не упоминал об этом, — пользовавшейся самыми соблазнительными в мире духами.

Она включила в своей комнате газовый обогреватель, разделась и спустилась на полпролета лестницы в ванную. Все удовольствие от струй горячей воды портило неистребимое желание миссис Поулшот, чтобы в ее доме все пользовались только карболовым мылом. В результате, приняв ванну, всякий выходил из нее, распространяя аромат не миссис Эсдейл, а скорее хорошо вымытой собаки. Вот и Сьюзен принюхалась к себе, протянув руку за полотенцем, и скорчила гримасу отвращения, почувствовав, как пахнет ее чистое тело.

Спальня Себастьяна располагалась по другую сторону лестничной площадки от ее комнаты. И зная, что его нет, она смело вошла, выдвинула верхний ящик туалетного столика и достала безопасную бритву, которую он купил два месяца назад, когда ему померещилось, что у него начала расти борода.

Очень тщательно, как будто ей предстояло сначала танцевать в платье без рукавов, а потом провести исполненную любовных страстей ночь, она выбрила себе подмышки. Потом собрала все сбритые волоски, способные выдать ее, и положила бритву обратно в футляр.

## III

Себастьян тем временем шел по Гланвил-плейс, морща лоб и кусая губы. Сегодня, вероятно, у него оставался последний шанс добиться разрешения на покупку настоящего вечернего костюма, чтобы успеть к вечеринке Тома Бовени. Себастьян уже знал, что к ужину нынче вечером отца не ждали, завтра он отправлялся в Хаддерсфилд или куда-то там еще на важное совещание, возвращался в среду вечером, а в четверг утром они вдвоем должны были выехать во Флоренцию. Поэтому вопрос стоял ребром: сегодня или никогда.

«Вечерние наряды являются классовыми символами, и я считаю преступлением тратить деньги на бесполезные предметы роскоши, в то время как стольким достойным людям приходится жить впроголодь». Себастьян заранее знал все аргументы, к которым прибегнет отец. Но за этими аргументами все же стоял живой человек — властный, но справедливый, требовательный к другим, потому что был еще более требовательным к себе самому. И если к такому человеку найти правильный подход, может случиться, что те же аргументы не приведут к заранее известному жесткому выводу. На долгом и мучительном опыте Себастьян убедился, как важно никогда не показывать, насколько ты в чем-либо заинтересован, и не упорствовать понапрасну. Он должен попросить у отца смокинг, но так, чтобы отец не догадался, до какой степени он ему нужен. Стоит ему понять это, и отказ станет неизбежным. Формально он, конечно же, будет мотивирован причинами экономии и социалистической этики, но на самом деле, как Себастьян начал подозревать, отцу еще и доставляло определенное удовольствие, если он мог помешать исполнению слишком откровенно выраженных сыном желаний. Не угодить в эту ловушку, — и тогда, быть может, он не даст отцу и других, более возвышенных поводов для отказа. Однако для приведения задуманного в исполнение требовалось изрядное актерское мастерство, утонченность, а самое главное — присутствие духа, которого Себастьяну так часто не хватало прежде в самые ответственные моменты. Может быть, ему следовало заранее продумать план наступления, использовать блестящую и неожиданную стратегию...

Себастьян шел все это время, устремив взгляд на тротуар под ногами, но теперь задрал голову вверх, как будто этот самый совершенный и несокрушимый план был начертан на покрытом облаками небе, а ему оставалось только прочитать его и хорошо усвоить. Он поднял голову и внезапно увидел это на противоположной стороне улицы. Нет, не план, разумеется, а примитивную методистскую церковь, его церковь, единственное, что могло вечером привлечь внимание на Гланвил-Террас. Но сегодня, заблудившись в лабиринте своих горестей, Себастьян начисто забыл о ней. И сейчас она сама, как преданный друг, выросла перед ним с основанием, залитым зеленоватым светом газовых уличных фонарей, и верхней частью, которая делалась все темнее и темнее, удаляясь от света, пока узкий шпиль, сложенный из викторианского кирпича, не становился лишь черным силуэтом на фоне почти такого же черного и мутного лондонского неба. Все детали отделки, отличавшие здание от других, постепенно меркли и терялись вверху в таинственном единообразии, в беспредельном мраке небес над Лондоном. Но внизу фрагменты декора и орнаменты были видны ясно при ярком свете. Себастьян стоял у подножия церкви и смотрел. Все пережитые унижения и страх перед тем, как встретит его отец, куда-то пропали, и он испытал странный и необъяснимый прилив возвышенного волнения, которое это зрелище неизменно в нем вызывало.

О, маленькое убожество! Ты вдруг превращаешься в храм,

Наполненный тем же величием святости, как Бурж или Элефанта,

И ни преподобный Уилкинс, ни пресность воскресных молений

Не могут тебе помешать зеленым прелестным цветком

В Поэзию корни пустить...

Он повторил про себя начальные строчки стихотворения и снова посмотрел на предмет вдохновения, построенный в худший для методистской церкви период из самых дешевых материалов. Невероятно уродливое при дневном освещении сооружение. Но наступал час, когда включались фонари, и оно преисполнялось красоты и значительности, как мало что другое из всего, что Себастьяну доводилось видеть. И какой же была эта церковь на самом деле? Тем маленьким монстром, где воскресным утром собирались преподобный Уилкинс и его паства? Или вот этой восхитительной и безграничной мистерией, в чреве которой таились другие загадки? Себастьян встряхнулся и пошел дальше. На этот вопрос невозможно было получить простого ответа. Ты мог только попытаться сформулировать его в поэтической форме.

О, маленькое убожество! Ты вдруг превращаешься в храм,

Наполненный тем же величием святости...

Дом номер 23 с отделанным штукатуркой фасадом был таким же высоким, как и остальные, стоявшие с ним в ряд. Себастьян прошел под колоннадой при входе, пересек обширный холл и с вернувшимся чувством тревоги, исчезнувшим ненадолго, стал подниматься по лестнице.

Первый пролет, второй, третий, еще один, и он оказался перед дверью квартиры отца. Себастьян уже поднял руку к звонку, но потом дал ей бессильно опуститься. Он чувствовал слабость, у него бешено колотилось сердце. Это был приступ слишком хорошо знакомого недуга, прилив трусости перед встречей с директором школы, лихорадка у порога. Он посмотрел на часы. Шесть сорок семь и тридцать секунд. Ровно в шесть сорок восемь надо будет позвонить, войти и сразу все выложить, как уж получится.

«Папа, ты просто обязан разрешить мне купить смокинг...» Он снова поднял руку и большим пальцем крепко надавил на кнопку звонка. Внутри квартиры раздался звук, похожий на громкое жужжание злобной осы. Он подождал полминуты и позвонил снова. Никакого ответа. Его последний шанс на глазах растворялся. В сознании Себастьяна разочарование от этой мысли густо смешалось с чувством огромного облегчения, словно ему дали отсрочку перед неизбежным наказанием. До вечеринки Тома Бовени оставалось все-таки еще недели четыре, а вот если бы отец оказался дома, ужасавший Себастьяна разговор уже начался бы. Как раз в этот самый момент.

Он успел спуститься вниз всего на один пролет, когда звук знакомого голоса заставил его замереть.

— Семьдесят две ступеньки, — сказал его отец из холла при входе.

— Dio![[10]](#footnote-10) — отозвался другой, иностранный голос. — Да вы живете на полпути в рай.

— Этот дом являет собой превосходный символ, — продолжал звонкий голос англичанина, явно принадлежавшего к привилегированному общественному классу. — Символ загнивания капитализма.

Себастьян знал, как разыгрывался этот словесный гамбит. Джон Барнак обычно всегда прибегал к нему, когда впервые подводил нового знакомого к подножию казавшейся нескончаемой лестницы.

— В свое время здесь жила единственная богатая викторианская семья, — это был следующий ход. — А теперь здесь свили себе гнезда холостяки и борющиеся за выживание дамы, пытающиеся заниматься бизнесом. Есть еще пара бездетных семей для комплекта.

Голос становился громче и отчетливее по мере приближения его владельца.

— ...И, естественно, все это — конечный продукт растущей безработицы и падающего уровня рождаемости. Одним словом, разрушенное естество и Мэри Стоупс торжество[[11]](#footnote-11). — И засим последовал неожиданный взрыв оглушительного с металлическим оттенком смеха Джона Барнака.

— О боже! — прошептал Себастьян. Он уже в третий раз слышал эту шутку и неизбежный смех самого шутника.

— Стоуп? — переспросил иностранный голос, когда веселье собеседника чуть унялось. — Я не совсем понял, что это значит в таком смысле — стоуп. Стоп? *Stoppare? Stooper? Stopfen?*

Но ни итальянский, ни французский, ни немецкий языки не передавали смысла остроты.

Кембриджский акцент пустился в терпеливые и подробные разъяснения.

Себастьяну меньше всего хотелось, чтобы его заподозрили в подслушивании, и потому он стал быстро спускаться вниз, а когда из-за поворота лестницы показались двое мужчин, издал вполне правдоподобно прозвучавший возглас изумления.

Мистер Барнак поднял взгляд и увидел сначала в маленькой стройной фигурке, стоявшей шестью ступеньками выше, не Себастьяна, а его мать — Роузи — тем вечером на бале-маскараде у Хиллиардов, когда бывшая жена облачилась как леди Каролина Лэм, но замаскированная под пажа Байрона в пестром обезьяньем жилете и узких бриджах из красного бархата. Три месяца спустя пришла пора войны, а еще через два года она сбежала от него с этим мерзким дебилом Томом Хиллиардом.

— А, это ты, — сказал мистер Барнак, не позволив ни намеку на удивление, радость или любую другую эмоцию отразиться на своем смуглом, с загрубевшей кожей лице.

Себастьян именно такую реакцию всегда воспринимал как самую неприятную черту характера отца: по выражению его лица никогда невозможно понять, что он чувствует или о чем думает. Он смотрел на тебя прямым немигающим взглядом, и его серые глаза оставались пустыми и равнодушными, как если бы перед ним стоял совершенно неинтересный ему незнакомец. А потому его расположение духа неизменно выражалось сначала только в словах, в этом громком самоуверенном голосе судебного оратора, в этих тщательно взвешенных и подобранных фразах, которые он умел произносить так красноречиво. Зато посреди молчания или разговора на пустяковые темы он мог абсолютно неожиданно выйти из состояния пассивности и наполнить комнату гласом, словно снисходившим с вершины горы Синай.

С неуверенной улыбкой Себастьян шагнул ему навстречу.

— Мой младшенький, — представил его мистер Барнак.

Гостем отца оказался профессор Каччегвида — знаменитый профессор Каччегвида, счел нужным добавить мистер Барнак. Себастьян уважительно улыбнулся и пожал ему руку. Это был, должно быть, тот самый антифашист, о котором отец уже упоминал прежде. Что ж, голова красивая, подумал он, когда профессор отвернулся. Рим периода расцвета, но с совершенно излишне длинной седой шевелюрой, романтически зачесанной со лба назад. Он бросил еще один мимолетный взгляд. Да, впечатление создавалось такое, словно император Август сделал себе прическу под Ференца Листа.

Но как же странно, продолжал размышлять Себастьян, когда они преодолевали последний лестничный пролет: тело гостя поражало невообразимым и даже каким-то патологическим несоответствием с его головой. У великого императора оказалась узкая грудь и плечи школьника. Ниже еще более явно бросались в глаза животик и широкие бедра, которые могли бы принадлежать женщине средних лет. А заканчивалось все тонкими и короткими ножками, обутыми в крошечные лакированные башмачки на кнопках вместо шнурков. Как личинка, начавшая расти, но остановившаяся в развитии, когда успели полностью сформироваться только передняя и верхняя части организма, а ниже все осталось на уровне нелепого головастика.

Джон Барнак отпер дверь своей квартиры и включил свет.

— Мне лучше пойти и сообразить что-нибудь на ужин, — сказал он, — зная, что вам нужно так рано уезжать, профессор.

Возникала возможность поговорить с ним о смокинге. Но когда Себастьян предложил свою помощь на кухне, отец безапелляционным тоном приказал ему оставаться на месте и развлечь беседой их прославленного гостя.

— А как только у меня все будет готово, — добавил он, — тебе лучше исчезнуть. Нам нужно обсудить кое-что крайне важное.

И небрежно вернув Себастьяну роль послушного ребенка, мистер Барнак повернулся и быстрым решительным шагом, каким боксер направляется к рингу, вышел из гостиной.

Себастьян на несколько секунд замер в нерешительности, а потом подумал, что на этот раз нарушит волю отца, последует за ним на кухню и решит наболевший вопрос окончательно и бесповоротно. Но как раз в этот момент профессор, с любопытством разглядывавший комнату, с улыбкой повернулся к нему.

— Однако до чего же здесь все безупречно стерильно! — воскликнул он своим мелодичным голосом с очаровательным намеком на иностранный акцент, но выдав необычайно литературную по звучанию фразу только лишь ради того, чтобы показать, насколько свободно он владеет языком.

В этой пустой и, в общем-то, невзрачной гостиной все, за исключением книг, было покрашено под цвет молока со снятой пенкой, а пол покрывал блестящий лист светло-серого линолеума. Профессор Каччегвида уселся в одно из металлических кресел и дрожащими, покрытыми пятнами никотина пальцами прикурил сигарету.

— Так и ждешь, что в любой момент сюда войдет хирург, — добавил он.

Однако вошел Джон Барнак, вернувшийся с тарелками, ножами и вилками. Профессор повернул голову в его сторону, но заговорил не сразу. Сначала он приложил к губам сигарету, затянулся, задержал дым в легких на пару секунд, а потом с наслаждением выпустил его через свои императорские ноздри. После чего, удовлетворив немедленное и насущное желание, обратился через всю комнату к хозяину:

— Мне определенно видится во всем этом нечто пророческое, — взмахом руки он обвел гостиную. — Прообраз будущего жилища, устроенного на рациональных и гигиеничных принципах.

— Спасибо, — отозвался Джон Барнак, не поднимая головы. Он накрывал на стол со столь же полной концентрацией внимания, с той же продуманной тщательностью, с которой, как давно заметил Себастьян, выполнял любую работу от самой важной до мелочно пустяковой. Он расставлял тарелки так, как будто управлял сложнейшим лабораторным аппаратом или (здесь профессор оказался прав) проводил тончайшую хирургическую операцию.

— И все-таки, — продолжал профессор с коротким смешком, — в том, что касается искусства, я, должен признать, остаюсь старомодным и сентиментальным. Всегда предпочту вчерашний день сегодняшнему. Взять, к примеру, квартиру Изабеллы в Мантуе. Кругом пылища и плесень. И вся эта резьба по дереву! — Он нарисовал в воздухе несколько завитков дымом своей сигареты. — Завал археологического хлама! Но сколько теплоты, сколько богатства!

— Несомненно, — кивнул мистер Барнак. Он выпрямился во весь рост и смотрел на своего гостя сверху вниз уверенным и пронзительным взглядом. — Но из чьих карманов извлечено это богатство?

И, не дожидаясь ответа, снова скрылся на кухне.

Но, как выяснилось, профессор только начал развивать тему.

— А вы что думаете? — спросил он, обращаясь к Себастьяну.

Вопрос сопровождался милейшей улыбкой, хотя стоило ему продолжить, и сразу стало предельно ясно, что мнение Себастьяна нисколько его не интересовало. Ему лишь требовалась аудитория.

— Вероятно, грязь — необходимое условие возникновения красоты, — витийствовал он. — Допускаю, что гигиена и искусство никогда не полюбят друг друга по-настоящему. Вам не исполнить Верди, не напустив слюней в трубы. И никакой Дузе[[12]](#footnote-12) не было бы без толп вонючих буржуа в зрительном зале, передающих друг другу свои насморки и другие хвори. А подумайте, сколько отвратительных микробов приютил Микеланджело в курчавой бороде своего Моисея!

Он сделал торжествующую паузу, дожидаясь аплодисментов. Себастьян ему их дал в форме искреннего смеха. Легковесная виртуозность болтовни профессора понравилась ему, а итальянский акцент и неожиданные обороты речи добавляли всему этому странного шарма. Однако по мере того, как импровизация продолжалась и развивалась, отношение к ней Себастьяна претерпело разительную перемену. Не прошло и пяти минут, как он уже молил Бога, чтобы этот старый зануда поскорее заткнулся.

Но только запах и шипение на сковородке бараньих ребрышек привели к желаемому результату. Профессор откинул назад свою благородной формы голову и с предвкушением втянул носом аромат.

— Амброзия! — воскликнул он. — Мы видим второго Барония среди кастрюль и кухонных ножей.

Себастьян, понятия не имевший и о первом Баронии, развернулся и посмотрел внутрь кухни через открытую дверь. Отец стоял к ним спиной. Его голова с сединой в волосах и сильные широкие плечи были наклонены вперед, пока он колдовал над плитой.

— Не только великий мыслитель, но и великий повар, — сказал профессор.

Да, в этом-то и заключалась суть всех бед, отметил про себя Себастьян. Не только великий повар (хотя вслух он не раз презрительно высказывался о тех, кого увлекала еда как таковая), но и великий аккуратист, великий альпинист, великий бухгалтер, великий ботаник и наблюдатель за птицами, великий мастер эпистолярного жанра, великий социалист, великий любитель пеших прогулок, великий трезвенник и враг курения, великий докладчик, великий знаток всевозможной статистики — короче, он был велик во всем. Неутомимый, деятельный, эффективный, здоровый, обладавший тысячей достоинств и к тому же борец за счастье человечества. Если бы он хотя бы иногда позволял себе сделать паузу и отдохнуть! Если бы только и в его броне нашлись уязвимые места!

Профессор заметно повысил голос в явной надежде, что его следующую реплику услышат на кухне сквозь шипение жира на сковородке.

— Причем великий ум соседствует в нем с еще более великим сердцем и душой, — произнес гость торжественным, взволнованным тоном. Потом он склонился вперед и положил маленькую руку, очень бледную, если не считать желтых табачных разводов, на колено Себастьяну. — Надеюсь, ты гордишься отцом не меньше, чем он того заслуживает?

Себастьян несколько неопределенно улыбнулся и издал звук, который при желании сошел бы за утвердительный ответ. Но для него осталось загадкой, как человек, хотя бы немного знавший отца, мог утверждать, что тот наделен сердечностью и душевностью.

— Ведь он мог бы вполне добиться высочайших политических почестей при старой партийной системе. Но у него есть принципы, и он отказался играть по их правилам. А теперь кто знает? — Профессор как бы заключал свои слова в скобки и даже понизил голос до доверительного уровня. — Возможно, он уже вскоре будет вознагражден за это. Социализм наступит гораздо раньше, чем думает подавляющее большинство, и когда социалисты окажутся у власти... — Он экспрессивно воздел руку, пророчествуя грядущую славу мистера Барнака. — Если подумать, — продолжал он, — то какое состояние он мог бы сколотить, если бы не бросил заниматься адвокатурой. Тысячи, десятки тысяч фунтов! Но он отказался от легкого богатства, уподобившись святому Франциску. И все, что имеет, раздает с неслыханной щедростью. Партиям, движениям, просто нуждающимся людям. Раздает всем. Всем, — повторил он, горделиво вскинув благородную голову. — Без остатка!

Но есть одно исключение, мысленно поправил его Себастьян. Денег оказывалось вполне достаточно на поддержку политических организаций и, как он уже догадывался, иностранных профессоров в изгнании. Но если речь заходила о том, чтобы послать сына учиться в хорошую школу, чтобы купить ему приличную одежду и смокинг — тут средств уже не хватало. Профессор снова громогласно предался своему раздражающему красноречию. Чуть не лопаясь от вскипавшего внутри гнева, Себастьян дотерпел и был только благодарен, когда поданная к столу баранина прервала поток панегириков, а его освободила от необходимости дальнейшего присутствия в отцовском доме.

— Передай тете Элис, что я приду к ним после ужина, — выкрикнул мистер Барнак ему вслед, когда он уже выскочил на лестницу. — И сделай так, чтобы дядя Юстас не уехал до моего появления. Мне с ним нужно обсудить еще много организационных вопросов.

Снаружи Себастьяна дожидалось его маленькое церковное убожество, все еще окутанное поэтичным мраком, не лишившись пока необъяснимой значимости и красоты, но вот только Себастьян был сейчас погружен в такую бездну обиды и злости, что не удостоил церковь даже взглядом.

## IV

С бокалом хереса в руке Юстас Барнак стоял на коврике у камина, разглядывая портрет своего отца, висевший поверх мраморной доски. Из темной глубины на него смотрело квадратное мужественное лицо магната текстильной промышленности и филантропа, глаза которого были устремлены в пустоту, как два фонарика.

В задумчивости Юстас покачал головой.

— Сотни гиней, — сказал он. — Вот сколько денег было собрано по подписке на создание этого «шедевра». А сейчас тебе повезет, если за него дадут хотя бы пять. Лично я, — продолжил он, поворачиваясь к сестре, которая изящно, хотя чуть излишне прямо сидела на софе, — лично я готов предложить десятку, чтобы ты убрала его отсюда.

Элис Поулшот промолчала. Глядя на него, она думала, как же ужасно Юстас постарел со времени их последней встречи. Он выглядел гораздо старше, чем три года назад. Кожа на лице стала напоминать плохо натянутую резиновую маску, обвиснув на скулах, дряблая, мягкая и покрытая нездоровыми пятнами. А что до рта... Она вспомнила сияющего смеющегося мальчика, которым когда-то так гордилась. В его внешности именно эти изящные, всегда чуть по-детски приоткрытые губы так разительно, но мило контрастировали с чертами зрелого мужчины — странная, но одновременно глубоко трогательная особенность. На него невозможно было тогда посмотреть, чтобы в тебе не возникло желание по-матерински приласкать. А сейчас — сейчас на него нельзя было взглянуть без внутреннего содрогания. На влажную, все еще подвижную, но уже бесформенную линию рта, в котором теперь жутковато проступали одновременно и полудетские и старческие приметы; инфантилизм и эпикурейство рядом. Только в его по-прежнему умных и веселых глазах все еще находила она сходство с тем Юстасом, которого прежде так любила. Но и белки глаз пожелтели, местами выступили красные прожилки сосудов, а снизу набрякли тяжелые мешки обесцветившейся кожи.

Пухлым указательным пальцем Юстас постучал по полотну картины.

— Представляю, как бы он взбесился, если бы узнал! Я же помню, что он изначально противился этой идее. Выбросить такие деньжищи на никому не нужную картину, когда их можно было с толком потратить на что-то действительно полезное — фонтанчик для питья или на чистую общественную уборную.

Услышав слова «общественная уборная», его племянник Джим Поулшот оторвал взгляд от номера «Ивнинг стандард» и грубовато рассмеялся. Юстас мгновенно повернулся и с иронией посмотрел на него.

— И ты совершенно прав, мой мальчик, — сказал он с притворной сердечностью. — Только хорошее чувство юмора превратило Англию в великую имперскую державу.

Он подошел к софе и осторожно опустил на нее свое расплывшееся тело. Миссис Поулшот чуть подвинулась ближе к углу, чтобы дать ему больше места.

— Наш бедный старик отец! — сказал он, продолжая прежнюю тему.

— С чего это ты называешь его бедным? — довольно резко спросила Элис. — Бедными мы все были, конечно, в свое время. Но ему удалось многого добиться. Именно ему. Кто-нибудь из нас внес потом хоть какой-то вклад в семейный бизнес, хотела бы я знать?

— В какой бизнес? — переспросил Юстас. — Уж не имеешь ли ты в виду те развалины, что остались от его дела? Фабрики работают в полсмены из-за конкуренции индийцев и японцев. Индивидуальному патернализму теперь противостоит постоянное вмешательство государственных органов, которые он считал порождением дьявола. Либеральная партия умерла и похоронена. На смену серьезному и благородному рационализму пришла циничная распущенность. И если наш покойный старик не заслуживает сострадания, то я уж и не знаю, кто достоин его.

— Дело ведь не в конечном результате, — сказала миссис Поулшот, противореча самой себе.

Отца она боготворила и, вставая на защиту памяти о нем, которую до сих пор почитала чем-то святым, готова была пожертвовать далеко не только логичной последовательностью своих рассуждений.

— Важны мотивы, намерения, умение много работать — да, да, работать до самозабвения, — добавила она с важным видом.

Юстас хрипло рассмеялся.

— В то время, как я думаю только о собственных удовольствиях, верно? — спросил он. — По-твоему, если я сильно растолстел, то виноват лишь сам и пороки, которым безудержно предаюсь? А тебе не приходило в голову, моя дорогая, что, проживи мама подольше, она, вероятно, приобрела бы те же громадные габариты, что и дядя Чарльз?

— Как у тебя язык поворачивается говорить такое! — возмущенно воскликнула миссис Поулшот. Их дядя Чарльз выглядел чудовищно ожиревшим.

— Это у нас семейное. — Он ласково потрепал себя по животу. — Было, есть и будет.

Звук открывшейся двери заставил его повернуть голову.

— Ага! — вскричал он. — Вот и мой будущий гость!

Еще полностью погруженный в свои горькие мысли и объятый печалью, Себастьян чуть не вздрогнул и поднял взгляд. Дядя Юстас... Занятый собственными заботами, он совершенно о нем забыл и потому замер на пороге с открытым ртом.

— «В задумчивом иль праздном настроении»[[13]](#footnote-13), — весело продолжал Юстас. — Насколько же это типично для поэтической натуры!

Себастьян подошел и пожал протянутую ему руку. Она была мягкая, влажная и на удивление холодная. Осознание, что он, вероятно, производил сейчас довольно-таки жалкое впечатление, в то время как необходимо было показать себя с наилучшей стороны, только усугубило его скованность и почти лишило дара речи. Но ум его продолжал работать. На этом огромном и пухлом лице, подумал он, глаза выглядели маленькими, как у слона. И вообще, он производил впечатление элегантного маленького слоника в черном двубортном костюме и брюках в светло-серую клетку. А был еще и монокль на шнурке, который делал его похожим на пожилого денди из музыкальной комедии!

Юстас повернулся к сестре.

— Он с каждым годом все больше и больше напоминает Роузи, — сказал он. — Просто поразительно!

Миссис Поулшот молча кивнула. Мать Себастьяна казалась ей темой, которой в разговоре следовало по возможности избегать.

— Что ж, Себастьян, надеюсь, ты морально готов к довольно напряженному графику каникул. — Юстас снова потрепал себя по животу. — Потому что перед тобой чемпион мира по осмотру достопримечательностей. Автор сочинений «Галопом по Флоренции», «Весь Ватикан на роликовых коньках» и «Вокруг Лувра за восемьдесят минут». А со скоростью, с которой я осматриваю английские соборы, конкурировать не может вообще никто.

— Вот дурачок! — со смехом сказала миссис Поулшот.

Джим разразился в унисон громким хохотом, и Себастьян, позабыв на время о смокинге, влился в общее веселье. Образ этого франтоватого слона, несущегося по Кентерберийскому собору в мешковатых спортивных брюках, но с моноклем в глазу, представлялся невероятно потешным.

Бесшумно, посреди взрывов смеха, дверь снова распахнулась. Серый, мрачный, с удлиненным лошадиным лицом, словно оно отражалось в кривом зеркале, вошел Фред Поулшот, ступавший тихо, как на подбитых войлоком ботинках. Джим и Себастьян сразу посерьезнели. Фред подошел к софе, чтобы поприветствовать зятя.

— Хорошо выглядишь, — сказал Юстас, обмениваясь с ним рукопожатиями.

— Хорошо? — повторил за ним мистер Поулшот обиженно. — Тогда пусть Элис расскажет тебе как-нибудь о моем свище.

Он отвернулся и со скрупулезной тщательностью человека, готовящего себе дозу слабительного, наполнил бокал хересом ровно на одну треть.

Юстас смотрел на него и, как это уже не раз случалось прежде, исполнился глубочайшим сочувствием к бедняжке Элис. Тридцать лет с Фредом Поулшотом — даже представить невозможно! Впрочем, такова семейная жизнь. И он почувствовал себя необычайно довольным тем обстоятельством, что остался теперь в этом полном соблазнов мире совершенно одинок.

Шумное появление в комнате Сьюзен как раз в этот момент нисколько не изменило его довольства своей жизнью. Верно, она обладала заведомо привлекательным качеством — юностью, но даже ее чудаковатое и слегка комичное очарование девушки-подростка не отменяло того факта, что она носила фамилию Поулшот и, подобно всем Поулшотам, была невыразимо скучна. Самым большим комплиментом для нее могло служить только то, что она все же была гораздо интереснее Джима. Хотя что такое Джим? В свои двадцать пять лет он представлял собой абсолютно пустое место, и лучшее, чего мог добиться, — это стать сравнительно преуспевающим биржевым маклером году эдак в 1949-м. Вот что значило избрать себе папашей такого человека, как Фред. А вот у Себастьяна хватило ума, чтобы его зачали Барнак и самая очаровательная из всех по-цыгански безответственных женщин.

— Так ты рассказала ему о моем свище? — пристал к жене мистер Поулшот.

Но Элис сделала вид, что не расслышала вопроса.

— Кстати, о скачках по Флоренции, — сказала она нарочито громко, — ты никогда не встречался там с сыном кузины Мэри?

— Ты говоришь о Бруно Ронтини?

Миссис Поулшот кивнула.

— Я все никак не возьму в толк, почему она вышла за своего итальянца. Что она в нем нашла? — В ее тоне звучало неодобрение.

— Да, но признай, что даже итальянцы внешне очень похожи на людей.

— Не дури, Юстас. Ты прекрасно понял, что я имела в виду.

— Да, но как бы ты взбеленилась, если бы нечто подобное сказал я, — заметил Юстас с улыбкой.

Потому что в подтексте ее фразы лежало откровенное предубеждение и снобизм, укоренившееся недоверие к иностранцам и буржуазное убеждение, что все не слишком удачливые в жизни люди в чем-то непременно аморальны.

— Папа был бесконечно добр к этому человеку, — продолжила миссис Поулшот. — Я и сейчас помню, сколько возможностей он открыл перед ним!

— А старый и мудрый Карло благополучно все испоганил!

— Мудрый?

— Конечно, он добился этим того, что ему готовы были платить четыре фунта в неделю, лишь бы он держался подальше от текстильных фабрик и уехал в свою Тоскану. Разве это не признак мудрости?

Юстас допил херес и поставил бокал на стол.

— А его сынок до сих пор хозяйничает в своем букинистическом магазине, — продолжал он. — Мне нравится этот забавный Бруно, несмотря на его нелепую религиозность. Он не признает Бога, кроме как в виде Газообразного Позвоночного!

Миссис Поулшот рассмеялась. В семье Барнак определение Бога, данное Геккелем, было предметом шуток уже лет тридцать.

— Газообразное Позвоночное, — повторила она. — Но стоит вспомнить, в каких условиях он воспитывался! Кузина Мэри таскала его на все эти собрания квакеров, когда он был совсем маленьким мальчиком. К квакерам! — воскликнула она, словно сама себе не верила.

Появилась служанка из столовой и объявила, что ужин подан. Активная и подвижная Элис тут же оказалась на ногах. Ее брату принять вертикальное положение стоило куда большего труда. Все остальные члены семьи тоже двинулись к двери. Мистер Поулшот встал у выключателя и, как только последний его родственник покинул гостиную, выключил свет.

Когда они спускались вниз в столовую, Юстас положил руку на плечо Себастьяну.

— Ты не представляешь, насколько дьявольски трудно было мне уговорить твоего отца, чтобы он разрешил тебе погостить у меня, — сказал он. — Он страшится, что я приучу тебя к образу жизни богатого бездельника. К счастью, нам удалось загнать его в угол с помощью аргументов в пользу изучения культуры, так ведь, Элис?

Миссис Пуолшот сдержанно кивнула. Ей не нравилась привычка брата обсуждать дела взрослых в присутствии детей.

— Да, Флоренция как часть либерального образования, — сказала она.

— Точно. Из серии «Что должен знать каждый юноша».

Внезапно свет погас и на лестнице. Даже в самой черной меланхолии Фред никогда не пренебрегал любыми способами сэкономить.

Они вошли в столовую — все еще оклеенную красными обоями и такую же почти принципиально безобразную, отметил Юстас, — и заняли свои места.

— Якобы черепаховый, но не настоящий, — пояснила Элис, когда служанка поставила перед ним тарелку с супом.

Фальшивый черепаховый суп — что же еще! Его дорогая сестра неизменно демонстрировала истинный талант, выбирая к ужину худшие блюда английской кухни. Из принципа. Улыбнувшись одновременно и ласково, и чуть иронично, Юстас положил отечную руку поверх костлявых пальцев Элис.

— Это не имеет значения, милая. Просто я так давно не сиживал за твоим всегда гостеприимным столом.

— Здесь нет моей вины, — отозвалась миссис Поулшот; в ее голосе появился оттенок горечи и неожиданной дерзости. — Этот стол всегда накрывали в соответствии со вкусами отца, а он, вероятно, слишком себя уважал, чтобы набивать брюхо икрой, которой питаются даже свиньи.

Юстас рассмеялся, сохраняя неизменно доброе расположение духа. Двадцать три года назад он неожиданно бросил весьма успешную, по мнению многих, карьеру политика радикального толка, чтобы жениться на богатой вдове со слабым сердцем и уехать во Флоренцию. И этого ему так никогда до конца не простили ни сестра, ни брат, хотя по разным причинам. Для Джона его поступок стал вопиющей изменой своим политическим воззрениям. А Элис восприняла его брак как очередное оскорбление памяти отца, как рану, нанесенную семейной гордости. Они были третьим поколением скромно, но достойно живущего семейства Барнак, и, если не считать двоюродного дедушки Люка, о котором старались даже не вспоминать, Юстас стал первым перебежчиком во враждебный лагерь наслаждавшегося роскошью сословия действительно богатых людей.

— Оч-чень хорошо, — сказал он тоном человека, оценившего особенно точный удар на бильярдном столе.

Имея шесть тысяч годового дохода, он мог позволить себе великодушие. А кроме того, совесть никогда его не тревожила. Все пять лет их короткой совместной жизни он был для своей любимой Эми таким хорошим мужем, какого она могла только желать. А почему человек, наделенный живым умом и умением чувствовать, должен стыдиться ухода из мира политики, он не понимал вообще. Отвратительные закулисные интриги! Сознательное или подсознательное лицемерие в речах ради завоевания публичной популярности! Ослиная тупость бесконечного повторения одних и тех же прописных истин, лишенных логики споров с одними и теми же вульгарными оппонентами, обращение к дурным историческим примерам и ни на чем не основанным пророчествам! И это предлагалось считать высшим предназначением для талантливого мужчины? А если он предпочел политике жизнь цивилизованного и разумного человеческого существа, то должен был устыдиться этого?

— Оч-чень хорошо, — повторил он. — Но какой же ты стала непримиримой пуританкой, моя дорогая. Причем не имея на то ни малейшего метафизического оправдания.

— Метафизического, — сказала миссис Поулшот с таким презрением, словно была заведомо выше подобных благоглупостей.

Тем временем суповые тарелки унесли и на стол поставили блюдо с седлом барашка. Молча и нисколько не изменив выражения глубокого страдания на лице, мистер Поулшот взялся за разделку мяса на порции.

Юстас посмотрел на него, потом снова на Элис. Его несчастная сестра следила за Фредом с заботливой мукой в глазах, желая, несомненно, чтобы ее угрюмое престарелое дитя вело себя примерно хотя бы в присутствии гостей. И быть может, потому, подумал Юстас, быть может, из-за этого она говорила дерзости ему. Превознося мужа за счет принижения брата. Бездумно, нелогично, но по-человечески так понятно.

— Надеюсь, мясо приготовлено по твоему вкусу, Фред, — сказала она через стол.

Не произнеся ни звука и даже не повернув головы, мистер Поулшот пожал узкими плечами.

Не без усилия оторвав от него взгляд, миссис Поулшот повернулась в Юстасу.

— Мой бедный Фред сейчас в ужасном состоянии из-за своего свища, — сказала она, стараясь компенсировать недостаток внимания к этой теме, проявленный ею в гостиной.

Вошла старушка Эллен с тарелкой овощей, и за ней следом в столовую проник чуть подросший котенок, принявшийся тереться о ножку стула Элис. Она наклонилась и взяла его на руки.

— Привет, Онегин! — Она почесала пушистого зверька за ушком. — Мы назвали его Онегин, потому что он — последний шедевр нашего недавно почившего и горько оплакиваемого Пусскина[[14]](#footnote-14).

Юстас вежливо улыбнулся.

Он невольно задумался о том, что для бедняжки Элис не было исхода и утешения ни в философии, ни в религии, ни в любви, ни в политике. Нет, ей оставалось только чувство юмора эдвардианской эпохи и еженедельный номер журнала «Панч». И все же безвкусная игра слов и эксцентричное поведение в стиле 1912 года были предпочтительнее жалости к себе и полной капитуляции перед дурным настроением Фреда, на которую оказались готовы все остальные за этим столом. А, видит бог, не капитулировать было трудно. Сидевший за горой баранины на блюде Фред Поулшот излучал негативизм. Его волны ощутимо били в тебя, проникали радиацией, которая могла служить совершеннейшей антитезой нормальной жизни, полным отрицанием доброты и человеческого тепла. И Юстас решил попытаться изменить атмосферу.

— А скажи мне, Фред, — заговорил он самым непринужденным тоном. — Как там дела в Сити? Мы можем рассчитывать на щедроты Востока? Надеюсь, деловая активность в порядке?

Мистер Поулшот поднял злой взгляд, который все же почти мгновенно смягчился.

— Положение таково, что хуже и быть не может, — провозгласил он.

Юстас вздернул брови, не слишком натурально изобразив на лице тревогу.

— Боже милостивый! И как же это скажется на моих дивидендах от южнокитайского банка «Янцзы»?

— Уже ходят разговоры, что доходность их акций в этом годы упадет.

— Господи!

— С восьмидесяти процентов до семидесяти пяти, — угрюмо сказал мистер Поулшот и повернулся, чтобы положить себе овощей. Он снова погрузился в молчание, которое сразу объяло весь стол.

Насколько же менее ужасным стал бы характер этого человека, размышлял Юстас, пока он поедал баранину с брюссельской капустой, если бы он был способен хотя бы раз в жизни выйти из себя, устроить бешеный скандал, напиться в хлам или переспать со своей секретаршей (хотя секретарше надо бы заранее посочувствовать)! Но в натуре Фреда полностью отсутствовал даже намек на возможность буйства, насилия, измены. И не будь он настолько невыносим, из него мог получиться отличный муж. Ему нравилась рутина семейной жизни, нарезка баранины, чтение нотаций детям, как нравилась роль (кем он там был?) исполнительного секретаря или казначея в своей «Фар-Истерн, как бишь ее» компании из Сити. Но вся проблема и состояла в том, что он весь пропитался этой рутиной, стал образцом в регулярности совершения однообразных действий. Выругаться? Взбеситься? Изменить своей бедной доброй Элис? Нет. Он скорее ограбил бы собственную фирму. Фред вынимал из людей душу, но совершенно иным способом. Причем ему для этого не надо было ничего делать. Одного его присутствия оказывалось достаточно. У людей мороз пробегал по коже, и они стремились поскорее отвернуться от него, словно боялись подцепить инфекцию.

Внезапно мистер Поулшот нарушил тягостное молчание и глухим, лишенным всякого выражения голосом попросил передать ему желе из красной смородины. Вздрогнув, как если бы его окликнули из какого-то другого мира, Джим стал лихорадочно осматривать стол.

— Вот оно, Джим. — Юстас Барнак подвинул ближе к нему блюдо.

Джим окинул его благодарным взглядом и передал блюдо отцу. Мистер Поулшот взял его без единого слова или улыбки, переложил часть содержимого на свою тарелку, а потом с явным намерением найти еще одну виновницу своих несчастий не вернул блюдо Джиму, а протянул в сторону Сьюзен, которая как раз готовилась поднести вилку ко рту. Как он предвидел, чего и добивался, мистеру Поулшоту пришлось ждать с выражением мученического терпения на лице, пока Сьюзен поспешно запихивала себе в рот кусок баранины, с шумом роняла нож и вилку на стол и, покраснев, забирала протянутое ей желе.

Сидя в первом ряду партера перед сценой, где разыгрывалась эта комедия, Юстас восхищенно улыбнулся. Какое блестяще отточенное проявление желания повелевать, какая утонченная жестокость! И изумительный дар заражать все и вся унынием, которое подавляет самый высокий дух, уничтожает малейшую возможность для проявления радости жизни! Воистину, никто не осмелился бы упрекнуть Фреда в том, что он зарыл свой талант в землю.

Тишина снова воцарилась в комнате. Тишина, какая бывает в помещениях, где устанавливают гроб с телом покойного. Миссис Поулшот изо всех сил старалась придумать, что сказать — нечто умное, что-то вызывающе смешное, но ей ничего не приходило в голову, вообще ничего. Фред пробил ее оборону и добрался до центра, парализующего речь, останавливающего саму жизнь, засыпав источник энергии песком и пеплом. Она сидела в полнейшем изнеможении, осознавая сейчас, какая усталость накопилась в ней за тридцать лет непрерывной защиты и робких попыток переходить в контратаки. И словно почувствовав, что хозяйка потерпела очередное поражение, спавший у нее на коленях котенок развернул свой клубок, потянулся и бесшумно спрыгнул на пол.

— Онегин! — воскликнула она и протянула руку, но малыш ускользнул из-под ее пальцев, гладкий и по-змеиному гибкий. Не будь она уже столь зрелой и разумной женщиной, миссис Поулшот разразилась бы слезами.

Молчание продолжалось, усугубившись теперь тиканьем бронзовых часов на каминной полке, которое почему-то только сейчас стало различимым. Юстас, решивший поначалу, что будет даже занятно понаблюдать, как долго сможет продолжаться столь невыносимая ситуация, внезапно почувствовал вскипавшее внутри своего существа чувство жалости и одновременно возмущение. Элис нуждалась в поддержке, и будет чудовищно, если эта мерзкая тварь, этот глист снова оставит победу за собой. Юстас откинулся на спинку стула, промокнул салфеткой губы и, оглядевшись по сторонам, жизнерадостно улыбнулся.

— Взбодрись, Себастьян, — окликнул он юношу через стол. — Надеюсь, ты не будешь таким мрачным, когда через неделю приедешь погостить ко мне?

Чары вдруг оказались развеяны. Усталость Элис Поулшот как рукой сняло, и она снова обрела дар речи.

— Не забывай, — сказала она с долей лукавства, пока мальчик что-то пытался промямлить в ответ, — что наш милый Себастьян обладает подлинным поэтическим темпераментом, — и с раскатистым «р» в манере старых декламаторов она процитировала: — «Р-рыданья из глубин божественной души, р-разверстой пред тобой»[[15]](#footnote-15).

Себастьян залился краской и закусил губу. Он очень любил тетю Элис. Любил настолько, насколько она позволяла кому-либо себя любить. Но все же бывали моменты — и это был один из них, — когда им овладевало желание придушить ее. Подобными мимолетными и легкомысленными ремарками она оскорбляла не только его самого, но и красоту, поэзию, величие гения, то есть все, что находилось за пределами ее слишком упрощенного обывательского понимания.

Юстас прочитал мысли, отразившиеся на лице племянника, и не мог не посочувствовать ему. Элис умела становиться до странности бесчувственной, отметил он. Причем из принципа. Как из принципа предпочитала скверные блюда. Он тактично и плавно попытался сменить тему. Вот Элис только что вспомнила строку Теннисона. А как воспринимает его творчество молодежь в наши дни?

Но миссис Поулшот никому теперь не давала увести разговор в сторону. На ней лежала ответственность за воспитание Себастьяна, и если бы она позволила ему своенравно предаваться своим настроениям, плохая бы из нее вышла воспитательница. Ведь только потому, что тупая мамаша всегда потакала Фреду во всех капризах, он теперь вел себя, как ему заблагорассудится.

— Или, возможно, — продолжала она все более грубо, явно показывая, что собирается преподать кое-кому урок, — мы имеем здесь дело с первой любовью. «Влюбившийся впервые, познай все сожаления и горести»[[16]](#footnote-16). Хотя у мальчиков бывают и обычные проблемы с желудком, и тогда нам нужна лишь порция горькой эпсомской соли.

При упоминании об эпсомской соли молодой Джим просто зашелся от хохота, пользуясь редкой возможностью, поскольку сидел рядом с главным источником сумрачного настроения за столом. Сьюзен бросила на окончательно побагровевшего Себастьяна утешающий взгляд. Потом обратила взор, исполненный упрека, на брата, но тот не заметил его.

— Что ж, тогда я дополню вашего Теннисона фрагментом из Данте, — сказал Юстас, снова приходя на помощь Себастьяну. — Помните? Это круг пятый Ада.

Tristi fummo

Nell’ aer dolce che del sol s’allegra[[17]](#footnote-17).

А все потому, что при жизни они предавались печали, их приговорили провести вечность в болоте, где их мелкая Weltschmerz[[18]](#footnote-18) пузырями поднимается сквозь жижу, как болотный газ. Поэтому тебе лучше быть осторожнее, приятель, — заключил он с притворной угрозой, но с улыбкой, означавшей, что он целиком на стороне Себастьяна и понимает его чувства.

— Ему нет нужды волноваться о мире ином, — сказала миссис Поулшот достаточно резко. Она так ненавидела чепуху о бессмертии души и загробной жизни, что не желала слышать об этом даже в виде шутки. — Меня беспокоит, что с ним будет, когда он вырастет.

Джим снова расхохотался. Юность Себастьяна казалась ему почти такой же смешной, как его вероятная потребность в слабительном.

Этот повторный взрыв его смеха заставил мистера Поулшота выйти из оцепенения и начать действовать. Юстас, понятное дело, был попросту гедонистом, и даже от Элис он не мог ожидать ничего другого. Она всегда оставалась (ее единственный недостаток, но насколько же огромный и непростительный!) чудовищно бесчувственной к его внутренним страданиям. Но, к счастью, хотя бы Джим отличался от них в лучшую сторону. В отличие от Эдварда и Марджори, которые в этом отношении полностью походили на свою мать, Джим всегда проявлял к нему должное уважение и сострадание. И то, что он сейчас настолько забылся, что рассмеялся дважды, стало источником удвоенной боли — двойным оскорблением его чувств, прервавшим течение горестных размышлений о сокровенном; и боль делалась только острее, потому что подрывала веру в добрые начала, заложенные в этом молодом человеке. Подняв глаза, которые он сознательно и долго держал упертыми лишь в стоявшую перед ним тарелку, мистер Поулшот посмотрел на сына с выражением глубокого сожаления. Джим уклонился от этого исполненного упрека взгляда и, дабы скрыть свое смущение, поспешил набить рот хлебом. Почти шепотом мистер Поулшот наконец заговорил.

— Ты знаешь, какой сегодня день? — спросил он.

Ожидая выговора, черед которого, видимо, еще не наступил, Джим покраснел и с набитым ртом произнес, что, как ему казалось, сегодня двадцать седьмое число.

— Двадцать седьмое марта, — поправил его мистер Поулшот. Он медленно склонил голову выразительным кивком. — В этот день одиннадцать лет назад от нас ушел твой бедный дедушка. — Он на секунду снова уперся взглядом в лицо Джима, с удовлетворением отмечая, как на нем появились признаки растерянности, а потом снова опустил очи долу и погрузился в молчание, предоставив молодому человеку самому в полной мере пережить стыд за свое поведение.

На противоположном конце стола в один голос смеялись над какими-то общими детскими воспоминаниями Элис и Юстас. Мистеру Поулшоту оставалось только испытывать жалость к этим людям, столь бессердечным и нечутким к более возвышенным чувствам других. «Прости им, ибо не ведают, что творят», — сказал он про себя, а затем, мысленно отгородившись от их бессмысленной болтовни, сосредоточился на реконструкции в памяти подробностей непростых переговоров, которые он вечером двадцать седьмого марта 1918 года провел с представителем похоронной конторы.

## V

В гостиной, когда с ужином было покончено, Джим и Сьюзен уселись за шахматную партию, в то время как остальные расположились ближе к очагу. Совершенно завороженный, Себастьян наблюдал, как его дядя Юстас раскуривал «Ромео и Джульетту»[[19]](#footnote-19), которую, хорошо зная принципы Элис и скаредные привычки Фреда, предусмотрительно принес с собой. Сначала ритуал обрезки, потом, когда сигара подносилась ко рту, счастливая улыбка предвкушения. Влажные вожделеющие губы сомкнулись у конца; вспыхнула спичка, ее пламя словно втянуло внутрь. И совершенно неожиданно Себастьяну это напомнило младенца кузины Марджори, слепо тыкавшегося носом в грудь, выискивая сосок, затем хватая его и сжимая мягкими, но жадными и цепкими губами, чтобы начать сосать, сосать и сосать в самозабвенном трансе наслаждения. Верно, сравнение хромало, потому что у дяди Юстаса манеры все же были более изящными, а сосок в данном случае имел цвет хорошо прожаренного кофе и шесть дюймов в длину. Но перед мысленным взором Себастьяна все равно начали проплывать странные образы и стали складываться слова в гротескном и пародийно героическом построении.

Младенец преклонных годов губами объял похотливо

Ту влажную смуглую грудь, что сделала б честь королеве

Любого дикарского племени...

Стихотворение оборвали: внезапно открылась и с грохотом захлопнулась входная дверь. В комнату вошел Джон Барнак и сразу направился к софе, на которой расположилась миссис Поулшот.

— Извини, но я никак не успевал к ужину, — сказал он, положив ладонь ей на плечо. — Но мне представилась уникальная возможность повидаться с Каччегвидой. И между прочим, — добавил он, оборачиваясь в сторону брата, — он сообщил мне, что у Муссолини определенно развился рак горла.

Юстас оторвал от губ табачный сосок и снисходительно улыбнулся.

— На этот раз проблема, значит, в горле? Знакомые мне антифашисты предпочитают все время говорить о печени.

Джон Барнак был обижен его словами, но сделал над собой усилие, чтобы не показать этого.

— Каччегвида — надежный источник информации, — сказал он уже несколько более сдержанно.

— Я слышал, как кто-то говорил, что не любит выдавать желаемое за действительное, или мне показалось? — спросил Юстас так спокойно, что мог кого угодно вывести из себя.

— Конечно, ты цепляешься теперь за эти слова, — сказал Джон. — Ты их запомнил, потому что можешь использовать, чтобы принизить значение крупного политического вопроса и осмеять героев, борющихся за правое дело.

Он говорил своим обычным размеренным и превосходно поставленным голосом, но его подлинные чувства выдавала чуть повышенная громкость и едва заметные вибрирующие обертона.

— Циничный реализм — вот превосходный предлог для интеллигентного человека отойти в сторону и ничего не предпринимать в совершенно нестерпимой ситуации.

Элис Поулшот переводила взгляд с одного на другого и могла только сожалеть, что братья начинали вздорить при каждой встрече. Почему бы Джону просто не смириться с тем фактом, что Юстас отчасти старая свинья, и не закрыть вопрос раз и навсегда? Но нет, он обязательно начинал злиться в свойственной ему манере, еще и пытаясь подавлять эмоции, чтобы непременно всех убедить в своем моральном превосходстве. И Юстас хорош! Зачем ему нужно все время провоцировать эти стычки, размахивая под носом у оппонента красными политическими тряпками и вонзая в него отравленные стрелы? Но оба были безнадежны.

— Царь Бревно или Царь Аист? — с прежней невозмутимостью спросил Юстас. — Лично я всегда бы предпочел старое доброе бревно. Чтобы избежать роковой ошибки. А подобное умение являет собой наивысшую из добродетелей.

Стоя рядом с камином, опустив руки по швам, широко расставив ноги, с очень прямым и напряженным телом, как борец, готовящийся вступить в схватку, Джон Барнак смотрел сверху вниз на своего брата спокойным, немигающим, пронизывающим взором, который в суде он когда-то приберегал для неугодных или изолгавшихся свидетелей. Это был тот взгляд, который, даже если он был направлен на других, внушал Себастьяну невыразимый страх. Но Юстас лишь поудобнее устроился на мягкой софе, прикрыл глаза и нежно взасос поцеловал кончик своей сигары.

— И как я полагаю, — сказал Джон Барнак после продолжительной паузы, — ты мнишь себя одним из величайших приверженцев этой добродетели?

Юстас выпустил облако ароматного дыма и ответил, что старается им быть.

— Ты стараешься, — повторил за ним Джон, — но, насколько мне известно, держишь, например, крупный пакет акций южнокитайского банка «Янцзы», не так ли?

Юстас кивнул.

— И жирея на эксплуатации чужого труда в Китае и Японии, ты к тому же владеешь долей в джутовых компаниях, верно?

— Очень прибыльной долей, — сказал Юстас.

— Очень прибыльной, не сомневаюсь. Тридцать процентов дохода в самый неудачный год. И их приносят тебе индийцы, на чей дневной заработок нельзя купить даже трети вот этой твоей сигары.

Мистер Поулшот, все время сидевший в угрюмом молчании, совершенно забытый, вдруг вмешался в разговор.

— Там дела шли отлично, пока на плантациях не появились агитаторы, — сказал он. — Начали создавать профсоюзы, настраивать работяг против хозяев. Их всех надо расстрелять. Да, взять и поставить к стенке! — закончил он с яростным напором.

Джон Барнак расплылся в ироничной улыбке.

— Не переживай, Фред. Сити об этом позаботится.

— О чем это ты? — раздраженно спросила Элис. — Сити находится в Лондоне. А мы говорим об Индии.

— Верно, Сити здесь, но его агенты — там. И это парни, вооруженные автоматами. Агитаторы, упомянутые Фредом, непременно схлопочут пули, а сидящий здесь Юстас сможет и дальше разглагольствовать о своем добродетельном умении избегать ошибок, держась так, словно все это его не касается, с той неподражаемой грацией, которая нам так в нем нравится.

Наступило молчание. Себастьян, который от души желал, чтобы его отец потерпел в этом споре сокрушительное поражение, в отчаянии смотрел на дядю. Но тот вовсе не сидел понуро, сокрушенный аргументами оппонента, а, напротив, почти бесшумно хохотал.

— Браво! Восхитительно! — воскликнул он, когда отсмеялся и восстановил дыхание. — Просто потрясающе! А теперь по всем правилам, Джон, тебе следует отбросить в сторону всякий сарказм и выдать пять минут чистого пафоса и праведного гнева. Пять минут душевной речи мужчины, который умеет говорить прямо и без обиняков. После чего жюри присяжных признает меня виновным по всем статьям, даже не удаляясь в совещательную комнату, и вынесет частное определение, что судебным исполнителям следует передать меня в руки избранного народом трибунала. Народный трибунал! — звучно повторил он. — И каждый член в классическом модном костюме. Но, между прочим, как на самом деле называется та разновидность римской тоги, в которую облачаются рвущиеся к власти джентльмены наших дней, чтобы их желание править не выглядело столь уж вопиюще откровенным? Тебе знаком этот термин, Себастьян, я в этом уверен.

А когда Себастьян отрицательно помотал головой, продолжал тем же повышенным тоном:

— Боже, чему же они вас сейчас учат в школах? Потому что тоге этой имя — идеализм. Да, моя дорогая, — продолжал он, обращаясь теперь к Сьюзен, которая давно оторвалась от шахмат и с удивлением слушала его. — Поверь мне. Это чистейшей воды идеализм.

Джон Барнак притворно зевнул, прикрыв рот ладонью.

— Признаюсь, скучновато внимать этим дешевым психологизмам, от которых несет затхлостью семнадцатого века, — сказал он.

— Да ладно, просто скажи нам, — заметил на это Юстас, — на что рассчитываешь лично ты, чего ты потребуешь, когда к власти придут нужные тебе люди? Назначения генеральным прокурором, никак не меньше, как я подозреваю.

— Право, Юстас, — твердо сказала миссис Поулшот. — Ты перегибаешь палку. Довольно!

— Ах, все-таки довольно? — переспросил Юстас, изобразив возмущение. — Стало быть, ничтожного поста генерального прокурора будет достаточно? Хотя, думаю, ты все же недооцениваешь своего брата. Но в самом деле, Джон, — продолжал он уже совершенно с другой интонацией, — давай перейдем к более серьезным делам. Мне неизвестны твои планы, но мне в любом случае нужно выехать во Флоренцию уже завтра. Во вторник я жду в гости свою тещу.

— Старую миссис Гэмбл? — Элис удивленно оторвала взгляд от своего вязания. — Ты хочешь сказать, что она до сих пор мотается по Европе? В ее-то возрасте?

— Ей восемьдесят шесть, — сказал Юстас, — но если не считать катаракты, от которой она практически ослепла, то в остальном у нее полный порядок.

— Боже милостивый! — воскликнула миссис Поулшот. — От души надеюсь, что не дотяну до таких преклонных лет! — Она выразительно помотала головой, ужаснувшись при мысли, что ей еще тридцать один год предстоит тащить на себе этот дом, терпеть депрессии Фреда и полнейшую бессмыслицу собственного существования.

Юстас снова обратился к брату:

— Так когда вы вдвоем собираетесь в путь?

— В следующий четверг. Но нам придется остановиться на ночевку в Турине. Мне нужно встретиться кое с кем из соратников Каччегвиды, — объяснил Джон.

— Стало быть, Себастьяна ты доставишь ко мне в субботу?

— Предпочту, чтобы он доставил себя сам. Мне придется сойти в Генуе.

— О, значит, сам ты ко мне не приедешь?

Джон Барнак покачал головой. Пароход отплывает из Генуи в тот же вечер. Три или четыре недели ему предстоит провести в Египте. А потом партийная газета ждет от него репортажей о положении коренного населения Кении и Танганьики.

— Кстати, когда будешь в тех краях, — сказал Юстас, — выясни, пожалуйста, почему так упал курс моих акций Восточно-Африканской кофейной компании.

— Это я могу тебе объяснить прямо здесь и сейчас, — отозвался его брат. — Несколько лет назад кофейный бизнес приносил баснословные доходы. Результат: миллионы акров новых плантаций и множество безрассудных алчных свиней из Лондона и Парижа, Амстердама и Нью-Йорка, ринувшихся вкладывать капиталы в кофейную золотую жилу. А ныне наступил предсказуемый кризис перепроизводства зерен, и цены так упали, что даже почти бесплатный каторжный труд чернокожих рабочих не может обеспечить тебе желанных дивидендов.

— Скверно!

— Ты и в самом деле так думаешь? Тогда подожди, пока твое искусное умение избегать ошибок не приведет к восстаниям в колониях и к революции в нашем собственном доме!

— К счастью, — сказал Юстас, — нас к тому времени уже не будет в живых.

— Я бы не был в этом так уверен на твоем месте.

— Мы все можем так же зажиться на этом свете, как несчастная миссис Гэмбл, — заметила Элис, пытаясь вообразить себе, как будут выглядеть они с Фредом в 1950 году.

— Этого не потребуется, — сказал Джон Барнак с мстительно удовлетворенным видом. — Все произойдет гораздо раньше, чем вы можете ожидать. — Он посмотрел на часы. — Что ж, меня еще ждет работа, а завтра вставать с петухами. Поэтому вынужден пожелать всем спокойной ночи, Элис.

У Себастьяна бешено заколотилось сердце, и он снова почувствовал приступ дурноты. Он пришел — самый последний момент, оставалась всего лишь одна возможность. Поэтому он набрал полные легкие воздуха, встал и подошел к тому месту, где стоял отец.

— Спокойной ночи, папа, — сказал он, а потом: — Да, между прочим, — добавил он самым небрежным тоном, на какой только был способен, — ты не думаешь, что мне пора... То есть я уже достаточно взрослый... Словом, что я должен иметь настоящий вечерний костюм?

— Должен? — повторил отец. — Именно должен? То есть мы имеем дело со случаем категорического императива, так?

И он внезапно разразился кратким, но оттого только более пугающим смехом.

Совершенно потерянный, Себастьян бормотал нечто в том смысле, что настоятельной необходимости действительно не было, когда он просил в последний раз, но сейчас... Сейчас вопрос приобрел реальную важность. Его пригласили на ответственный прием.

— Приемом ты, разумеется, называешь обычную вечеринку, — сказал мистер Барнак и вспомнил, с каким энтузиазмом произносила Роузи ненавистное ему словечко, как загорались ее глаза при звуках музыки и шума толпы гостей, вспомнил и необузданное веселье, которому она предавалась с такой охотой. — Куда уж категоричнее, — саркастически добавил он.

— У твоего отца в последнее время было слишком много расходов, — влезла миссис Поулшот с наилучшими намерениями. Ей хотелось смягчить для Себастьяна столкновение с жесткой непримиримостью своего отца. В конце концов, не одна Роузи была во всем виновата. Джон всегда проявлял к людям излишнюю требовательность, еще будучи мальчишкой. А теперь в придачу ко всему он еще и отравлял жизнь окружающих своими смехотворными политическими принципами. Но от его требовательности и принципиальности деваться было некуда — такова реальность. А Себастьян — очень ранимый. И это тоже реальность. Вот почему она всегда стремилась отделить эти две реальности друг от друга, не давая им сталкиваться лоб в лоб. Но в данном случае ее попытка была хуже, чем просто бесплодной.

— Моя дражайшая Элис, — произнес Джон Барнак вежливо, но абсолютно решительно. — Вопрос заключается не в том, могу ли я себе позволить приобрести этому юноше модный наряд. (Эти слова вызвали в памяти красные бархатные бриджи леди Каролины Лэм, переодетой в пажа Байрона, роль которого взял тогда на себя молодой Том Хиллиард.) Суть проблемы — правильно ли будет поступить подобным образом?

Юстас оторвал губы от соска сигары и заявил, что такого рода рассуждения стократ хуже Савонаролы.

Но Джон Барнак выразительно помотал головой:

— Это не имеет никакого отношения к христианскому аскетизму. Мы говорим о достойной линии поведения. Человек не должен пользоваться случайно доставшимися ему, ничем не заслуженными привилегиями. Noblesse oblige[[20]](#footnote-20).

— Очень хорошо, — сказал Юстас, — но ты начинаешь с того, что сам ставишь человека в положение, которое его к чему-то обязывает. А это чистейшее насилие над личностью.

— Себастьян совершенно лишен всякого понимания своей ответственности перед обществом. Ему придется научиться этому.

— А не то же ли самое внушает сейчас Муссолини всему итальянскому народу?

— И вообще, — снова вмешалась миссис Поулшот, обрадованная возможностью побороться на стороне Себастьяна совместно с союзником, — почему мы поднимаем столько шума из-за элементарного вечернего костюма?

— Из-за жалкого смокинга, — подхватил Юстас таким тоном, словно желал как можно скорее низвести этот спор до уровня самого низкого фарса, — из-за грошовой тряпки. Кстати, это напоминает мне моего молодого человека из Уокинга. Ты, быть может, не знаешь об этом, Себастьян, но я тоже когда-то пробовал себя в роли поэта.

Молодой человек из Уокинга

В божий храм не являлся без смокинга.

Он надел бы и фрак, только был не дурак

Этот юный пижон из Уокинга.

Ты, видимо, добиваешься, Джон, чтобы Себастьян попросил тебя купить ему фрак.

Перенервничав, Себастьян начал неестественно громко хохотать, но потом, заметив суровое неулыбчивое лицо отца, его жестко поджатые губы, резко оборвал смех.

Юстас подмигнул ему, наморщив свои пухлые веки.

— Спасибо за ваши аплодисменты, — сказал он, — но, боюсь, главному адресату моя поэзия не пришлась по вкусу.

Миссис Поулшот попыталась скрасить эффект от неудачной, с ее точки зрения, шутки Юстаса, грозившей только все испортить.

— Если разобраться, — сказала она, возвращая беседу на серьезные рельсы, — что такое смокинг? Не более чем глупая мелкая условность, вот и все.

— Согласен — глупая, — ответил Джон своим размеренным и рассудительным тоном. — Однако там, где речь заходит о символах классовых различий, ни одну условность невозможно считать мелкой.

— Но, папа, — сказал Себастьян, — у всех парней моего возраста есть смокинги.

Его голос от переполнявших эмоций сделался почти визгливым.

Склонившаяся над шахматной доской Сьюзен все слышала, распознала сигнал опасности и мгновенно вскинула взгляд. Лицо Себастьяна налилось пунцовым румянцем, губы уже начали подрагивать. Сейчас он необычайно походил на маленького мальчика. Обиженного маленького мальчика, беззащитного перед жестокостью взрослых. Сьюзен охватила волна любви и жалости к нему. «Но как же неуклюже повел себя в этой ситуации он сам!» — подумала она и вдруг разозлилась; не вопреки любви и жалости, а именно потому, что так беспокоилась за него. Какого дьявола он до сих пор не научился хотя бы немного владеть собой! А если это искусство не давалось, лучше было бы просто помалкивать.

Джон Барнак несколько секунд молча смотрел на сына — смотрел пристально, видя перед собой новое воплощение своей безответственной и легкомысленной жены, которая его предала, но теперь уже покоилась в могиле. Потом он снова скривился в саркастической улыбке.

— У всех парней, — повторил он, — у всех до единого.

Теперь он применял те речевые приемы, которые когда-то пускал в ход в суде, чтобы дискредитировать перед присяжными ключевых свидетелей противоположной стороны, и потому добавил с презрительной иронией:

— Ну, разумеется, у сыновей безработных шахтеров Южного Уэльса сейчас как раз в моде фраки и белые галстуки, не говоря уже об обязательном цветке гардении в петлице. А теперь, — скомандовал он безапелляционно, — марш в постель, и чтобы ты больше никогда не приставал ко мне с подобным вздором!

Себастьян развернулся и, лишившись дара речи, бросился вон из комнаты.

— Твой ход, — нетерпеливо напомнил Джим.

Сьюзен посмотрела на доску, заметила черного коня, стоявшего под боем ее ферзя, и мгновенно взяла его.

— Вот тебе! — с яростью прошептала она. Черным конем был сейчас для нее дядя Джон.

Но Джим тут же с триумфом переместил свою ладью по всей вертикали, и ее ферзь пал жертвой.

— Шах! — громогласно объявил он.

Три четверти часа спустя, уже переодевшись в пижаму, Сьюзен сидела по-турецки напротив газового обогревателя в своей спальне и делала записи в дневнике. «4+ по истории. 4 по алгебре. Могло быть и хуже. Мисс К. снизила мне оценку за неаккуратность, но, конечно же, не заметила ее у своей любимой Глэдис. Это уже слишком!!! Скарлатти играла хорошо, но вот только Пфайффер снова пытался шутить с С. по поводу сигар. А потом мы встретили Тома Б. и он пригласил С. к себе на вечеринку, а С. страшно расстроился, потому что у него нет треклятого смокинга. Если бы не это, я бы, наверное, сегодня возненавидела его — он снова ходил к миссис Э., а она надела специально для него черное кружевное нижнее белье в обтяжку. Но все же я чувствую такую ужасную жалость к нему. Этим вечером дядя Дж. устроил безобразную сцену из-за смокинга. Иногда я просто готова его презирать. Дядя Ю. старался заступаться за С., но из этого ничего хорошего не вышло». Да, ничего хорошего не вышло, но хуже всего было то, что ей пришлось сидеть там, дожидаясь, чтобы уехали сначала дядя Джон, потом дядя Юстас. Но даже когда ей уже ничто не мешало отправиться спать, она не решалась пойти и утешить его из страха, что мама или Джим могут услышать и застать ее в комнате Себастьяна. Если Джим, то хохота на весь дом не оберешься, словно он увидел ее сидящей на унитазе, а мать начала бы отпускать колкости, слышать которые невыносимо, хоть умри. Но сейчас — она посмотрела на часы, стоявшие на каминной полке, — сейчас вполне безопасно. Она поднялась, заперла дневник в выдвижном ящике письменного стола, спрятав ключ в обычном месте позади зеркала. Затем она выключила настольную лампу, осторожно открыла дверь и выглянула. Света внизу — ни проблеска, а в доме стояла такая тишина, что она могла слышать тяжелые удары собственного сердца. В три шага она оказалась перед дверью, располагавшейся по другую сторону лестничной площадки. Ручка повернулась беззвучно, и так же беззвучно Сьюзен проскользнула в его комнату. Мрак в ней не был полным, потому что жалюзи не опустили до конца, и уличный фонарь через дорогу бросал через потолок узкий овальный отсвет. Сьюзен закрыла за собой дверь и замерла, вслушиваясь, но слыша поначалу по-прежнему только гулкие удары своего сердца. Затем пружины кровати чуть скрипнули, и раздался протяжный всхлипывающий вдох. Он плакал. Она импульсивно шагнула вперед, ее вытянутая перед собой рука натолкнулась сначала на медную спинку кровати, потом нащупала одеяло, а с шерсти переместилась на призрачное в полутьме белое полотно откинутой простыни. На смутно видневшейся подушке черным силуэтом вырисовывалась голова Себастьяна. Ее пальцы прикоснулись к его затылку.

— Это я, Себастьян.

— Уходи, — процедил он зло. — Уходи!

Сьюзен не сказала ничего, но тихо опустилась на край его постели. Крошечные волоски, оставленные парикмахером на шее, электричеством покалывали кончики ее пальцев.

— Ты не должен ни на что так реагировать, Себастьян, милый, — прошептала она. — Нельзя им позволять так легко ранить себя.

Она говорила с ним, конечно же, покровительственным тоном. Обращалась как с ребенком. Но он был сейчас настолько несчастен, а унижение зашло так далеко, что в нем не осталось ни гордости, ни энергии, чтобы продолжать делать хорошую мину при плохой игре. Он лежал неподвижно, позволив себе насладиться приносившим успокоение ощущением ее близости.

Сьюзен оторвала руку от его шеи и замерла, держа ее в воздухе, с перехваченным от нерешительности дыханием. Осмелится ли она? И придет ли он в ярость, если осмелится? Ее сердце еще более гулко застучало о ребра грудной клетки. А потом, с трудом сглотнув, она решилась рискнуть. Медленно ее поднятая рука стала двигаться в сумраке вперед и вверх, пока пальцы не дотронулись до его волос — этих светлых, лишенных блеска волос, вьющихся и вечно словно растрепанных ветром, но сейчас невидимых и всего лишь чуть ощущавшихся кожей ее пальцев как лоскут живого шелка. Она ждала с внутренним трепетом, готовая в любой момент услышать от него резкую просьбу оставить его в покое. Но не доносилось ни звука, и, осмелев от этой тишины, она опустила ладонь чуть ниже.

Обезволенный, Себастьян отдался ее нежности, которой при обычных обстоятельствах ни за что не допустил бы, и даже в этом самозабвении находил сейчас частичку утешения. Внезапно и без видимого повода ему пришло в голову, что именно нечто сходное с подобной ситуацией всегда виделось ему в мечтах о любовной связи с Мэри Эсдейл — или какое там еще имя могла носить темноволосая любовница, героиня его грез. Он лежал бы расслабленно на постели в полной темноте, а она, стоя рядом на коленях, ласкала его волосы и по временам склонялась, чтобы поцеловать — или это не губы ее он чувствовал у себя на устах, а прикосновение обнаженной груди. Но, конечно, правда заключалась в том, что рядом с ним сейчас находилась всего лишь Сьюзен, а не Мэри Эсдейл.

Она уже проводила рукой по его волосам смело, не таясь, так, как ей всегда этого хотелось. Кончики пальцев касались туго натянутой кожи у него за ушами и прокладывали себе путь у самых корней, а его густые и непослушные кудри скользили между пальцами, которые добирались до макушки. Снова и снова. Без устали.

— Себастьян? — прошептала она через какое-то время, но он не отозвался, а его дыхание сделалось ровным и почти неслышным.

Ее глаза уже привыкли к темноте, и она смотрела на лицо спящего, ощущая счастье и блаженство, какие порой испытывала, держа на руках младенца Марджори, но с примесью более сложных чувств — этого желания и тревоги, вкуса запретного плода, трепета своих пальцев, касавшихся его волос, и боли в груди — боли наслаждения. Склонившись, она прикоснулась губами к его щеке. Себастьян пошевелился, но не проснулся.

— Милый, — сказала она и уверенная, что он не может слышать ее, добавила: — Любовь моя. Драгоценная любовь моя.

## VI

Этим субботним утром Юстас проснулся за несколько минут до девяти часов после крепкого сна без единого сновидения, в который его погрузило не спиртное, если не считать выпитой накануне около полуночи пинты темного пива под два или три крохотных бутерброда с анчоусами.

Пробуждение, конечно же, получилось болезненным, хотя привкус меди во рту ощущался меньше, как и ноющее утомление в членах оказалось не столь острым по сравнению с обычным для тоскливого утра. Верно, он слегка закашлялся, пришлось выплюнуть флегму, но этот иссушающий душу пароксизм тоже миновал быстрее, чем можно было ожидать. После ранней чашки чая и принятой ванны он снова вернул себе часть молодости.

За круглым зеркалом для бритья, отражавшим грубоватую кожу его лица, лежала Флоренция в обрамлении кипарисов, росших на террасах, окружавших склон, на котором стоял его дом. Только над Монте Морелло зависли пухлые облака, похожие на попки херувимов Корреджо из Пармы, но все остальное небо оставалось безупречно синим, а на клумбах под окном ванной гиацинты играли под лучами солнца, как резные украшения из белого оникса, лазурита и бледно-розовых кораллов.

— Жемчужно-серый! — выкрикнул он камердинеру, даже не обернувшись, и стал раздумывать, какой галстук лучше всего подойдет к костюму и радовавшей глаз погоде. В черно-белую клетку? Но в нем он будет слишком похож на самодовольного биржевика. Нет, время и место требовали чего-то в стиле «шотландки» на белом фоне из Бурлингтонской торговой галереи. А еще лучше выбрать ту ласкающую взор тонами свежего лосося штучку фирмы «Сулка».

— И розовый галстук, — добавил он. — Из недавних покупок.

Накрытый к завтраку стол украшала ваза с белыми и желтыми розами. И ей-богу, букет был составлен очень неплохо! Гвидо, кажется, успел чему-то научиться. Он вынул один из еще не раскрывшихся белых бутонов и вставил себе в петлицу, а потом отщипнул немного выращенного в собственных парниках винограда. Затем последовала тарелка овсяной каши и два зажаренных яйца на ломтике хлеба, копченая рыба с булочкой и немного конфитюра.

За едой он читал письма.

Сначала записку от Бруно Ронтини. Вернулся ли он во Флоренцию, и если да, то почему бы ему не заглянуть однажды в магазин, чтобы поболтать и взглянуть на книги? К сему был приложен каталог новых поступлений.

Далее он вскрыл два послания от благотворительных организаций в Англии — снова эти ненасытные сиротские приюты и новый фонд для неизлечимо больных, куда ему придется отправить пару гиней, поскольку Молли Каррауэй оказалась членом попечительского совета. Но настроение заметно улучшило письмо от управляющего из его итальянского банка. Используя две тысячи фунтов свободных денег, которые он доверил им для игры на бирже, они ухитрились только за предыдущий месяц заработать для него четырнадцать тысяч лир чистоганом. На обычных перепадах обменных курсов франка и доллара. Четырнадцать тысяч... Это просто необыкновенная удача! Так и быть, он отошлет неизлечимым пятерку, а себе купит хороший подарок ко дню рождения. Возможно, какую-нибудь старинную дорогую книгу; он снова взялся за присланный Бруно каталог. Но если разобраться, кому нужно первое издание «Брани духовной» Скуполи? Или полное собрание сочинений святого Бонавентуры под редакцией францисканцев из Квараччи? Юстас отшвырнул каталог в угол и взялся за трудную задачу расшифровать длинную и почти неразборчивую эпистолу от Мопзы Шоттелиус, которую он приберег на самый конец. Карандашом и на самой дикой смеси немецкого, французского и английского языков Мопза рассказывала, чем занималась в Монте-Карло. А описание того, чем эта девушка там не занималась, легко уместилось бы на оборотной стороне почтовой марки. Насколько же занудно тщательными всегда ухитрялись быть эти немцы, насколько дотошными, пусть и экспрессивными. Хоть в сексе, хоть в войне, в учении и в науке. Всегда стремились нырнуть глубже всех и вынырнуть грязнее. Он решил отправить Мопзе в ответ красивую почтовую открытку с рекомендацией обязательно прочитать «О компромиссе» Джона Морли.

В полном согласии с принципами Морли, как только покончил с едой, он закурил одну небольшую сигару «Ларранга» из светлого табака, в которые настолько влюбился, едва попробовав первую в лондонской табачной лавке, что тут же купил про запас тысячу штук. Доктора уже все мозги ему проели из-за сигар, и он вынужден был обещать выкуривать только две в день — после обеда и после ужина. Но эти малютки были настолько слабенькими, что требовалась дюжина для оказания эффекта, сравнимого с воздействием на организм всего одной «Ромео и Джульетты». А стало быть, если он выкурит одну сейчас, одну после обеда и третью после чаепития, ограничив себя единственной большой под занавес ужина, можно будет считать, что ему удалось удержаться в отведенных врачами рамках. Он раскурил сигару и откинулся в кресле, наслаждаясь ее душистым ароматом. Потом поднялся и, дав по пути распоряжение дворецкому созвониться с Каза Аччьяиулоли и выяснить, сможет ли графиня принять его сегодня после обеда, направился в библиотеку. Четыре или пять книг, которые Юстас Барнак читал одновременно, лежали одна поверх другой на столе рядом с креслом, в которое он бережно опустил свое грузное тело. «Дневники» Скаоуэна Бланта, второй том Содома и Гоморры, иллюстрированная «История вышивки», последний роман Роналда Фербэнка... После недолгих размышлений он остановил свой выбор на Прусте. Обычно ему хватало десятка страниц любой книги, прежде чем овладевало желание сменить ее, но на этот раз он совершенно потерял интерес уже после шести с половиной и обратился к английскому разделу истории вышивки. Затем часы в гостиной пробили одиннадцать, а стало быть, настало время пройти в западное крыло дома, чтобы пожелать доброго утра теще.

Ярко накрашенная и одетая в элегантно сшитое на заказ канареечного цвета платье, миссис Гэмбл сидела в странной позе, потому что, пока ее французская горничная занималась маникюром правой руки, левой она ласкала своего игрушечного померанского шпица Фокси VIII, слушая, как компаньонка читает ей вслух «Раймонда» сэра Оливера Лоджа. Стоило Юстасу войти, как Фокси VIII спрыгнул с ее колена, бросился сначала к нему, а потом начал пятиться назад, заливаясь злобным лаем.

— Фокси! — прикрикнула на него миссис Гэмбл тоном почти таким же хрипловато-визгливым, как лай померанской собачонки. — Фокси!

— Наш маленький волкодав! — добродушно сказал Юстас, а потом, повернувшись к чтице, которая вынуждена была остановиться на середине фразы, добавил: — Прошу вас, не позволяйте мне прерывать себя, миссис Твейл.

Вероника Твейл подняла безупречной формы овал своего лица и посмотрела на него со спокойной проницательностью.

— Однако какое же удовольствие, — сказала она, — вернуться из мира всех этих призрачных теней и снова увидеть немного настоящей плоти!

Последнее слово она намеренно растянула, чтобы «пло-оть» успела обрасти нужным количеством мяса в соответствии со своим значением.

До чего же похожа на мадонну Энгра, отметил про себя Юстас, подмигнув ей. Мягкая и величавая, почти до воздушности легкая, она, тем не менее, выглядела сексуально... И быть может, чуть больше, чем требовали строгие пропорции.

— Боюсь, что плоти даже многовато.

Усмехнувшись, он похлопал по выпуклости своего жемчужно-серого жилета.

— И как себя чувствует сегодня утром наша Королева-мать? — спросил он, подходя к креслу миссис Гэмбл. — Как вижу, точит свои коготки.

Старуха ответила тонким надтреснутым смехом. Она гордилась своей репутацией женщины бездумно прямодушной и изощренно злой в остроумии.

— Ты — плут, Юстас, — сказала она, и визгливый старческий голос прозвучал с теми колючими и властными интонациями, которые делают речь столь многих богатых аристократок преклонных лет в чем-то пародийно похожей на команды армейских сержантов. — И что это за разговоры о плоти? — спросила она, переводя невидящий, но инквизиторский взгляд с того места, где должен был стоять Юстас, предположительно в сторону кресла миссис Твейл. — Ты снова набрал вес, Юстас?

— Должен признать, — ответил он, — что в стройности сильно вам уступаю, — и с улыбкой посмотрел сверху вниз на слепую и высохшую мумию, сидевшую перед ним.

— Где ты? — Миссис Гэмбл оставила одну руку в распоряжении маникюрши, а второй стала ощупывать воздух, пока не поймала полу его пиджака, а от нее пробежала пальцами по жемчужно-серому пузырю над брюками. — Бог ты мой! — воскликнула она. — А я и понятия не имела! Ты просто толстяк, Юстас, настоящий толстяк!

Ее тонкий голосок снова приобрел комичные сержантские интонации.

— Нэд тоже был тучным мужчиной, — продолжала она, явно мысленно сравнивая живот у себя под рукой с воспоминанием о брюхе покойного мужа. — Потому он и ушел от нас таким молодым. Всего в шестьдесят четыре. Ни один толстяк еще не дотягивал до семидесяти.

Разговор принял оборот, который Юстасу никак не мог доставить удовольствия. И он решил через шутку перевести беседу на более приятную тему.

— Зато вы в превосходной форме, — весело сказал он. — Но скажите, что происходит с толстяками, когда они умирают?

— Они не умирают, — сказала миссис Гэмбл. — Они покидают этот мир.

— Хорошо, что происходит, когда они нас покидают? — поправился он, интонационно поставив последние слова в кавычки. — В ином мире они остаются такими же тучными? Мне бы хотелось, чтобы вы задали этот вопрос во время следующего сеанса.

— Ты что-то стал излишне фриволен, — сурово одернула его Королева-мать.

Юстас повернулся к миссис Твейл:

— Так вам удалось наконец отыскать добрую ведьму?

— К сожалению, большинство из них говорят только по-итальянски, — ответила она. — Но зато леди Уорплесден указала нам на одну англичанку, которая, по ее словам, очень даже неплохо справляется со своими обязанностями.

— Я бы предпочла сильного, говорящего медиума, — сказала миссис Гэмбл, — но в путешествии приходится довольствоваться тем, кого посылает судьба.

Французская горничная беззвучно поднялась, перенесла свой стульчик и взялась за другую руку миссис Гэмбл, сняв ее с оранжевой шерстки Фокси и принявшись полировать ногти.

— Этот твой юный племянник приезжает сегодня, не так ли?

— Да, вечером, — ответил Юстас. — Мы можем несколько припоздниться к ужину.

— Мне нравятся мальчики, — изрекла Королева-мать. — То есть, конечно, в том случае, если они хорошо воспитаны, а это такая редкость в наши дни. Кстати, Вероника, это напомнило мне о мистере де Вризе.

— Он придет сегодня к чаю, — сказала миссис Твейл своим спокойным, размеренным голосом.

— Де Вриз? — удивленно спросил Юстас.

— Ты же познакомился с ним в Париже, — сказала Королева-мать. — На моем новогоднем приеме с коктейлями.

— Ах вот как! — неопределенно отозвался Юстас. На том приеме он случайно встретил еще тысяч пять разных личностей.

— Американец, — пояснила Королева-мать. — И я произвела на него большое впечатление. Ведь так, Вероника?

— Это несомненно, — сказала миссис Твейл.

— Постоянно приезжал навещать меня этой зимой. Постоянно. А сейчас он как раз во Флоренции.

— При деньгах?

Миссис Гэмбл кивнула.

— Производство готовых завтраков, — сказала она. — Но на самом деле его интересует наука и все такое прочее. Но, как я люблю повторять ему, с фактами не поспоришь, что бы ни думал ваш мистер Эйнштейн.

— И не только Эйнштейн, — сказал Юстас с улыбкой, — но еще и мистер Платон, мистер Будда, мистер Франциск Ассизский.

Странно хрюкающий, хотя едва слышный звук заставил его повернуть голову. Почти беззвучно миссис Твейл смеялась.

— Разве я сказал что-то смешное? — спросил он.

На бледный овал лица вернулось обычное выражение полнейшей серьезности.

— Я вспомнила нашу с покойным мужем глупую шутку, которая, тем не менее, нас очень веселила в свое время.

— Про мистера Франциска Ассизского?

Секунду или две она смотрела на него, прежде чем решилась:

— Франциск, а с сиськами.

Юстасу хотелось подробнее расспросить ее о муже, но, вспомнив, что тот умер сравнительно недавно, тактично воздержался.

— Если ты собираешься сегодня утром в город, — встряла миссис Гэмбл, — мне бы хотелось, чтобы ты взял с собой Веронику.

— Буду только рад.

— Ей нужно кое-что купить для меня, — продолжала старая леди.

Юстас повернулся к миссис Твейл:

— Тогда давайте и пообедаем вместе в «Беттиз».

Но Королева-мать сама отвергла это предложение.

— Нет, Юстас, мне нужно, чтобы она сразу же вернулась. Пусть возьмет такси.

Он бросил обеспокоенный взгляд на миссис Твейл, чтобы понять, как она восприняла подобный приказ. Но на спокойном лике мадонны Энгра не отразилось никаких эмоций.

— Да, я возьму такси, — повторила она ясным и ровным голосом. — Хорошо, миссис Гэмбл.

Через полчаса в неброском, но элегантном, сшитом на заказ черном платье Вероника Твейл вышла на освещенный солнцем двор. У подножия парадной лестницы стояла «Изотта» — огромная темно-синяя и явно очень дорогая машина. Но Пол де Вриз, подумала она, садясь внутрь, по меньшей мере не беднее мистера Барнака.

— Надеюсь, вы не будете возражать? — спросил Юстас, державший в руке уже вторую за день сигару.

Она подняла на него глаза, улыбнулась, не размыкая сомкнутых губ, и покачала головой; потом снова уперлась взглядом в свои обтянутые перчатками руки, свободно лежавшие между коленей.

Машина медленно покатилась по дорожке среди кипарисов, которая за воротами переходила в крутое и извилистое шоссе.

— Из всех образцов в моей коллекции, — сказал Юстас, нарушая затянувшееся молчание, — Королева-мать представляется мне, вероятно, наиболее примечательным. Окаменевший скорпион из палеозойской эры почти в прекрасной сохранности.

Миссис Твейл улыбнулась, не отрывая взгляда от своих рук.

— Я не разбираюсь в геологии, — сказала она. — Но, между прочим, упомянутая окаменелость — мой работодатель.

— Это-то и удивляет меня больше всего.

Она вопросительно покосилась на него:

— Вы хотите сказать, что я должна держаться с ней как компаньонка?

Последнее слово — и это не укрылось от внимания Юстаса — было произнесено с легким нажимом, чтобы придать ему истинное значение, которое вкладывали в него сестры Бронте.

— Вот именно.

Теперь миссис Твейл окинула его открытым взглядом, оценивая чуть сдвинутую набекрень шляпу, превосходно сидевший жемчужно-серый костюм, галстук фирмы «Сулка», бутон розы в петлице.

— Ваш отец не был бедным священником из Ислингтона, — заметила она.

— Нет, он был воинствующим атеистом из Болтона.

— О, я сейчас думаю вовсе не о вопросах веры или неверия, — сказала она, улыбнувшись с легким оттенком иронии. — А о том, что ваша теща называет фактами.

— А конкретнее?

— К примеру, о постоянном ознобе от жизни в неотапливаемом доме. О чувстве стыда, что тебе приходится носить такую поношенную и старомодную одежду. Но в бедности заключалась лишь часть проблемы. Ваш отец не пытался осуществлять христианские добродетели на практике.

— Напротив, — сказал Юстас, — он занимался благотворительностью почти профессионально. Общественные фонтанчики с питьевой водой, больницы, клубы для мальчиков из малообеспеченных семей и все такое.

— Да, но он всего лишь жертвовал деньги, чтобы его имя значилось на дверях. Ему не приходилось работать в этих чертовых клубах.

— А вам приходилось?

Миссис Твейл кивнула:

— С тринадцатилетнего возраста. А когда мне исполнилось шестнадцать, мне приходилось проводить там четыре вечера в неделю.

— Вас принуждали к этому?

Миссис Твейл пожала плечами и не сразу ответила. Она вспоминала отца — эти блестящие глаза на лице чахоточного Феба, это длинное тощее тело с впалой грудью. А рядом с ним стояла ее мама, маленькая и хрупкая, которая, однако, помогала выживать этому совершенно беспомощному в житейских делах, не от мира сего мужчине; крохотная птичка, уподобившаяся Атласу и державшая на себе всю материальную тяжесть вселенной.

— Есть такой прием, как моральный шантаж, — сказала она. — Если окружающие тебя люди настойчиво пытаются жить как ранние христиане, у тебя тоже не остается выбора, верно?

— Признаю, выбор действительно невелик.

Юстас вынул сигару из уголка рта и выпустил облако дыма.

— Это одна из причин, — добавил он с усмешкой, — почему так важно избегать общества добрых людей.

— Одной из таких стала для меня ваша падчерица, — сказала миссис Твейл после некоторой заминки.

— Кто? Дэйзи Окэм?

Она кивнула.

— А, так значит, вашим отцом был тот, как бишь его, каноник, о котором она постоянно твердила.

— Каноник Крессуэлл.

— Точно — Крессуэлл. — Юстас просиял, глядя на нее. — Могу только сказать, что вам нужно непременно послушать, как она о нем отзывается.

— Слышала, — сказала миссис Твейл. — И не раз.

Дэйзи Окэм, Дотти Фрибоди, Ивонна Грейвз — святые женщины. Одна толстушка и две худышки. Миссис Твейл еще в юном возрасте однажды изобразила на рисунке, как они втроем сидят у подножия креста, на котором группа бойскаутов распинает ее отца.

Юстас снова нарушил молчание, но на этот раз смехом, предметом которого была его падчерица и отчасти каноник Крессуэлл. В данном случае он не видел родственной жалости, которая могла бы его сдержать.

— Все эти ее утопические благие намерения! — сказал он. — Но, конечно, — добавил он уже с долей сострадания, — у бедняжки не оставалось альтернативы после того, как она потеряла и мужа, и сына.

— Но она занималась благотворительностью и прежде, — сказала миссис Твейл.

— Тогда воистину нет ей прощения! — воскликнул он.

Миссис Твейл улыбнулась и помотала головой. Потом она вдруг сама призналась ему, что именно Дэйзи Окэм познакомила ее с миссис Гэмбл.

— Редкостная удача! — произнес Юстас.

— Но в ее доме я еще и встретилась впервые с Генри.

— С Генри? — переспросил он.

— Так звали моего мужа.

— Ах да, конечно!

Снова наступило молчание, пока Юстас сосал кончик сигары и старался припомнить, что Королева-мать рассказывала ему о Генри Твейле. Партнер в юридической фирме, которая занималась ее делами. Очень приятный, с отменными манерами, но умерший от прободения аппендикса в возрасте всего... Сколько же ему было лет, по словам тещи с ее вечно извращенной точностью в подобных вопросах? Тридцать восемь, так, кажется. Значит, он был лет на двенадцать или даже четырнадцать старше жены.

— Сколько вам было лет, когда вы вышли замуж? — спросил он.

— Восемнадцать.

— Идеальный возраст для замужества, по мнению Аристотеля.

— Но не по мнению моего отца. Он хотел бы, чтобы я года два повременила с этим.

— Отцы и не должны торопить своих юных дочерей к алтарю.

Миссис Твейл снова посмотрела на свои руки и вспомнила их медовый месяц и летние каникулы на берегу Средиземного моря. Они плавали, до одури плавились под ярким солнцем, проводили долгие часы сиесты в аквариумном полусвете спальни с зелеными шторами.

— Меня не слишком опечалила его кончина, — отозвалась она, не поднимая глаз.

Воспоминания об этих доведенных до крайности наслаждениях, о полном бесстыдстве и забвении приличий вызывали в ней внутреннюю улыбку. «Глухую к зову плоти, я научил тебя любить»[[21]](#footnote-21). И к цитате классика Генри непременно добавлял собственное мнение, что она была способной ученицей. Но и он был хорошим учителем. Что, к сожалению, не мешало ему обладать отвратительным характером и проявлять чрезмерную скупость.

— В таком случае, — сказал Юстас, — могу только порадоваться, что вы обрели свободу.

Какое-то время миссис Твейл хранила молчание.

— После смерти Генри, — сказала она, — все шло к тому, что я вернусь туда, откуда явилась.

— К бедным, но добрым?

— К бедным, но добрым, — эхом повторила она. — Но, к счастью, миссис Гэмбл нуждалась в ком-то, кто бы читал ей вслух.

— И теперь вы живете с богатыми, но недобрыми, так получается?

— Да, я паразитирую, — спокойно признала миссис Твейл. — Состою чем-то вроде почетной горничной при старой леди... Но здесь вставала проблема выбора из двух зол.

Она открыла свою сумочку, достала платок и, приложив к носу, вдохнула ароматы цибетина и цветов. В доме отца вечно стоял запах капусты и пудинга на пару, а в клубе для девочек... Там и пахло девочками.

— Лично я, — сказала она, — предпочла быть нахлебницей в таком доме, как ваш, чем в своем доме стать... Кем я могла бы там стать, имея доход шиллингов пятьдесят в неделю?

Снова наступила короткая пауза.

— Оказавшись в вашем положении, — сказал потом Юстас, — я скорее всего сделал бы такой же выбор.

— И вы бы меня не удивили, — таков был комментарий миссис Твейл.

— Но я бы сумел поставить себя...

— Поставить себя способны только те, кто располагает для этого средствами.

— Даже рядом с ископаемыми скорпионами?

Миссис Твейл улыбнулась:

— Ваша теща предпочла бы громко говорящего медиума. Но даже ей приходится довольствоваться тем, кого она может найти себе.

— Даже ей! — повторил Юстас с сиплым смехом. — Но должен сказать, ей очень повезло, когда она нашла вас. Согласны?

— Не так повезло ей, как мне самой.

— А если бы вы не обрели друг друга, что тогда?

Миссис Твейл пожала плечами:

— Возможно, я смогла бы немного подрабатывать книжными иллюстрациями.

— Так вы рисуете?

Она кивнула:

— Втайне от всех.

— Почему же втайне?

— Почему? — переспросила она. — Отчасти в силу привычки. Вы должны понимать, что мои занятия рисованием не слишком поощрялись в родительском доме.

— По каким причинам? Эстетическим или этическим?

Она улыбнулась и пожала плечами:

— Кто знает.

Однако миссис Крессуэлл была настолько неприятно поражена и расстроена, обнаружив альбом с карандашными набросками дочери, что три дня провалялась в постели с приступом жуткой мигрени. После этого Вероника уже ничего не рисовала, кроме как запершись в туалете и на листке бумаге, который не грозил засорить унитаз.

— А кроме того, — добавила она, — иметь свой секрет замечательно само по себе.

— Разве?

— Только не говорите, что у вас по этому поводу такие же взгляды, какие были у моего мужа! Генри непременно стал бы нудистом, родись он десятью годами позже.

— Но вы бы нудистской не стали никогда, хотя и родились десятью годами позже?

Она энергично помотала головой:

— Я бы даже не стала составлять списка для прачечной, если бы кто-то находился рядом. Но Генри... Дверь его кабинета никогда не закрывалась. Никогда! Мне делалось плохо при одном взгляде на него.

Она немного помолчала.

— В начале каждой литургии читают одну ужасную молитву, — продолжала она. — Вы ее знаете. «Боже всемогущий, для кого открыты все сердца, кому известны все наши желания и от кого невозможно ничего утаить». Это действительно ужасно! И я делала рисунки на эту тему. Именно они больше всех остальных расстроили мою маму.

— Охотно верю, — сказал Юстас, усмехнувшись. — Но вам как-нибудь следует непременно показать некоторые из своих работ мне.

Миссис Твейл испытующе посмотрела на него, а потом отвела глаза. Несколько секунд никто из них не произносил ни слова. А затем медленно и тоном человека, который обдумал вопрос и пришел наконец к решению, она ответила:

— Вы — один из немногих, кому я не против показать их.

— Это мне льстит, — сказал Юстас.

Миссис Твейл снова открыла сумочку и из ее ароматных глубин извлекла кусок бумаги размером в половину тетрадного листа.

— Вот то, над чем я работала утром.

Он взял листок и вставил в глаз монокль. Рисунок был выполнен чернилами и, несмотря на малые размеры, отличался тщательной проработкой деталей. Профессионально, но отталкивающе претенциозно. Он вгляделся пристальнее. На рисунке была изображена женщина, одетая в подобающе строгое, хотя и великолепно сшитое по моде платье, которая с молитвенником в руке шла по центральному проходу церкви. Позади себя на веревочке она тянула магнит в форме обычной подковы, но выведенный так, что он напоминал два бедра, обрубленных у коленей. На полу чуть в стороне от женщины лежало огромное глазное яблоко размером с тыкву, чей зрачок был уставлен в тянувшийся все дальше магнит. Из этого безумного глаза росли две похожие на червей руки, длинные пальцы которых ногтями цеплялись в пол. И таким сильным было притяжение, встречавшее не менее мощное сопротивление, что ногти оставляли на каменных плитах заметные борозды.

Юстас приподнял левую бровь, позволив моноклю выпасть из глаза.

— В этой притче есть только одно, что мне не понятно, — сказал он. — Почему в церкви?

— О, на это может быть множество причин, — ответила миссис Твейл. — Респектабельность всегда усиливает привлекательность женщины. А богохульство придает наслаждению пряной остроты. И потом, церкви — это те дома, где люди сочетаются браком. А кто вам сказал, что у нее в руках не «Декамерон» в черном кожаном переплете, который делает его похожим на молитвослов?

Она забрала листок и снова сунула его в сумочку.

— Право, жаль, что веера вышли из употребления, — продолжила она совершенно другим тоном. — А те белые маски, что надевали в эпоху Казановы! Или разговоры дам, находящихся по разные стороны ширмы, как в «Повести о Гэндзи». Это было бы просто божественно!

— Неужели?

Она кивнула. Ее глаза невольно разгорелись от непрошеного возбуждения.

— Можно было бы творить невообразимые вещи, разговаривая через ширму с викарием о... Скажем, о Лиге Наций. Просто невообразимые!

— Например?

Но в ответ донесся только тот же чуть слышный хрюкающий смешок, какой он уже слышал прежде. Разговор опять прервался.

— А вообразите себе, какие гнусности можно было бы обсуждать не краснея, — добавила она.

— Вам так хотелось бы иметь возможность обсуждать гнусности?

Миссис Твейл кивнула.

— Из меня получился бы хороший ученый, — сказала она.

— А это здесь при чем?

— Ну как же вы не поймете, — ответила она нетерпеливо. — Разве не ясно? Препарировать всех этих лягушек и мышей, заражать раком кроликов, смешивать кипящие растворы в ретортах, чтобы всего лишь посмотреть на возможный результат. Просто любопытства и смеха ради. Вся современная наука — это сплошные гнусности.

— И вам хотелось бы вынести это за стены лабораторий?

— Не на всеобщее обозрение, разумеется.

— Но вот если бы удалось скрыться за ширмой, где Добрые люди не смогли бы видеть вас...

— Спрятавшись за ширмой, — медленно повторила миссис Твейл. — А сейчас, — сказала она, в очередной раз меняя тон, — мне нужно будет выйти. Где-то здесь на Лугарно есть магазин, в котором продают резиновых крыс для собачек. Крыс с ароматом шоколада. Кажется, Фокси без ума от шоколада. А, вот мы и на месте!

Она склонилась вперед и постучала пальцем по стеклу.

Юстас посмотрел ей вслед. Потом, снова надев шляпу, он отдал распоряжение шоферу отвезти его в магазин Вейлей на улице Торнабуони.

## VII

«Братья Вейль, Брюссель, Париж»...

Юстас толкнул дверь и вошел в переполненный магазин.

«Где каждый экспонат радует глаз, — бурчал он себе под нос, как делал обычно, входя сюда, — где все всегда и исключительно для вас. Только у братьев Вейль — Париж, Вена, Флоренция, Брюссель».

Но в это утро никого из братьев не было видно. Когда он вошел, то увидел только мадам Вейль, которая настойчиво уговаривала английского полковника из Индии купить себе Жоржа Брака. Сценка была столь уморительная, а главная исполнительница настолько хороша собой, что Юстас, изобразив интерес к какой-то вполне уродливой майолике, пристроился рядом, что слышать и наблюдать.

Жемчужная и золотистая, при обворожительных розовых пухлостях форм, как могло это роскошное создание сбежать с полотна Рубенса, где ему было самое место? И как, о святые небеса, случилось, что фигура кисти Питера Пауля, явно плод его мифотворческой фантазии, оказалась еще и с ног до головы одета? Но даже в этом совершенно неуместном наряде двадцатого столетия фламандская Венера по фамилии Вейль выглядела обворожительно. Что только подчеркивало абсурд того представления, которое она сейчас разыгрывала перед полковником. С серьезностью маленькой девочки, старательно и слово в слово воспроизводившей только что выученный наизусть урок, она с умным видом повторяла бессмысленные фразы, которыми так умело украшал свою профессиональную скороговорку ее супруг. «Осязаемая ценность», «ритм», «особое значение формы», «repoussoirs»[[22]](#footnote-22), «каллиграфия очертаний» — Юстас узнавал все штампы современной художественной критики вкупе с изобретениями собственного левантийского гения Вейля: «четырехмерное пространство», «couleur d’éternité»[[23]](#footnote-23) и «пластическая полифония». Все это подавалось с таким сильным, с таким невероятно «пикантным» французским акцентом, что напоминало стиль шаловливых парижских девчонок из шедших на лондонских подмостках музыкальных комедий, отчего краснолицый полковник уже почти сомлел от вожделения.

Внезапно раздался громкий топот ног и громкий радостный вопль:

— Мсье Юсташ!

Юстас повернул голову.

Низкорослый, широкоплечий, невероятно подвижный и легкий, это был Габриэль Вейль собственной персоной, несшийся к нему, огибая статуи эпохи раннего барокко и мебель «чинквеченто». Зажав ладонь Юстаса между обеими своими, он тряс ее долго и пылко, заверяя на своем неподражаемом бельгийском английском языке, насколько он счастлив, насколько горд, как глубоко тронут и польщен. А затем, понизив голос, театральным шепотом сообщил, что только что получил кое-что от своего брата в Париже. Поистине драгоценный груз, причем, рассмотрев полученные вещи, тут же дал себе несокрушимую клятву, что не покажет этого ни одной живой душе, будь то хоть сам Пирпонт Морган, пока ce cher Monsieur Eustache лично не снимет пенки с новых поступлений, отобрав для себя все самое лучшее. И какие это вещи, какие деликатесы! Рисунки Дега, подобных которым еще никто никогда не видел.

Все еще бурля энтузиазмом, он провел гостя в одну из комнат позади салона, где на резном венецианском столике лежала большая черная папка.

— Вот! — воскликнул он, сделав жест, скопированный у персонажей картин старых мастеров, которые указывали зрителю на сцену Преображения Господня или на мученичество святого Эразма.

Несколько мгновений он хранил молчание, а потом, сменив выражение лица на похотливую и хитрую ухмылку работорговца, продающего юных черкешенок престарелому паше, принялся развязывать тесемки папки. Как заметил Юстас, руки у него были ловкими и сильными, густо поросшими с внешней стороны мягкими черными волосами и с безукоризненным маникюром на ногтях. Широким движением мсье Вейль открыл тяжелую картонную крышку папки.

— Смотрите!

В его голосе звучали триумф и уверенность в успехе. При виде этих свежих сосков грудей, только начавших распускаться бутонов, этих ни с чем не сравнимых по красоте девичьих пупочков не устоял бы ни один самый пресыщенный паша.

— Нет, вы только взгляните!

Нацепив монокль, Юстас посмотрел и увидел сделанный углем набросок обнаженной женщины, стоявшей внутри жестяной ванны, как в Римском саркофаге. Одна нога, заметно деформированная необходимостью носить слишком узкую обувь, опиралась на край ванны, а женщина склонилась вниз так, что ее волосы и грудь падали в одну сторону, а тощий зад был выставлен в другую. Ее колено было искривлено наружу под, казалось бы, самым неуклюжим углом, чтобы она могла поскрести себе пятку, которая непостижимым образом на этом черно-белом рисунке выглядела желтой и все еще грязной, несмотря на потраченное мыло.

— Но разве это лицо?.. — пробормотал Юстас.

Но он уже понимал, что только Дега и никто другой умел передавать невзрачную и не предназначенную для чужих глаз физиологию наших тел, занятых бытовыми делами, с такой правдивостью форм и уж тем более с такой неожиданной красотой.

— Ты не должен был продавать мне того Маньяско, — сказал он громко. — Как я теперь смогу позволить себе один их этих рисунков?

Работорговец бросил на пашу быстрый взгляд и заметил, что черкешенки уже начали оказывать на него желаемое воздействие. Но ведь они стоят не так дорого, тут же заявил он. А какая выгодная инвестиция! Это принесет больше прибыли, чем любые акции компании Суэцкого канала. А теперь пусть мсье Юсташ посмотрит на это!

Он убрал верхний рисунок. На следующем лицо той, что спустила на воду тысячи кораблей, было чуть различимо сзади, когда она склонилась над жестяным саркофагом и яростно терла полотенцем шею.

Габриэль Вейль положил свой плотный ухоженный палец на ее ягодицы.

— Нетленная ценность! — выдохнул он в экстазе. — Какие объемы, какая изумительная техника!

Юстас не смог сдержать смеха. Но, как обычно, последним смеялся мсье Вейль. Мало-помалу пресыщенный паша начал сдавать свои позиции. Да, вероятно, он согласится, но ему нужно подумать... И разумеется, если цена не окажется заоблачной...

Восемь тысяч лир, назвал сумму работорговец, всего восемь тысяч не только за шедевр, но и за гарантию будущего дохода как от ценнейшей акции с золотым обрезом.

Хотя цифра звучала вполне разумной, Юстас счел своим долгом поторговаться.

Нет, нет, восемь тысяч, и ни чентисимо меньше. Но если мсье Юсташ купит две и заплатит сразу, они достанутся ему за четырнадцать.

Четырнадцать, четырнадцать... Принимая во внимание письмо, полученное этим утром из банка, он мог считать, что два Дега достались ему практически бесплатно, ни за грош, даром. А потому, легко успокоив свою совесть, Юстас достал чековую книжку.

— Я заберу их с собой, — сказал он, указывая на женщину, мывшую ноги, и фигуру с полотенцем.

Пять минут спустя с квадратным плоским пакетом под мышкой он снова вышел на залитую солнцем улицу Торнабуони.

От Вейля Юстас направился в библиотеку Вьессо, чтобы узнать, нет ли у них «Человека-машины» Ламетри, но нужной книги у них, конечно же, не оказалось, и, пролистав страницы свежих обзоров французской и английской литературы в напрасной надежде подобрать себе что-нибудь почитать, он снова вернулся в толкотню узких улочек.

После минутного колебания он разрешил себе заглянуть ненадолго в Барджелло, а потом, уже перед самым обедом, наведаться к Бруно Ронтини и договориться, чтобы тот устроил для Себастьяна экскурсию по вилле Галигаи.

Десяти минут среди произведений Донателло оказалось достаточно, и с головой, забитой героическими образами в бронзе и мраморе, он зашагал в сторону букинистического магазина.

Да, было бы хорошо, думал он, было бы действительно очень хорошо, если бы он в своей жизни добился свойств, присущих фигурам Донателло. Сдержанное благородство. Величавость в сочетании с мощной энергией. Чувство достоинства, поданное с таким изяществом. Но увы, его собственной жизни были мало присущи подобные черты. И об этом, несомненно, стоило сожалеть. Но, разумеется, его жизнь имела и свои очевидные преимущества. От героев в духе Донателло требовалось значительно большее напряжение и усердие, чем пришлось бы ему по душе. Вот, например, Джон был лучше пригоден для этого. Джон, который всегда воспринимал себя как некую смесь Гаттамелаты и баптиста. А на деле его жизнь была... Чем же? Юстас искал ответа и в итоге пришел к выводу, что жизнь Джона можно сравнить с батальной картиной, написанной одним из малоодаренных художников, рожденных быть всего лишь журнальным иллюстратором, но который, к своему глубочайшему несчастью, узнал о существовании кубизма и решил заняться по-настоящему высоким искусством. Бедняга Джон! Человек без вкуса, без чувства стиля...

Но вот и угол, где располагался магазинчик Бруно. Он открыл дверь и вошел в темноватую пещеру, стены которой были уставлены книгами.

За прилавком сидел мужчина, что-то читавший при свете свисавшей с потолка лампы в зеленом абажуре. При звуке дверного звонка он отложил книгу и с выражением скорее недовольства тем, что его прервали, нежели радости приходу покупателя, поднялся навстречу вошедшему. Это был молодой человек лет двадцати пяти, высокий, широкий в кости, но с узким и выпуклым лицом, которое выглядело задумчивым и даже чрезмерно серьезным, хотя и не избавляло своего владельца от сходства с бараном.

— Buon giorno[[24]](#footnote-24), — сказал Юстас приветливо.

Молодой человек тоже поприветствовал его, но не сделал и попытки улыбнуться в ответ. Как понял Юстас, это диктовалось не сознательным желанием проявить недружелюбие, а происходило лишь по той причине, что для лица подобного строения улыбка делалась чем-то трудноисполнимым.

Он справился о Бруно. Того ожидали здесь только еще через час.

— Шляется где-то, как обычно! — сказал Юстас с несколько излишней и бессмысленной фривольностью, на которую его часто провоцировало желание продемонстрировать великолепное знание тосканских идиом, когда он переходил на итальянский язык.

— Можно назвать это и так, если вам угодно, мистер Барнак, — отозвался молодой человек со сдержанным спокойствием.

— О, так вам, стало быть, известно, кто я такой?

Собеседник кивнул:

— Я как-то зашел прошлой осенью в магазин, когда вы как раз разговаривали с Бруно.

— А стоило мне удалиться, и он подробно посвятил вас во все детали моей биографии и характера!

— Как вы можете говорить такое! — с упреком воскликнул молодой человек. — Вы же знаете Бруно уже давно.

Юстас рассмеялся и потрепал его по плечу. Мальчику явно не хватало чувства юмора, но в его лояльности к Бруно, в его бараньей серьезности и искренности было что-то странно трогательное.

— Я всего лишь пошутил, — сказал он. — Бруно никогда не станет сплетничать о человеке у него за спиной.

И впервые за все время их разговора лицо барашка осветило некое подобие улыбки.

— Я рад, что вы это понимаете, — сказал он.

— Не только понимаю, но порой даже сожалею об этом, — сказал Юстас лукаво. — Ничто не делает беседу такой скучной, как доброжелательность ко всем. Ведь мало кого волнуют чужие добродетели. Между прочим, как вас зовут? — спросил он, не дав молодому человеку сформулировать на словах свое несогласие с высказанным мнением.

— Мальпиги. Карло Мальпиги.

— Уж не родственник ли адвоката Мальпиги?

Собеседник замялся; смущенное выражение появилось на лице.

— Он — мой отец, — сказал он.

Юстас ничем не выдал своего удивления, но в нем проснулось любопытство. Почему сын преуспевающего юриста стал продавцом старых книг? И он решил это выяснить.

— Как я полагаю, Бруно оказался вам крайне полезен, — начал он, посчитав подобный подход наиболее прямым путем к завоеванию доверия молодого человека.

И не ошибся. Уже скоро барашек стал на редкость словоохотливым. Он рассказал о своей часто болеющей консервативной матушке; о предпочтении, которое отдавал отец двум своим старшим и более умным сыновьям; о впечатлении, которое на него произвело il Darwinismo, и потере веры; о своем обращении к Религии Гуманизма.

— К Религии Гуманизма! — повторил Юстас, смакуя каждое слово. Насколько же комичным представлялся ему сам факт, что кто-то еще мог обожествлять Гуманизм!

От теоретического социализма до активного антифашизма оставался всего лишь короткий и логичный шаг, и особенно логичный в случае Карло, поскольку оба его брата состояли членами партии и быстро взбирались по карьерной лестнице. Пару лет Карло занимался распространением запрещенной литературы, участвовал в секретных собраниях, занимался агитацией среди крестьян и рабочих в надежде пробудить в них хотя бы зачатки воли к сопротивлению всепроникающей тирании. Но ничего не выходило. Все его усилия не приносили результатов. В своем узком кругу люди ворчали и шепотом рассказывали анекдоты, поругивая власти, а на публике готовы были по-прежнему дружно скандировать: «Дуче! Дуче!» Время от времени то один, то другой единомышленник Карло попадался в руки фашистам, и его либо подвергали старомодному жестокому избиению, или же ссылали на острова. Все было зря. Абсолютно все.

— И даже если бы все оказалось не зря, — заметил Юстас, — даже если бы вам удалось подбить их на какие-то решительные и насильственные действия, что тогда? На какое-то время в обществе воцарилась бы анархия, а потом к власти пришел другой диктатор, который, несомненно, назывался бы коммунистом, но ничем не отличался от нынешнего. Совершенно ничем, — повторил он с широчайшей улыбкой. — Если бы только не оказался гораздо хуже.

Молодой человек кивнул:

— Бруно тоже говорил мне нечто подобное.

— Разумный человек!

— Но он говорил и другое...

— А! Этого я и опасался!

Карло не обратил внимания на его реплику, и его серьезное лицо разгорелось нежданным задором.

— ...что есть только одно место во всей вселенной, которое ты реально можешь сделать лучше, и это место находится внутри тебя самого. Тебя самого, — повторил он. — Поэтому начинать надо там. Не где-то вовне, не с других людей. До этого черед дойдет потом, когда ты основательно поработаешь над самим собой. Ты должен сам стать хорошим, прежде чем сможешь сделать что-то хорошее — или, по крайней мере, не принести одновременно с добром и новое зло. Помогая одной рукой и нанося вред — другой. А именно так получается у обыкновенных сторонников реформ.

— В то время как по-настоящему мудрый человек, — сказал Юстас, — старается ничего не делать обеими руками.

— Нет, нет, — горячо возразил собеседник с прежней неулыбчивостью и серьезностью. — Мудрый человек начинает с работы над собой, чтобы потом суметь помочь другим людям и не стать при этом жертвой коррупции.

А потом со страстной сбивчивостью он пустился в рассуждения о французской революции. У совершивших ее людей были самые лучшие намерения, но к этим благим целям безнадежно примешивались личные амбиции, тщеславие, бесчувственность и жестокость. И с горькой неизбежностью то, что началось как борьба за свободу, деградировало в схватку за обладание властью, переросло в тиранию и империализм, который вызвал уже волну реакции во всем мире. И такой ход событий неотвратим везде, где люди хотят творить добро, не будучи добрыми. Никому не под силу сделать хорошую работу грязными, испорченными или заведомо негодными инструментами. Единственным выходом из положения представлялся путь, предложенный Бруно. И разумеется, Бруно почерпнул свои идеи из...

Он внезапно прервался и, увидев Юстаса в роли всего лишь обычного покупателя, как-то сразу скис.

— Прошу меня извинить, — сказал он действительно виноватым тоном. — Даже не знаю, почему рассказываю вам все это. Мне следовало прежде всего спросить, что привело вас сюда. Что вас интересует?

— Именно то, что вы мне уже дали, — ответил Юстас с чуть ироничной, но дружеской улыбкой. — И я готов купить любую книгу, которую вы мне порекомендуете, от Аретино до миссис Молсворт.

Карло Мальпиги какое-то время молча смотрел на него в замешательстве. Но затем, видимо решив поймать его на слове, подошел к одной из полок и вернулся с довольно-таки потрепанным томом.

— Всего двадцать пять лир, — сказал он.

— «Ты не был обделен Божьей милостью, но сам отверг ее в гордыне своей. Бог не лишил тебя своей любви, но ты сам ничего не сделал, чтобы она осенила тебя. И Бог не отрекся бы от тебя, если бы ты прежде не отрекся от Бога». Вот это да! — Он посмотрел на обложку. — «Трактаты о любви к Богу» святого Франсуа де Саля, — прочитал Юстас. — Обидно, что это не де Сад. Впрочем, — добавил он, — де Сад обошелся бы куда дороже двадцати пяти монет.

## VIII

Уверенный, что у «Беттиз» непременно встретит приятеля, с которым пообедает за одним столом, Юстас ни с кем не договорился о встрече заранее. А зря — понял он, стоило войти в зал ресторана. Потому что Марио Де Леллис оказался совершенно поглощен многочисленной и оживленной компанией сотрапезников, а потому смог лишь издали приветственно махнуть рукой. Отец Мопзы, исполненный важности старик Шоттелиус, завяз в обсуждении вопросов мировой политики с двумя другими немцами. А что до Тома Пьюзи, то тот обедал с такой сногсшибательно красивой девушкой нордического типа, так интимно перешептывался с ней, что даже не заметил появления одного из своих лучших друзей.

Усевшись за отведенный для него стол, Юстас не без грусти приготовился обедать в одиночестве, когда неожиданно поверх меню заметил чей-то пристальный взгляд в свою сторону. Он приподнял голову и теперь четко разглядел стройного молодого человека, который сфокусировал на нем не только оба очень светло-карих глаза, но, казалось, даже ноздри своего чуть вздернутого носа.

— Вероятно, вы уже не помните меня, — сказал незнакомец.

Голос выдавал выходца из Новой Англии, а в интонации причудливо смешались природная раскованность с напускной, академичной и монотонной вежливостью.

Юстас покачал головой.

— Боюсь, что и в самом деле не помню, — признал он.

— Я имел удовольствие быть представленным вам в Париже. В январе у миссис Гэмбл.

— А, так вы, кажется, мистер Де Йонг.

— Де Вриз, — поправил молодой человек. — Пол де Вриз.

— В таком случае я многое о вас знаю, — сказал Юстас. — Вы беседуете с моей тещей об Эйнштейне.

Молодой человек улыбнулся такой яркой улыбкой, словно включил внутреннюю подсветку.

— А разве можно найти более интересную тему?

— Нельзя. Разве что тему обеда, когда на часах половина второго. Не желаете присоединиться ко мне, чтобы обсудить ее?

Молодой человек, очевидно, только и ждал подобного приглашения.

— Спасибо вам большое, — сказал он и, положив две солидных размеров книги, которые прежде держал в руке, на край стола, уселся сам, уперев в стол локти и склонившись к своему собеседнику.

— По-моему, каждый сейчас просто обязан интересоваться трудами Эйнштейна, — начал он.

— Минуточку, — сказал Юстас. — Давайте прежде всего выберем, что будем есть.

— Да, конечно, это очень важно, — согласился де Вриз, но без особого энтузиазма. — У желудка свои резоны, как сказал бы Паскаль. — Он принужденно рассмеялся и взялся просматривать меню.

Когда официант принял их заказы, он снова расставил локти на прежние места и вернулся к тому, с чего начал:

— Как я уже сказал, мистер Барнак, сейчас труды Эйнштейна должны интересовать каждого.

— Даже тех, кто ни черта в них не смыслит?

— Но это же вовсе не сложно. Трудно разобраться только в математических выкладках. Сам по себе принцип прост, а ведь именно понимание принципа важно для усвоения сути. Принципы воздействуют на наши с вами ценности и поведение.

Юстас громко расхохотался.

— Я буквально вижу, как моя теща меняет свою систему ценностей и манеры в соответствии с теорией относительности!

— Что ж, она, конечно, уже в достаточно преклонном возрасте, — сказал его собеседник. — Я скорее имел в виду тех, кто еще достаточно молод, чтобы проявить гибкость. Взять, к примеру, ту леди, которая состоит компаньонкой при миссис Гэмбл...

Ах, так вот почему он уделил столь пристальное внимание Королеве-матери! Но в таком случае картинка с магнитом и глазом приобретала не только иносказательный смысл, но была, возможно, частью истории.

— ...в математическом смысле совершенно не образованна, — говорил между тем молодой человек. — Но это не мешает ей оценить масштабы и значение революции, совершенной Эйнштейном. И какой революции! — продолжил он с все возраставшим энтузиазмом. — Несравненно более важной, чем те, что произошли в России или Италии. Потому что эта революция в корне изменила направление движения научной мысли, вернула идеализм, интегрировала сознание в природный процесс, навсегда положила конец викторианскому кошмарному взгляду на мир как на скопление бесконечно малых бильярдных шаров.

— Вот это плохо, — вставил в скобках Юстас. — Мне те бильярдные шарики очень нравились.

Он сосредоточился на лентообразной lasagne verdi[[25]](#footnote-25), тарелку с которой поставил перед ним официант.

— Высший класс, — оценил он качество блюда с набитым ртом. — Почти так же хорошо, как в болонском «Паппагалло». Вы бывали в Болонье? — спросил он, чтобы перевести разговор на более удобную для себя тему.

Но, вот беда, Пол де Вриз знал Болонью даже слишком хорошо. Прошлой осенью он провел там неделю, беседуя с интереснейшими людьми, учеными местного университета.

— Университета? — повторил Юстас с огромным изумлением.

Молодой человек кивнул и, отложив в сторону вилку, объяснил, что последние два года совершает турне по ведущим университетам Европы и Азии. Проводит переговоры с наиболее выдающимися представителями науки, которые работают в каждом из них, с целью заручиться согласием на участие в своем великом проекте — создании международного центра проверки ценности научных идей, своеобразной штаб-квартиры, где синтезировали бы свои усилия лучшие научные, философские и богословские умы всей нашей планеты.

— С вами в роли главнокомандующего? — не удержался от ехидного вопроса Юстас.

— Нет, ни в коем случае, — протестующе ответил новый знакомый. — Мне бы отводилась только роль связного и переводчика. Всего лишь инженера по наведению мостов между различными научными культурами.

Дальше его амбиции не распространялись. Он призван стать лишь скромным строителем связующих путей. Не maximus’ом[[26]](#footnote-26), добавил он с еще одной сияющей улыбкой. Pontifex minimus[[27]](#footnote-27) — вот его работа. И он уже сейчас мог рассчитывать на успех своей затеи. Люди были к нему необычайно добры, оказывали помощь, проявляли интерес. Кстати, он поспешил заверить Юстаса, что Болонья полностью соответствовала своей древней научной репутации. Там проводились необычайно плодотворные исследования в области кристаллографии. А в своих последних лекциях по эстетике Бономелли пустил в ход все новейшие достижения современной психофизиологии и пространственной математики. Это совершенно не похоже на курс эстетики Бономелли, каким он был известен прежде. Юстас вытер губы салфеткой и отхлебнул немного кьянти.

— Жаль, что никто не может сказать того же о состоянии современного итальянского искусства, — заметил он, пополняя содержимое своего бокала из пузатой бутылки, покоившейся в плетеной колыбели.

Верно, рассудительно согласился сотрапезник, станковая живопись в Италии не могла похвастаться крупными достижениями. Зато появились достойные внимания образцы общественной и гражданской архитектуры. Классические, но функциональные почтовые отделения, огромные стадионы, масштабные росписи стен на героические сюжеты. Возможно, именно за таким искусством будущее.

— Господи, — сказал Юстас, — мне только остается надеяться, что я до этого уже не доживу.

Пол де Вриз попросил официанта убрать свою тарелку с почти нетронутой лазаньей, жадно закурил сигарету и продолжал:

— Вы, если можно так выразиться, типичнейший представитель Человека Индивидуалистического. Но такой тип стремительно уступает сейчас дорогу Человеку Общественному.

— Так я и знал, — сказал Юстас. — Всякий, кто хочет осчастливить человечество, неизменно заканчивает всеобщим запугиванием.

Молодой человек возражал. Он говорил вовсе не о введении повсеместного единообразия, а о всеобщей интеграции. В правильно интегрированном обществе будет создано принципиально новое поле для развития культуры, где появятся новые эстетические ценности.

— Эстетические ценности! — повторил Юстас в нетерпеливом раздражении. — Вот словосочетание, которое порождает во мне глубочайшее недоверие.

— Почему вы так говорите?

Юстас вместо ответа сам задал ему вопрос.

— Какого цвета обои в спальне вашего номера в отеле? — спросил он.

— Какого цвета обои? — удивленным эхом повторил молодой человек. — Понятия не имею.

— Не имеете, и я был в этом уверен, — сказал Юстас. — Вот почему я с таким недоверием отношусь к понятию «эстетические ценности».

Официант принес им грудку индейки под сливочным соусом, и Юстас замолчал. Пол де Вриз задавил в пепельнице сигарету и отправил в рот два или три куска мяса птицы подряд, пережевывая их с необычайной скоростью, как кролик. Потом промокнул губы, прикурил еще одну сигарету и уставил на Юстаса свои ясные очи и вздернутый любопытный нос.

— Вы правы, — сказал он, — вы абсолютно правы. Мое сознание так занято размышлениями о ценностях, что у меня не остается времени получать от них удовольствие.

Признание было сделано с таким неподражаемым смирением, что это даже тронуло Юстаса.

— Давайте однажды пройдемся вместе по Уффици, — предложил он. — Я буду рассказывать вам, что думаю о картинах, а вы просветите меня, в каком метафизическом, историческом и социальном контексте я обязан их воспринимать.

Молодой человек обрадованно кивнул.

— Это будет синтез! — воскликнул он. — Организмическая точка зрения.

Организмическая... Ему подвернулось благословенное слово, которое позволило выбраться из тупика на открытые и неистоптанные поля новых идей. Он начал рассказывать о профессоре Уайтхеде, о том, что не существовало понятия абстрактной точки расположения. Объект мог располагаться только в пределах определенного поля. И чем больше ты проникался идеей организованного и организующего поля, тем более важной она тебе представлялась, тем более богатой возможностями. Именно такие идеи служили великими связующими мостами между различными пониманиями сущности вселенной. Существовало электромагнитное поле в физике, поле индивидуализации в эмбриологии и общей биологии, общественные поля как у насекомых, так и у человеческих существ...

— И не забудьте о поле сексуальности.

Прервав свою речь, Пол де Вриз недоуменно уставился на того, кто его перебил.

— Это нечто, что должны были заметить вы сами, — продолжал Юстас. — Когда вы оказываетесь в непосредственной близости от некоторых юных леди, вы ощущаете на себе силовые линии Фарадея. Причем вам не нужен гальванометр, чтобы зафиксировать их, — закончил он со смехом.

— Силовые линии, — медленно повторил молодой человек. — Силовые линии.

Эти слова, по всей видимости, произвели на него глубокое впечатление. Он в задумчивости наморщил лоб.

— Ну, разумеется, — продолжал он после паузы, — секс тоже имеет отношение к ценностям, хотя, как я понял, вам не по нраву это слово.

— Но не явление, — заверил его Юстас добродушно.

— Однако если его усовершенствовать и сублимировать, оно может трактоваться в расширенном смысле.

Де Вриз сделал жест сигаретой, показывая, в насколько расширенном.

Юстас покачал головой.

— Лично я, — сказал он, — предпочитаю его в первозданном и узком смысле.

Они замолчали. Потом Юстас хотел уже открыть рот и заметить, что миссис Твейл распространяла вокруг себя достаточно мощное поле, но передумал и не стал ничего говорить. Нет смысла создавать проблемы себе самому или другим. Кроме того, внезапная и скрытая атака всегда оказывалась эффективнее. Королева-мать приехала сюда на месяц; у него будет достаточно времени, чтобы удовлетворить любопытство.

Не выходя из задумчивости, Пол де Вриз взялся за тему безбрачия. Люди постепенно утратили веру в клятвы и обязательства, но у них всегда оставался простой и действенный механизм избавления человека, целиком поглощенного интеллектуальными занятиями, от эмоциональных пут и отвлекающих от дела забот семейной жизни. Но при этом, конечно, добавил он, некоторые ценности приходится приносить в жертву...

— Вовсе не обязательно, если не чураться изредка внебрачных связей.

Юстас весело смотрел на него поверх ободка своего бокала. Но выражение лица молодого человека оставалось сумрачно серьезным.

— По всей вероятности, — сказал он, — возможна модифицированная, современная форма целибата. Не исключающая романтической влюбленности и рафинированных форм секса, а накладывающая запрет только на брачные узы.

Юстас прыснул от смеха.

— Но ведь в конце-то концов, — пояснил свою мысль сидевший напротив него, — ведь не сама по себе любовь несовместима с жизнью целенаправленно мыслящего интеллектуала; ей мешают только отнимающие слишком много времени обязанности мужа и забота о семье.

— И вы ожидаете, что дамы согласятся разделить вашу точку зрения?

— Почему же нет, если говорить о леди, которые сами будут стремиться к такой же осмысленной форме существования?

— Вы имеете в виду, что математики будут спать только с математиками противоположного пола?

— Почему же только с математиками. С поэтессами, с женщинами-учеными, с музыкантшами и с художницами.

— Одним словом, с любой девицей, которая сможет сдать экзамены и научиться тренькать на пианино. Или попросту рисовать, — добавил он как бы вскользь. — Ваш модифицированный целибат превратится в нечто весьма занятное!

«Чудо что за осел! — думал Юстас, предавшись еде. — И насколько же наивно откровенный! Разрывающийся между своими идеалами и желаниями, он пытается путем вычислений найти выход из абсурдно банальной ситуации и несет чушь о ценностях, целеустремленных интеллектуалах и модифицированном целибате. Он поистине жалок».

— Что ж, теперь, когда мы разобрались с сексуальным полем, — сказал Юстас, — пора переходить к другим полям.

Пол де Вриз некоторое время молча смотрел на него, а потом снова просиял улыбкой и закивал.

— Да, давайте перейдем к другим полям, — повторил он.

Отодвинув от себя тарелку со съеденной едва ли наполовину индейкой, он упер локти в стол и уже в следующий момент снова пустился в свободное плавание рассуждений.

— Возьмем, к примеру, поле сверхъестественных явлений и даже поле спиритизма. Потому что если взглянуть на эти вопросы широко и без предубеждений, то приходится признать эти явления фактами реальности, верно?

— Так уж и приходится? — передернул плечами Юстас.

— Но доказательства необычайно убедительны. Почитайте журнал «Труды Общества исследований паранормальных явлений» и убедитесь сами. Вот почему большинство философов столь тщательно избегают читать подобные публикации. Именно так происходит, когда приходится выполнять новаторскую работу в рамках устаревшего академического поля. Людям просто не дают возможности честно рассмотреть некоторые явления, даже если они к этому стремятся. Но, конечно, если поле достаточно мощное, оно подавляет стремление само по себе.

— О привидениях вам лучше всего побеседовать с моей тещей, — сказал Юстас.

Совет оказался излишним. Пол де Вриз уже присутствовал при нескольких сеансах старой леди. Наведение мостов между феноменом спиритизма и достижениями психологии и физики он считал частью своих функций в качестве pontifex minimus. Невероятно трудная задача, между прочим, поскольку до сих пор никто не сформулировал гипотезу, в рамках которой можно было бы рационально сопоставлять факты из данных областей. В настоящий момент оставалось лишь перемещаться из одного мира в другой в надежде, что однажды тебя посетит вдохновение, некое интуитивное озарение, которое приведет к великому таинству синтеза. Потому что такой синтез не может не существовать, — невидимый путь, который позволяет сознанию обоснованно и логично перемещаться от телепатии в четырехмерный континуум, от полтергейстов и духов ушедших людей в область естественной психологии человеческой нервной системы. А ведь помимо происходившего в комнатах для спиритических сеансов уже были зафиксированы явления голосовой и обширной медитации — дуалистическое сенсорное восприятие брахмана из Санкары, Плотин, фундамент, заложенный Экхартом и Беме...

— Газообразное Позвоночное Геккеля, — вставил Юстас.

— А внутри этого последнего поля, — заторопился молодой человек, не хотевший, чтобы его прервали, — заключены второстепенные поля — христиане называют их единством душ живых и усопших, а буддисты...

Но Юстас уже не мог оставить его в покое.

— Зачем же останавливаться только на этом? — еще раз вмешался он, выбрав сигару и раскуривая ее. — Давайте включим сюда непорочное зачатие и непогрешимость папы римского. Почему нет?

Юстас поднес к кончику сигары спичку и всасывал дым, выпуская его через ноздри.

— Вы мне напомнили мой старый лимерик, — сказал он. — «Настоятель собора в Пеории богословие знал лишь в теории. Чем прогневал он Бога. До чего же убого богословие знали в Пеории!»

И чтобы подавить в зародыше любые дальнейшие попытки своего собеседника начать псевдонаучные рассуждения заново, он прочитал ему целый цикл из своего собрания сочинений под названием «Набор нравоучений для современной молодежи». Там был и «Молодой человек из Уокинга...», и «Непростая девица в Спокане...», и «Молодухи из города Мюнхена...». Пол де Вриз смеялся над шуточными стихами, хотя смех его был натянутым и неестественным, но Юстас продолжал читать из принципа, потому что не мог позволить этому типу безнаказанно нести претенциозную чепуху. Объявлять себя человеком глубоко религиозным только потому, что ты мог часами вести высоколобые, на первый взгляд, и совершенно вздорные речи о религии! Немного честной пошлости — и воздух очищался от этого дурного философского запашка, а философ опускался с небес на грешную землю к старому хлеву, где ему и было самое место. Тот юноша с лицом барана в магазине Бруно тоже вел абсурдные разговоры, и сам Бруно был милым, но совершенно запутавшимся недоумком. Но в них начисто отсутствовала претенциозность; они практиковали то, что исповедовали. Но, самое поразительное, воздерживались от того, чтобы публично проповедовать то, что практиковали. В то время как этот вот самозваный pontifex minimus...

Юстас зажал сигару между губами, выпустил облако дыма, чуть понизил голос и процитировал свой уже совсем неприличный лимерик про епископа с водопада Уичита.

## IX

Из ресторана «Беттиз», когда с обедом было покончено, он прогулялся до своего банка. Заметив Юстаса у стойки, где он дожидался, пока кассир отсчитывал причитавшиеся ему деньги, менеджер чуть ли не бегом устремился к нему, чтобы с энтузиазмом пообещать еще более внушительные результаты игры на валютной бирже в следующем месяце. У банка появился новый агент в Берне, некий доктор Отто Леве, которого отличал особый нюх на подобного рода спекуляции — настоящий гений, если уместно такое сравнение, как Микеланджело или Маркони...

Все еще держа в руках рисунки Дега и «Трактаты о любви к Богу», Юстас вышел на площадь, поймал такси и дал водителю адрес Лаурины Аччьяиулоли. Машина тронулась. Он откинулся на сиденье в углу, вздохнув отрешенно и утомленно. Лаурина стала крестом, который ему приходилось нести. Плохо само по себе то, что она сильно болела, была докучлива и озлоблена. Он опасался, что дальше будет только хуже. Эту изможденную, измученную артритом, превратившуюся в инвалида женщину он когда-то любил с такой страстью, какой ему не довелось познать ни до нее, ни после. Другая женщина уже постаралась бы сделать все, чтобы забыть об этом. Но только не Лаурина. Без конца проворачивая кинжал в зияющей ране, она могла целыми днями вспоминать о своей ушедшей красоте и выть от сознания нынешнего уродства, говорить о былой любви и теперешнем пренебрежении, одиночестве и горестях. А когда ей удавалось до крайности взвинтить себя, она яростно нападала на своего гостя, тыкала в него искривленным опухшим пальцем и своим низким голосом (когда-то очаровательно сипловатым, а теперь просто охрипшим от болезни, чрезмерного курения и чистейшей ненависти) обвиняла его в том, что он навещает ее только из чувства долга; хуже того — по слабости душевной. Что он действительно заботился о ней, только пока ее тело было стройным и крепким, а теперь, когда она постарела, стала несчастной калекой, он с трудом находил в себе хотя бы каплю жалости к ней. Вынужденный отрицать все эти столь болезненно очевидные истины, Юстас не находил ничего лучшего, чем опускаться в трясину лицемерных утешений, и то, что он говорил, выходило у него настолько неубедительно, что Лаурина откровенно смеялась над ним — смеялась с язвительным сарказмом, который, конечно же, причинял больше муки ей самой, нежели ему. Впрочем, хотя это не он страдал от артрита, боли с избытком доставалось и на его долю. Сейчас он с тревогой размышлял, что принесет ему день сегодняшний. Новую серию бесконечных и успевших надоесть угроз покончить с собой? Вероятно, или...

— Bebino![[28]](#footnote-28) — выкрикнул резкий голос чуть ли не ему в ухо. — Bebino!

Он вздрогнул и повернулся. По узкой, заполненной народом улице такси двигалось со скоростью пешехода, а рядом с ним, положив руку на открытый проем стекла машины, шла та, кто придумал для него столь нелепое, гротескно детское прозвище (по причине, известной только им двоим).

— Мими! — воскликнул он, от души надеясь, что сейчас поблизости нет никого из знакомых.

В своем невероятном фиолетовом платье она не просто выглядела как хорошенькая маленькая шлюшка, кем и была на самом деле, но как карикатура на хорошенькую маленькую шлюшку из юмористического журнала. Но именно это и нравилось в ней Юстасу. Простая и безыскусная вульгарность ее стиля была тоже доведена до своего рода совершенства.

Склонившись вперед, он дал команду шоферу и, как только такси остановилось, распахнул для нее дверь. Внутри машины Мими не так бросалась в глаза, как вне ее.

— Bebino mio! — Она прижалась к нему на сиденье, и он почувствовал себя окутанным облаком дешевых духов. — Почему ты не заходил ко мне, Bebino?

Когда такси вновь тронулось, он пустился в объяснения, что пару месяцев провел в Париже, а потом пришлось пожить в Англии. Но она не слушала, продолжая осыпать его упреками и досаждать вопросами. Так давно! Ах, как долго! Но таковы все мужчины — porchi[[29]](#footnote-29), самые натуральные porchi. Значит, он больше не любит ее? Уж не наставляет ли он ей рога с кем-то еще?

— Говорю же тебе, я два месяца пробыл в Париже, — повторил он.

— Sola, sola[[30]](#footnote-30), — перебила она, вложив в голос всю разбивавшую сердце тоску одиночества.

— ...А потом на несколько недель ездил в Лондон, — продолжал он, повышая голос в попытке быть наконец услышанным.

— А я-то всегда делала все, чего тебе только хотелось! — В ее карих глазах застыли неподдельные слезы. — Все! — добавила она печально.

— Сколько раз мне тебе повторять, что я уезжал из города? — уже в нетерпении прокричал Юстас.

С резко изменившимся выражением лица девушка окинула его взглядом откровенной соблазнительницы и улыбнулась. Потом поймала руку и прижала к пухлой молодой груди.

— А почему бы тебе не поехать со мной прямо сейчас, Bebino? — спросила она вкрадчиво. — Я сделаю тебя таким счастливым! — И, склонившись ближе, залепетала на детском языке: — Расчесать волосики! Моему непослушному маленькому Bebino нужно причесать волосики.

Юстас молча посмотрел на нее, а потом сверился с часами. Нет, времени никак не хватит, чтобы сделать два дела и успеть к прибытию поезда. Нужно выбирать что-то одно. Прошлое или настоящее, муку сострадания или удовольствие. И он сделал выбор.

— Бери от жизни все, пока еще можешь, — сказал он по-английски и, постучав по стеклу, сообщил водителю, что у него изменились планы. Не мог бы он доставить его в другое место? И дал адрес квартирки Мими рядом с Санта-Кроче. Мужчина за рулем кивнул и понимающе подмигнул ему.

— Мне нужно позвонить по телефону, — сказал Юстас, когда они прибыли на место.

Пока Мими переодевалась, он связался с домом и распорядился, чтобы машина ждала его у главного входа в Санта-Кроче без четверти шесть. Затем настал черед Лаурины. Не мог бы он переговорить с графиней? И, дожидаясь соединения, обдумывал свою маленькую ложь.

— Юстас? — раздался низкий хриплый голос, который в свое время мог держать его в полном подчинении.

— Chère[[31]](#footnote-31), — начал он легким тоном, — je suis horriblement ennuyé...[[32]](#footnote-32) — Вежливая неискренность почему-то легче произносилась по-французски, нежели по-английски или по-итальянски.

В потоке иностранных слов он постепенно прояснил ей суть плохих, очень плохих новостей, которые заключались в том, что у него сломался заменитель выпавшего когда-то зуба. Нет, до полного râtelier[[33]](#footnote-33) дело, слава богу, не дошло — plutôt un de ces bridges — ces petits ponts qui sont les Ponts des Soupirs qu’on traverse pour aller du palais de la jeunesse aux prisons lugubres de la sénilité[[34]](#footnote-34). Он хихикнул, оценив элегантность собственной шутки. Короче говоря, он вынужден был направиться en hâte[[35]](#footnote-35) к дантисту и пробудет у него, пока не починят мост во рту. А это, увы, не позволит приехать к чаю.

Лаурина восприняла все гораздо легче, чем он смел надеяться. Доктор Росси, сообщила она, выписал себе из Вены новую замечательную лампу и получил потрясающее лекарство из Амстердама. Теперь она не испытывала боли по нескольку дней кряду. Но это было еще не все. Закончив описывать состояние своего здоровья, как бы мимоходом, чтобы замаскировать свой триумф, но тем самым только подчеркнуть его, она упомянула, что в последние дни ее несколько раз навещал Д’Аннунцио и так поэтично предавался воспоминаниям о прошлом. А старый добрый ван Арпельс прислал ей сборник своих новых стихов, к которому приложил совершенно очаровательное письмо. Кстати, о письмах. Она недавно разбирала свой архив и сама поразилась, как их накопилось много и насколько они интересны.

— Не сомневаюсь, — сказал Юстас. И невольно вспомнил почти безумный жар чувств, который она вызывала в дни их бурного романа, агонию вожделения, муки ревности. И это касалось многих других мужчин, пылко влюблявшихся в нее — от простого математика до владельцев крупных компаний, от венгерских поэтов до английских аристократов и чемпиона по теннису из Эстонии. А теперь... Он мысленно представил себе образ Лаурины, какой она представала сейчас, двадцать лет спустя: иссохшая калека в инвалидной коляске с медно-желтыми волосами, кудрями уложенными над лицом, которое вполне могло бы сойти за посмертную маску Данте...

— Я отобрала несколько твоих писем, которые хотела бы прочитать тебе, — сказал ему в ухо голос из микрофона.

— Боюсь, сейчас они покажутся довольно глупыми.

— Вовсе нет, — возразила она. — Они прекрасны. В них столько остроумия; et en même temps si tendres — così vibranti![[36]](#footnote-36)

— Vibranti? — переспросил он. — Только не говори мне сейчас, что я когда-то пульсировал жизненной силой.

Какой-то звук заставил его повернуть голову. В проеме распахнутой двери стояла Мими. Она улыбнулась ему и послала воздушный поцелуй. Кимоно цвета красного вина при этом распахнулось на ней.

На другом конце телефонного провода раздался шелест и хруст бумаги.

— Послушай вот это, — хрипло сказала Лаурина. — «Ты владеешь способностью вызывать желания, которым нет предела, и в этой беспредельности их невозможно утолить простым обладанием одним лишь твоим телом и быстротечными мыслями».

— Бог ты мой! — воскликнул Юстас. — Неужели я мог написать нечто подобное? Звучит как цитата из Альфреда де Мюссе.

Мими теперь стояла рядом с ним. Свободной рукой он ласково похлопал ее по обнаженным ягодицам. Бери от жизни все...

Хриплый голос продолжал читать:

— «А потому мне начинает казаться, Лаурина, что единственный путь к исцелению от любви к тебе — это уподобление суфиям или Хуану де ла Крусу. Потому что только Бог вызывает те же чувства, что вызываешь во мне ты...»

— Il faudrait d’abord l’inventer[[37]](#footnote-37), — с усмешкой прервал ее Юстас. Но в те времена, он живо это помнил, ему казалось все это вполне разумным описанием собственных ощущений. Что лишний раз свидетельствует, до какого приниженного состояния способна довести эта проклятая любовь самого рационального мужчину! В таком случае следовало возблагодарить Господа, что ныне он навсегда покончил с подобными глупостями! Юстас еще раз звонко шлепнул Мими по попке и улыбнулся ей.

— Spicciati, Bebino[[38]](#footnote-38), — прошептала она.

— А вот еще одно восхитительное письмо, которое ты мне написал, — произнес в тот же момент голос Лаурины. — «Любить тебя с такой силой, как люблю я...»

Мими в нетерпении дернула его за ухо.

— «...это значит родиться заново и прожить другую, гораздо более интересную жизнь», — продолжал голос в трубке.

— Прости, но вынужден на этом прервать декламацию собственных сочинений, — сказал Юстас. — Мне придется дать отбой... Нет, нет, ни минуты больше, дорогая. Уже пришел дантист. Ecco il dentista, — повторил он по-итальянски, чтобы Мими поняла тоже, и при этом слегка игриво ущипнул ее. — Adesso comincia la tortura[[39]](#footnote-39).

Он положил трубку, повернулся и, посадив девушку себе на колено, начал щекотать ее толстым пальцем между ребрами.

— No, no, Bebino... no!

— Adesso comincia la tortura, — снова сказал он, заставляя ее биться от смеха почти в истерике.

## X

Сидя в углу своего похожего на небольшую пещеру магазинчика, Бруно Ронтини проставлял цены на только что приобретенную кипу книг. Пятнадцать лир, двенадцать, двадцать пять, сорок... Его карандаш перемещался с форзаца на форзац. Свет, который падал почти вертикально из лампы над головой, накладывал густые тени на его глубоко посаженные глазницы, под выступающие скулы и крупный нос. При таком освещении над книгами склонился вроде бы некрасивый угловатый череп, но стоило ему посмотреть вверх, как становились видны яркие голубые глаза, а лицо приобретало выразительные и почти веселые очертания.

Карло ушел домой, и он остался один — совершенно один, но это было одиночество, которое неизменно наполняло его ощущением невыразимого счастья. Из-за стекла витрины доносился достаточно громкий уличный шум, но внутри магазинчика он чувствовал себя как в окруженном скорлупой ядре, где царила полнейшая тишина, где любой посторонний звук терял всякое значение; тишина, которую ничто не способно было нарушить. И сидя в самом средоточии молчания, Бруно размышлял о букве «L» со штрихом, которую выводил перед каждой цифрой на книге, и ему казалось, что она означает не просто слово «лира», но символизирует и любовь, и освобождение.

Прозвенел колокольчик над дверью, и в магазин вошел посетитель. Бруно поднял взгляд и увидел юное, почти детское лицо. Но до чего же скупо обрисованное! Словно природа, внезапно решив сэкономить, отказалась отпустить достаточно материала на полноценные и важнейшие его черты. Большими выглядели только неровные и торчащие вперед зубы. И еще очки с вогнутыми линзами, сквозь которые были видны застенчивые, но проницательные глаза, светившиеся умом, который явно использовали не как инструмент для поисков истины, а в целях самозащиты или даже средства, чтобы придать человеку уверенности после череды непрерывных унижений.

Незнакомец нервно откашлялся и сказал, что ему нужна хорошая книга по сравнительному богословию. Бруно показал все, что у него было на эту тему, — стандартный итальянский учебник, популярный труд, написанный во Франции (в переводе), и тоже переводной двухтомник из Германии.

— Лично я рекомендовал бы француза, — сказал он своим обычным негромким голосом. — Всего двести семьдесят страниц. Его изучение отнимет у вас едва ли больше двух часов.

Ответом ему стала презрительная улыбка.

— Я ищу нечто гораздо более фундаментальное.

Воцарилось молчание, пока незнакомец перелистывал остальные книги.

— Как я понимаю, вы собираетесь стать преподавателем? — спросил Бруно.

Посетитель бросил на него подозрительный взгляд, но, не обнаружив в тоне книготорговца ни тени иронии или неуважения, кивнул.

Да, он хотел бы стать преподавателем. И свой выбор он остановил на двухтомном переводе с немецкого.

— Очень жаль, — сказал Бруно, еще раз показывая клиенту два объемистых фолианта. — А когда вы станете профессором университета, — спросил он, — что потом?

Молодой человек указал на итальянскую книгу.

— Потом я начну писать сам, — ответил он.

Да, он начнет писать, подумал Бруно не без грусти. И либо от полной безнадежности, либо из уважения к самому по себе профессорскому званию какая-нибудь женщина выйдет за него замуж. Разумеется, жениться лучше, чем сгорать впустую, но этот тип, как становилось очевидно сразу, будет продолжать гореть изнутри и после женитьбы, скрытно, но бурно и неугасимо, в полном соответствии со своим возбудимым и нервным темпераментом. И даже под надежным защитным покровом респектабельности, а быть может, и известности, затмевающей Бога фантазии, тайное пристрастие к удовольствию самоудовлетворения доживет в нем почти до глубокой старости. Впрочем, поспешил напомнить себе Бруно, ни одну человеческую судьбу невозможно спрогнозировать наверняка. Всегда существовала возможность свободного выбора, достаточно милости Божьей — было бы только желание принять ее.

— Я буду писать важные вещи, — почти агрессивно заявил молодой человек.

— А не как книжники и фарисеи, — пробормотал Бруно с чуть заметной улыбкой. — Но что дальше?

— Как это, что дальше? — повторил клиент. — Что вы имеете в виду? Я и дальше буду писать.

Нет, в этом панцире невозможно было отыскать ни щелки. Бруно отвернулся и принялся заворачивать книги в коричневую упаковочную бумагу. Избегая вульгарной передачи денег из рук в руки, молодой человек выложил монеты на край прилавка. Для него мог существовать только один вид контакта с другим человеческим существом — сексуальный. Но даже такой контакт, подумал Бруно, всегда будет приносить ему разочарование, даже вызывать отвращение. Он завязал на ленточке узел и отдал пакет.

— Спасибо за покупку, — сказал он, — но если вас когда-нибудь утомит этот вид... — он сделал паузу, прежде чем продолжить, и в его глазах блеснули почти лукавые искорки, — ...эта разновидность научных фривольностей, — он указал пальцем на сверток, — то помните, что у меня есть немало по-настоящему серьезных книг на ту же тему.

Он обвел рукой целую секцию полок у противоположной стены.

— Скуполи, «Бхагаватам», «Дао де цзин», «Теология Германика», «Благодать интимной молитвы»...

Несколько секунд молодой человек слушал — причем слушал с таким опасливым выражением лица, словно больной, которого поместили в одну палату с потенциально буйным сумасшедшим; потом он, глядя на часы и бормоча, что уже становится поздно, поспешил вон из магазина.

Бруно Ронтини вздохнул и вернулся к маркировке цен на книгах. «L» — значит «лира», но «L» может означать и освобождение. Только один из десяти тысяч освободится, вероятно, от защитного панциря полностью. Не слишком высокая пропорция. Однако из мириад икринок сколько рыб дорастет до полноценных размеров? А между тем следовало помнить, что развитию и росту рыб мешали только влияния извне, внешние факторы. В то время как в процессе духовного возмужания каждое человеческое существо само же и являлось своим самым опасным врагом. Атаки ведутся с двух сторон, и изнутри они даже более мощные, настойчивые и целенаправленные, чем извне. И потому, в конечном счете, один выросший из десяти тысяч возможных на деле представляется не таким уж плохим результатом. Это может вызывать скорее восхищение, нежели сожаление. И не следует винить Бога, как часто делают люди, за Его несправедливость: нужно, напротив, возблагодарить Создателя за щедрость, с которой Он многим дает столь неизмеримо высокую награду.

«L» — это свобода, «L» — это любовь... И несмотря на нетерпеливые гудки машин, вопреки грохоту и шуму транспорта, для Бруно Ронтини установилась тишина, подобная хрупкому живому кристаллу.

Дверной колокольчик звякнул снова, и, подняв голову, он увидел под сдвинутой набок фетровой шляпой широкое, с обвисшей кожей, с мешками под глазами и с кривоватой улыбкой неразомкнутых губ лицо Юстаса Барнака. С помощью своего живого кристалла Бруно увидел этого человека словно бы лежащим в могиле, в гробу, куда не проникает свет, замурованным в глухую стену стремления к удовольствиям. И стены этой гробницы были сложены из тех же кирпичей праздности и чувственности, из тех же пороков, которые он знал за собой и неустанно обращался к Богу с мольбой о прощении. Исполненный величайшим состраданием, Бруно встал и вышел навстречу гостю.

— Наконец-то я тебя застал! — воскликнул Юстас.

Он говорил по-итальянски, потому что так было легче для того, кто стремился играть роль легкомысленного флорентийского буржуа, избежать опасности серьезного разговора, а с Бруно необходимость избегать серьезных тем становилась особенно насущной.

— Я весь день искал встречи с тобой.

— Да, мне передали, что ты заходил утром, — сказал Бруно по-английски.

— И был обласкан, — Юстас продолжал разыгрывать свою тосканскую комедию, — самым преданным из твоих апостолов! Он даже ухитрился продать мне назидательную книгу — qualche trattatino sull’ amor del[[40]](#footnote-40) Газообразному Позвоночному, — заключил он весело.

Теперь этот том обрел пристанище между каким-то любовным романом Питигрилли и потрепанным «Толкователем снов» на прикроватном столике в спальне Мими.

— Ты здоров, Юстас? — спросил Бруно, и его серьезный тон разительно контрастировал с оживленной болтовней собеседника.

Юстасу пришлось тоже перейти на родной язык.

— Никогда не чувствовал себя лучше, — ответил он. Но потом, когда заметил, что Бруно продолжает смотреть на него тем же пристальным обеспокоенным взглядом, в его голосе проскользнула раздраженная и подозрительная интонация. — В чем дело? — резко спросил он.

Неужели этот парень был наделен способностью видеть нечто, что позволило ему догадаться о его визите к Мими? Не то чтобы знакомства с Мими следовало как-то уж особенно стыдиться. Нет, раздражение и неприятные ощущения вызывало само по себе вторжение в его частную жизнь. А Бруно, о чем не следовало забывать, всегда обладал этим странным и тревожащим душу даром знать вещи, о которых ему никто не рассказывал. Но разумеется, ни о каком ясновидении и речи не шло. Вероятно, на нем где-то остался след губной помады.

— Почему ты так пялишься на меня?

Бруно виновато улыбнулся.

— Прости, — сказал он. — Мне просто показалось, что ты выглядишь... Право, не знаю. Наверное, как человек, у которого начинается грипп.

Это было лицо человека в могиле, но теперь ему даже в могиле что-то угрожало. Что могло угрожать ему?

С облегчением поняв, что визит к Мими остался незамеченным, Юстас снова лишь улыбнулся.

— Что ж, если я подхвачу грипп, — сказал он, — то буду знать, кто его на меня накликал. И не воображай, — продолжал с прежней веселостью, — что я пришел сюда, чтобы усладить свой взор видом неземной красоты твоей физиономии. Мне надо, чтобы ты добыл для меня разрешение осмотреть вместе с племянником лабиринт в садах Галигаи. Он приезжает сегодня вечером.

— Который из племянников? — спросил Бруно. — Один из сыновей Элис?

— Один их этих неотесанных мужланов? Не дай бог! — ответил Юстас. — Нет, это сынок Джона. Примечательное юное существо. Ему семнадцать, но выглядит совершеннейшим ребенком, хотя пишет удивительно хорошие стихи — настоящий талант.

— Джон, вероятно, суровый отец, — заметил Бруно после краткой паузы.

— Суровый — не то слово! Он глупец и грубиян. И мальчишка испытывает к нему неприязнь, не принимая ничего из отцовского мировоззрения.

Юстас улыбнулся. Ему доставляло удовольствие думать о проблемах и недостатках своего брата.

— Да, если бы только люди осознавали, что моральные принципы подобны кори...

Тихий голос замолк, перейдя в глубокий вздох.

— Что значит «подобны кори»?

— Ими можно заразиться. И только уже заразившиеся особи способны стать разносчиками инфекции.

— К счастью, — сказал Юстас, — не все мы подвержены заразе.

Он сразу подумал об этой миниатюрной женщине. О миссис Твейл. Она могла получить огромные дозы заразы от каноника и его жены, но ни малейших признаков моралистической или ханжеской сыпи не было видно на роскошно белой коже их дочери.

— Ты прав в том, — сказал Бруно, — что человек не обязательно заражается инфекцией добра, если не желает того сам. В этом проявляется свобода нашей воли.

Свобода. Всегда свобода. Люди оказывались способны сказать нет даже Филиппо Нери и Франсуа де Салю, даже самому Христу, самому Будде. И когда он произнес про себя эти имена, небольшой фитилек пламени в его сердце, казалось, разгорелся ярче и выше, пока не сомкнулся с другим огнем, пылавшим дальше и глубже; на мгновение в нем снова установилось не знавшее понятия о времени спокойствие томления, которое было одновременно и самим желанием, и его удовлетворением. Только голос кузена вернул его внимание обратно к тому, что происходило в магазине.

— Ничто не доставляет мне большего удовольствия, — со смаком произносил в этот момент Юстас, — как зрелище Добра, тщащегося распространить себя, но добивающегося результатов, обратных желаемым. Это одна из высших форм комического в жизни.

Он от души рассмеялся.

Слушая этот смех, который доносился из глубины мрака склепа, Бруно оказался на грани отчаяния.

— Если бы ты только был способен простить Добро сам! — тихий голос неожиданно стал громким и страстным. — Тогда ты открыл бы и для себя возможность прощения.

— За что же? — поинтересовался Юстас.

— За то, кто ты есть. За то, что ты всего лишь человек. Да, Бог способен простить тебя даже за это, будь на то твоя воля. Способен простить твою отчужденность до такой степени, что позволит тебе слиться с собой.

— Слиться прочному хребту с Газом.

Бруно некоторое время молча смотрел на Юстаса. В окружении усталой обмякшей плоти его глаза жизнерадостно искрились и подмигивали; сохранивший детские черты рот был искривлен иронической улыбкой.

— А что ты скажешь о комедии Ума? — спросил он. — Добиваться саморазрушения во имя эгоистических интересов и самообмана во имя приверженности реализму. Мне порой кажется, что именно эта форма комедии гораздо выше комедии Добра.

Бруно зашел за прилавок и вернулся с очень старым кожаным саквояжем.

— Если ты собираешься встречать своего юного племянника, — сказал он, — то я поеду на вокзал с тобой.

Ему все равно нужно было сесть в поезд до Ареццо, отправлявшийся в половине восьмого, объяснил Бруно. Там жил бывший профессор, который хотел продать свою библиотеку. А в понедельник открывался очень интересный аукцион в Перудже. Там соберутся букинисты со всей страны. Была надежда завладеть чем-нибудь, что ускользнет от внимания остальных.

Бруно выключил свет, и они вышли в сумерки, которые быстро сгущались, оборачиваясь ночным мраком. В боковом проулке дожидалась машина Юстаса. Двое мужчин сели в нее и были неспешно доставлены на вокзал.

— Помнишь, как мы в последний раз вместе ездили на вокзал? — неожиданно спросил Бруно после продолжительного молчания.

— Как мы в последний раз вместе ездили на вокзал? — с сомнением переспросил Юстас.

А потом воспоминание разом вернулось к нему. Он и Бруно в стареньком «Панаре». А было это сразу после похорон Эми, когда он возвращался на Ривьеру. К Лаурине. Да, не слишком приятный и лестный для него эпизод в жизни. Определенно не делавший ему чести. Он скорчил гримасу, словно ему попал в рот кусок гнилой капусты. Но затем чуть заметно пожал плечами. В конце концов, это уже ничего не меняло, не так ли? Люди станут поступать подобным образом и через сто лет; так было и будет всегда.

— Да, помню, — сказал он. — Ты как раз рассказывал мне про Газообразное Позвоночное.

Бруно улыбнулся:

— О нет. Я бы не осмелился нарушить табу. Ты сам завел этот разговор.

— Возможно, так и было, — признал Юстас.

Смерть и та безумная страсть, его собственное не слишком достойное поведение — все сошлось тогда, чтобы толкать его на множество странных поступков. Внезапно им овладело чувство глубокой депрессии.

— Бедняжка Эми! — произнес он, движимый непонятно откуда взявшимся желанием говорить, несмотря на давно принятое решение воздерживаться в присутствии Бруно от серьезных тем. — Бедняжка Эми!

— Не думаю, что она нуждается в нашей печали по себе, — сказал Бруно. — Эми успела примириться со своей участью. Вот почему не нужно жалеть людей, если они готовы к смерти.

— Готовы? Но какая разница? — Юстас заговорил почти со злобной язвительностью. — Смерть она и есть смерть, — подвел он черту, довольный хотя бы возможностью уйти от серьезного разговора в подобие дискуссии.

— Физиологически, вероятно, да, — согласился Бруно. — Но в психологическом, духовном смысле...

Шофер остановил машину, подчиняясь жесту полицейского — регулировщика движения.

— Довольно! — оборвал собеседника Юстас. — Я не хочу даже слышать вздор о бессмертии! Ты всегда выдавал желаемое за действительное! Мне этого не нужно.

— Действительно, — мягко сказал Бруно, — полное исчезновение крайне удобно, ведь так? Но желаешь ли ты поверить в него?

Из темноты своего склепа Юстас дал уверенный ответ.

— Человеку не дано желать или не желать поверить в свое посмертное исчезновение, — сказал он. — Его приходится воспринимать как факт.

— Ты имеешь в виду, что человек воспринимает выводы, которые следуют из одного набора известных ему фактов, но игнорирует факты, которые могут привести его к совершенно иным умозаключениям. Игнорирует их, потому что ему хочется, чтобы жизнь походила на историю, рассказанную идиотом. Одно дерьмовое событие за другим, пока наконец не наступает финальное дерьмовое событие, за которым уже не следует больше ничего.

Раздался свисток полицейского, и когда машина снова тронулась, свет витрины магазина медленно скользнул по лицу Юстаса, выявив каждую одутловатость, каждую морщину, каждое пятно на его обвислой коже. А затем темнота накрыла его вновь подобно задвинутой крышке саркофага. Задвинутой необратимо, как показалось Бруно, закрытой навсегда. Импульсивно он положил ладонь на руку кузена.

— Юстас, — сказал он. — Умоляю тебя...

Юстас вздрогнул. Происходило нечто странное. Словно повернулись перекладины венецианских жалюзи, впустив внутрь свет, показав ему весь необъятный простор летнего неба. Не встречая препятствий, свет невероятного блаженства хлынул в него. Но вместе со светом пришло воспоминание о том, что сказал Бруно в магазине: «Быть прощенным... Прощенным за то, кто ты есть». В смятении от овладевших им страха и злости он рывком отдернул свою руку.

— Что ты со мной делаешь? — спросил он грубо. — Пытаешься загипнотизировать меня?

Бруно ничего не ответил. Он сделал последнюю отчаянную попытку приподнять крышку, но ее снова опустили изнутри самого саркофага. И конечно же, воскрешение не может быть никому навязано. Мы ничего не обязаны делать. Лишь только упорствовать — упорствовать в стремлении оставаться самими собой, делаясь постепенно все хуже и хуже; и так должно продолжаться очень долго, пока в нас не проявится желание снова ожить, но другими, не теми, кем мы были прежде. И это неотвратимо, если только мы сами не мешаем себе вернуться к жизни.

## XI

Вопреки обыкновению поезд прибыл вовремя, и когда они добрались до вокзала, сошедшие с него пассажиры уже локтями прокладывали себе путь в толпе к выходу с перрона.

— Если увидишь маленького херувима в серых фланелевых брюках, то он-то нам и нужен, — сказал Юстас, приподнимаясь на цыпочки и глядя поверх голов.

Бруно вытянул костлявый палец.

— Этот соответствует твоему описанию?

— Который?

— Маленький non Anglus sed angelus[[41]](#footnote-41), стоящий за тем столбом.

Юстас действительно увидел теперь знакомую вьющуюся бледную шевелюру и, взмахнув рукой, протиснулся ближе к воротам на выходе с платформы.

— А это давно покинувший нас твой троюродный брат, — сказал он через минуту, вернувшись вместе с мальчиком. — Бруно Ронтини, который продает старые книги и хочет заставить всех поверить в Газообразное Позвоночное. — Они пожали друг другу руки. — Должен предупредить, — продолжал Юстас с напускной серьезностью, — что он, вероятно, попробует и тебя обратить в свою веру.

Себастьян бросил еще один взгляд на Бруно и под влиянием представления, прозвучавшего из уст дяди, разглядел только глупость в его ярких глазах, только выражение фанатизма на узком костлявом лице с впадинами под скулами и крупный, похожий на клюв нос. Потом он повернулся к Юстасу и улыбнулся.

— Значит, это и есть Себастьян, — медленно произнес Бруно. Имя имело значение предзнаменования, а это имя принадлежало уже избранной судьбой жертве. — У меня почему-то не идут из головы все эти стрелы, — продолжал он. Стрелы похоти и вожделения, которые будет испускать эта красота, позволяя своему обладателю удовлетворять свои желания; стрелы тщеславия, самодовольства и...

— Но стрелы летят в обе стороны, — заметил Юстас. — И наш мученик умеет отстреливаться, верно я говорю, Себастьян? — Он многозначительно улыбнулся ему, как мужчина мужчине.

Польщенный такой декларацией уверенности в своих силах Себастьян кивнул и рассмеялся.

Любовным и почти собственническим жестом Юстас положил руку на плечо мальчику.

— Andiamo![[42]](#footnote-42) — воскликнул он.

В его голосе при этом отчетливо прозвучало нечто, похожее на триумфальные нотки. Он не только свел счеты с Бруно за то, что произошло в машине, но и, по всей видимости, сразу лишил всяких шансов оказать на Себастьяна какое-либо влияние.

— Andiamo! — повторил за ним Бруно. — Я провожу вас до автомобиля и заберу свою сумку.

Подхватив чемодан Себастьяна, он направился к выходу. Двое последовали за ним.

Подавая звуковые сигналы мелодичным баритоном, «Изотта» медленно прокладывала себе дорогу вдоль полнившейся народом улицы. Себастьян натянул меховое покрывало повыше, чтобы прикрыть колени, и подумал, до чего же восхитительно все-таки быть богатым. А если разобраться, то если бы не идиотские политические взгляды отца...

— Старый смешной Бруно! — сказал его дядя ласково, снисходительным тоном. — Мне он почему-то всегда напоминает всех этих нелепых англосаксонских святых. Святого Виллибальда и святого Вунибальда, святую Уинну и святую Фридсвайду...

В его устах имена действительно звучали так забавно и нелепо, что Себастьян закатился от хохота.

— Но он безвредное и славное существо, — продолжал Юстас. — И если учесть, что причисляет себя к сонму так называемых Добрых людей, то даже не слишком скучен.

Прервав себя, он коснулся руки Себастьяна и указал в левое окно машины.

— Усыпальницы Медичи расположены там, — сказал он. — Вот и говори после этого о величайших произведениях искусства! Я на них уже смотреть не могу. Сегодня мой кумир — Донателло. Но, конечно же, правда и то, что чертовы надгробия принадлежат к числу наиболее выдающихся скульптур в мире. А там — ателье портного Росси, — без всякого перехода добавил он, снова показывая пальцем в окно. — Закажи ему хороший английский костюм, и он сошьет не хуже признанных мастеров с лондонской Сэвил-роу. Причем за полцены. Мы как-нибудь отвлечемся от осмотра достопримечательностей, чтобы он снял с тебя мерку для вечернего костюма.

Не осмеливаясь верить собственным ушам, Себастьян вопросительно посмотрел на него.

— Вы хотите сказать... О, спасибо, дядя Юстас! — воскликнул он, на что тот улыбнулся и закивал головой.

Юстас посмотрел на племянника и заметил в мелькавшем свете уличных фонарей, что его лицо раскраснелось от возбуждения, а в глазах вспыхнул живой огонь. Растроганный, он потрепал мальчика по коленке.

— Не стоит благодарности, — сказал он. — Если бы я числился в сборнике «Кто есть кто», где, увы, обо мне нет ни слова, то ты бы узнал, что к числу моих излюбленных хобби относится «по мере сил досаждать своему брату».

Они дружно и заговорщицки рассмеялись.

— А теперь, — воскликнул Юстас, — наклонись и посмотри через окно вверх, чтобы полюбоваться вторым по величине яйцом, когда-либо отложенным во всем мире.

Себастьян сделал, как ему было сказано, и увидел огромные глыбы мрамора, а поверх них — еще более внушительных размеров купол, уходивший в небо и терявшийся там, куда не достигал свет уличных фонарей. Ясно различимый у основания, выше он делался более непроницаемым и таинственным, чем сама ночь. Это была тоже церковь Преображения, но на этот раз не маленькое убожество, а огромное гармоничное и величавое сооружение.

— Сначала свет, — сказал Юстас, поводя пухлым пальцем, — а потом все скрывается во мраке.

Себастьян посмотрел на него в невольном изумлении. Он тоже видел это...

— Как зеркальное уравнение, — продолжал дядя. — Ты начинаешь, имея значения для «x» и «у», а в итоге получаешь неизвестную величину. Нет света более романтичного, чем этот.

— Я прежде не встречал никого, кто заметил бы это, как и я сам, — признался Себастьян.

— Оптимист! — улыбнулся Юстас с видом усталой мудрости. До чего же занятно быть молодым и пребывать в убеждении каждый раз, обнаруживая нечто новое или просто теряя невинность, что ничего подобного прежде ни с кем не происходило! — Между прочим, все викторианские граверы и рисовальщики прекрасно это знали. Их пейзажи с горами и руинами замков темнее вверху, чем в нижней части. Но это не делает зеркальное уравнение менее занимательным и ценным.

Наступила небольшая пауза. Машина свернула с соборной площади в улочку, оказавшуюся еще более узкой и переполненной пешеходами, чем та, по которой они отъезжали от вокзала.

— Я написал об этом стихотворение, — решился наконец сделать признание Себастьян.

— Не одно из тех, что ты прислал мне на Рождество?

Мальчик помотал головой:

— Я не думал, что оно вам понравится. Оно несколько... В общем, оно... Немного религиозно по содержанию. То есть оно было бы таким, напиши я его о религии. Но это не так. А теперь, зная, что вы тоже заметили... То, как свет исходит снизу...

— Можешь прочитать его?

О, маленькое убожество! Ты вдруг превращаешься в храм,

Наполненный тем же величием святости, как Бурж или Элефанта...

Откинувшись на спинку сиденья, Юстас слушал этот почти детский голосок и, по мере того как свет то освещал машину внутри, то уходил, внимательно вглядывался в лицо, которое с ангельской серьезностью широко открытыми глазами смотрело вперед, в темноту. Да, он определенно был талантлив. Но особенно глубоко тронула Юстаса, довела его почти до слез умиления цельная бесхитростная вера мальчика в себя, его поразительная чистота. «Да, чистота!» — он готов был настаивать на этом, хотя никто по-настоящему не знал смысла слова или контекста, в котором следовало употреблять его. Ведь понятно, что, как любой подросток, он одержим сексом — наверняка мастурбирует, — а быть может, уже вступает в любовные связи, гомосексуальные или иные. И все равно в нем была видна чистота, подлинная чистота.

Декламация подошла к концу, и воцарилось молчание — столь долгое, что Себастьяну стало немного тревожно: быть может, его стихи вовсе не так хороши, как ему представлялось? Дядя Юстас обладал утонченным вкусом, и если они не понравились ему, это значило...

Но тут дядя заговорил.

— Это очень красиво, — тихо произнес он. И реплика относилась даже не столько к самим стихам, сколько к тем чувствам, которые успел пережить он сам, слушая их. Неожиданную вспышку эмоций и покровительственной нежности. — Очень красиво. — Он ласково опустил ладонь на колено Себастьяну. Потом после еще одной паузы добавил с улыбкой: — Я ведь и сам писал стихи, когда мне было чуть больше лет, чем тебе сейчас.

— В самом деле?

— Да, подражания Доусону и много воды, — сказал Юстас, качая головой. — Кое-что из Уайльда, но больше кошачьей мочи. — Он рассмеялся. — Сентиментальная чепуха. С тех пор я не поднимаюсь выше лимериков, но, как справедливо заметил Вордсворт:

Не презирай так лимерики, критик,

Не хмурь свое надменное чело;

Без лимерика не было б Шекспира,

Петрарке не писалось так легко.

И так далее, пока он не добирается до Мильтона:

Лишь у него в руках стал шлюховат

Тот стиль, что весел так и так богат.

А теперь я просто обязан познакомить тебя со своей «Непростой девицей в Спокане...».

Так он и сделал. Машина тем временем миновала совсем темную часть города. Редкие огни отражались в реке; они пересекли мост и, набрав скорость, пару минут мчались вдоль широкой набережной. Затем дорога повела их вправо, стала извилистой и пошла вверх. Себастьян в немом восхищении смотрел через лобовое стекло, как фары из ничего вдруг выхватывали непрерывную серию сменявших друг друга маленьких миров. Поджарая серая коза, привстав на задние лапы, жевала бутоны глицинии, свисавшей через стену с облупившейся штукатуркой. Священник в черной юбке рясы толкал в крутую гору дамский велосипед. Величавые дубы тянули причудливо изломанные ветви, как щупальца деревянных осьминогов. У подножия лестницы двое влюбленных испуганно разомкнули объятия, но только чтобы показать в свете машины две пары смеющихся глаз и ртов, а потом снова пропасть в темноте, оставленными в покое.

Мгновение спустя автомобиль подкатил к высоким металлическим воротам. Музыкально, но требовательно прозвучал звук клаксона, и пожилой мужчина выбежал из тьмы, чтобы открыть засовы.

Подъездная дорожка змейкой была проложена между высокими и стройными кипарисами; появилась и исчезла клумба с синими гиацинтами, потом ниша небольшого фонтана в форме морской раковины. «Изотта» сделала свой последний поворот, фары вызвали к жизни несколько старинных статуй нимф, обнаженными стоявших на пьедесталах, а потом остановилась как перед последним, все объясняющим откровением напротив апельсинового дерева, росшего в огромной керамической кадке.

— Ну, вот мы и дома, — сказал Юстас, и в ту же секунду дворецкий в белой форменной куртке открыл двери и почтительно склонил голову в приветствии.

Они вошли в просторный квадратный вестибюль с колоннами и сводчатыми потолками, как в церкви. Дворецкий принял у них багаж, и Юстас первым начал подниматься по каменной лестнице.

— Вот твоя комната, — сказал он, распахивая одну из дверей. — Пусть тебя не беспокоит вот это, — добавил он, указывая на необъятную кровать под балдахином. — Здесь только резьба старинная. Матрац же вполне современный. А твоя ванная там. — Он махнул рукой в сторону другой двери. — Как думаешь, успеешь умыться и причесаться за пять минут?

Себастьян не сомневался, что успеет; пять минут спустя он уже снова спустился в холл. Полуоткрытая дверь манила. Он вошел и понял, что попал в гостиную. Легкий аромат смеси из сухих цветочных листьев витал в воздухе, а свет люстр, свисавших с кессонов потолка, отражался от многочисленных витых деталей обстановки, от фарфоровых и серебряных поверхностей, точеного дерева, скульптур из бронзы и слоновой кости. Крупные, обитые глянцевым ситцем кресла и диваны чередовались с искусно отделанной и ярко раскрашенной, но неудобной венецианской мебелью восемнадцатого века. Под ногами лежал желтый китайский ковер, словно освещая пол мягкими лучами вечного солнца. Рамы картин на стенах открывали двери, ведущие во все новые иные миры. Первый, в который он вгляделся, оказался странной пестрой вселенной, казалось бы наполненной жизнью, но в то же время необычайно статичной, застывшей в величавом покое — этот мир состоял из бесчисленных точек, нанесенных чистыми красками; мужчины в нем носили цилиндры, а турнюры дам выглядели монументальными, как из египетского гранита. Рядом открывался вид на мир Венеции, где группа леди в гондоле отражалась розовыми атласными нарядами в хорошо сочетавшейся с ними ониксового оттенка воде Большого канала. А там, над каминной полкой, в безумном чередовании света свечей и коричневых маслянистых теней группа монахов с вытянутыми лицами сидела за трапезой под сводами собора...

Голос дяди вернул его к реальности:

— А, вижу, ты уже открыл для себя моего маленького Маньяско! — Юстас подошел и взял его за руку. — Любопытно, правда?

Но, не дав мальчику ответить, снова заговорил сам:

— А теперь тебе стоит пойти и посмотреть, чем я занимался вчера. — Он повел его за собой. — Здесь.

Он указал, куда смотреть. В сводчатой нише был установлен столик из черного папье-маше, расписанный золочеными завитушками и инкрустированный перламутром. На нем возвышался букет из восковых цветов, накрытых прозрачным стеклянным колоколом, и высокая цилиндрическая коробка с чучелами певчих птиц. На стене между и чуть выше этих двух предметов висела небольшая картина четырнадцатого века, на которой молодые люди с коротко постриженными волосами и с кожаными нашлепками на брюках в районе промежности осыпали стрелами святого Себастьяна, привязанного к цветущей яблоне.

— Твой тезка, — сказал Юстас. — Но для меня подлинный смысл в том, что я нашел применение малым примитивистам. Ясно же, насколько абсурдно воспринимать подобную мазню как серьезное произведение искусства. Но, с другой стороны, в этой мазне есть свое очарование; избавляться от нее тоже не хочется. И вот, пожалуйста, выход из положения. В смеси с серединой Викторианской эпохи! Получается вкуснейший с виду салат. А теперь, дорогой мой, пора и нам самим поесть. Столовая в той стороне. Туда надо пройти через библиотеку.

И они двинулись в том направлении. Из-за двери в противоположном конце туннеля, образованного книжными шкафами, доносился хриплый надтреснутый голос, сопровождаемый звяканьем серебра и фарфора.

— А вот наконец и мы! — весело объявил Юстас, открыв дверь.

Обряженная в синее со стальным отливом вечернее платье с семью нитками жемчуга, обвивавшими мумифицированную шею, Королева-мать слепо повела головой на голос.

— Тебе известны мои привычки, Юстас, — сказала она голосом призрака армейского сержанта. — Мы никогда не начинаем ужинать позже семи сорока пяти. И никого не ждем, — повторила она с нажимом. — И теперь мы уже почти закончили.

— Еще фруктов? — тихо спросила миссис Твейл, вкладывая в руку старухи вилку с нанизанной на нее четвертинкой очищенной груши. Миссис Гэмбл откусила кусочек.

— Где мальчик? — спросила она с набитым ртом.

— Здесь.

Себастьяна чуть подтолкнули вперед, и он с опаской пожал унизанные драгоценными камнями когти, протянутые ему навстречу.

— Я знала твою мать, — проскрежетала миссис Гэмбл. — Красивая, очень красивая. Но дурно воспитанная. Надеюсь, тебя воспитали лучше.

Она доела остатки груши и положила вилку на тарелку.

Себастьян покраснел до корней волос и издал звук, в котором неразборчиво выразил надежду, что так оно и есть.

— Говори громче, — резко сказала миссис Гэмбл. — Чего я терпеть не могу, так это невнятного бормотания. А в наши дни вся молодежь только и делает, что мямлит. Вероника?

— Слушаю вас, миссис Гэмбл.

— Да, кстати, юноша, это — миссис Твейл.

Себастьян переместился в облако духов и, подняв сконфуженный взгляд от складок подола голубино-серого платья, чуть не вскрикнул от того, что увидел. Правильный овал лица в обрамлении гладких темных волос — это была Мэри Эсдейл.

— Рада познакомиться, Себастьян.

Они пожали друг другу руки.

Только в глазах заметил он различие между своей фантазией и ее земным воплощением. Мэри Эсдейл его грез неизменно опускала взгляд, когда он смотрел на нее. И каким уверенным был его собственный воображаемый взор, каким твердым и властным! Как у отца. Но это была уже не мечта, а реальность. И в реальной жизни он оставался по-прежнему застенчив, а эти темные глаза сейчас в упор, чуть иронично осматривали его, от чего ему сделалось до крайности неуютно. Он сморгнул и вынужден был отвести взгляд в сторону.

— Уж ты-то в совершенстве владеешь языком английских монархов, Вероника, — продолжала скрипеть миссис Гэмбл. — Преподай ему несколько уроков, пока он гостит у нас.

— Ничто не доставит мне большего удовольствия, — сказала Вероника Твейл таким тоном, словно зачитывала абзац из руководства по викторианскому этикету. Она снова вгляделась в лицо Себастьяну, уголки ее красивой лепки губ чуть изогнулись в едва заметной улыбке. Затем она отвернулась и принялась чистить оставшуюся часть груши для миссис Гэмбл.

— Дайте же бедному мальчику спокойно поесть, — сказал Юстас, который давно сел на место и уже почти закончил свой суп.

Благодарный Себастьян отошел к отведенному ему стулу.

— Мне следовало предупредить тебя о нашей Королеве-матери, — продолжал Юстас жизнерадостно. — Она кусается еще хуже, чем лает.

— Юстас! Никогда не слышала прежде подобных дерзостей!

— Это потому, что вы никогда не прислушиваетесь к собственным словам, — парировал он.

Старая леди возмущенно фыркнула и погрузила вставные зубы в следующий кусочек груши. Сок побежал по ее подбородку и закапал на бутоньерку с каттлеями, приколотую к корсажу.

— Что касается миссис Вероники Твейл, — продолжал Юстас, — то эту молодую женщину я знаю слишком мало, чтобы дать тебе какой-либо совет относительно поведения с ней. Тебе придется приспосабливаться самому, когда она начнет давать тебе уроки речи. Вам нравится давать уроки, миссис Твейл?

— Это зависит от способностей и восприимчивости ученика, — серьезно и даже несколько мрачно ответила она.

— И как на ваш взгляд, наш мальчик выглядит достаточно умным?

Себастьяну снова захотелось ускользнуть из-под пристально изучающего взгляда этих темных глаз. Но она была так красива в своем сером платье, кожа ее шеи поражала гладкой белизной мраморной колонны, а вот грудь казалась не слишком объемной.

— Весьма, — сказала миссис Твейл после паузы. — Но, разумеется, — добавила она, — когда речь идет об исправлении бормотания, ни в чем нельзя быть уверенной. Бормотание — предмет довольно-таки трудный, вы не находите?

И прежде чем Юстас успел ответить, она издала типичный для нее чуть сдавленный и краткий смешок. Но он действительно длился мгновение, а потом на ее лицо вернулось величавое выражение мраморной скульптуры. Аккуратными движениями она начала снимать кожуру с мандарина.

Миссис Гэмбл повернулась в сторону своего зятя.

— Сегодня днем ко мне заходил мистер де Вриз. Так что мне известно о вашем с ним совместном обеде.

— «От кого невозможно ничего утаить», — процитировал слова молитвы Юстас.

Миссис Твейл вскинула ресницы, чтобы бросить на него быстрый взгляд сообщницы, а потом снова уперла глаза в тарелку.

— Это очень поучительный образчик современного молодого человека, — продолжал он.

— Мне он нравится, — произнесла Королева-мать с некоторым вызовом.

— А он так просто без ума от вас, — сказал Юстас с почти откровенной иронией. — Любопытно, однако, как у вас обстоят дела с вашим Эйнштейном, миссис Твейл?

— Я стараюсь, — ответила она, не поднимая глаз.

— Держу пари, что стараетесь, — сказал Юстас, подпустив игривости в свой тон.

Миссис Твейл посмотрела на него, но на этот раз в ее взгляде не читалось ни признака общности, ни намека на понимание юмора — только каменная холодность. Юстас тактично сменил тему разговора.

— Сегодня у меня состоялась продолжительная беседа с Лауриной Аччьяиулоли, — сообщил он, снова обращаясь к миссис Гэмбл.

— Что? Разве она еще не покинула нас? — Голос Королевы-матери звучал разочарованно, чуть ли не огорченно. — Мне казалось, что эта женщина смертельно больна, — добавила она.

— По всей видимости, ее болезнь не так уж страшна, — сказал Юстас.

— Да, порой они мучаются долгие годы, — прохрипела миссис Гэмбл. — Ваша матушка покинула этот мир уже давно, не так ли, Себастьян?

— В тысяча девятьсот двадцать первом году.

— Что? — почти вскрикнула она. — Когда? Вы снова мямлите.

— В тысяча девятьсот двадцать первом году, — повторил он громче.

— Нет нужды так орать, — пролаял призрак старшего сержанта. — Я не глухая. Вы связывались с ней с тех пор?

— Связывался? — переспросил он ошеломленно.

— Через медиума, — пояснил Юстас.

— О, теперь понятно. Нет. Не связывался. Даже не пытался.

— Не по религиозным соображениям, я надеюсь?

Юстас громко рассмеялся.

— Какой нелепый вопрос!

— Он вовсе не нелепый, — огрызнулась Королева-мать. — Например, я знаю, что моя собственная внучка возражает против этого именно на религиозной почве. А все из-за вашего отца, Вероника.

Миссис Твейл принесла за каноника извинения.

— В этом нет вашей вины, — произнесла Королева-мать великодушно. — Но Дэйзи идиотка, что слушается его. Осталась одна, потеряв и мужа, и единственного ребенка, но ничего не хочет предпринять. Мне просто больно от этого.

Она отодвинула свой стул и поднялась.

— Теперь мы поднимемся наверх, — сказала она. — Доброй ночи, Юстас.

Поскольку видеть его она не могла, Юстас не потрудился встать тоже.

— И вам спокойной ночи, Королева-мать, — ответил он.

— А вы, юноша, начнете исправлять свое бормотание уже завтра. Понятно? Нам пора, Вероника.

## XII

Миссис Твейл взяла старуху за руку и повела к двери, которую поспешил распахнуть для них Себастьян. Когда она проходила мимо, ему в нос ударил сладкий запах ее духов — сладкий, но одновременно какой-то животный, как если бы каплю пота кто-то извращенно смешал с ароматом гардении и сандалового дерева. Он закрыл дверь и вернулся на свое место.

— Занятно посидеть с нашей Королевой-матерью, — заметил Юстас, — но почему-то всегда испытываешь облегчение, когда она уходит. Большинству людей трудно выдерживать ее больше пяти минут кряду. Но вот эта маленькая миссис Твейл, это нечто... Какой-то музейный экспонат.

Он прервался, чтобы возмутиться при виде того, какой маленький кусочек морского языка положил себе в тарелку Себастьян. Рецепт из ресторана «Три фазана» в Пуатье. Ему пришлось подкупить шеф-повара, чтобы добыть его. Себастьян послушно взял еще порцию. Дворецкий встал теперь во главе стола.

— Да, просто музейный экспонат, — повторил Юстас. — Будь я лет на двадцать пять помоложе, или будь ты лет на пять постарше... Впрочем, я забыл, что лет тебе уже вполне достаточно, верно?

Он просиял улыбкой, полной многозначительности. Себастьяну пришлось приложить немалые усилия, чтобы улыбнуться в ответ.

— Verb. sap.[[43]](#footnote-43), — продолжал Юстас. — И никогда не откладывай на завтра удовольствие, которым можешь насладиться уже сегодня.

Себастьян промолчал. Его удовольствия, думал он с горечью, сводились лишь к фантазиям. А когда он сталкивался с реальностью, то просто пугался ее. Разве не мог он хотя бы раз посмотреть этой женщине прямо в глаза?

Вытерев остатки соуса со своих крупных обвислых губ, Юстас выпил немного шампанского, которым тут же снова наполнили его бокал.

— Родерер урожая тысяча девятьсот шестнадцатого года, — сказал он. — Мне оно действительно по вкусу.

Разыгрывая из себя знатока и ценителя вин, Себастьян сделал сначала два небольших глотка, а потом влил в себя сразу половину содержимого бокала. На вкус, отметил он, это напоминало яблоко, очищенное железным ножом.

— Чертовски хорошо, — сказал он. Потом, припомнив мысль, посетившую его в классе Сьюзен, добавил: — Это... Это как музыка Скарлатти для клавесина. — Он почти выдавил слова из себя и покраснел, настолько неестественно прозвучала фраза.

Но Юстаса подобное сравнение привело в восторг.

— Я очень рад, — сказал он, — что ты не берешь пример со своего отца. Это равнодушие к утонченным радостям жизни меня просто шокирует. Чистый кальвинизм, и больше ничего. Причем кальвинизм, даже не оправданный религиозной догмой.

Он доел остатки уже второй порции рыбы и, откинувшись на спинку стула, с удовольствием стал разглядывать красиво накрытый стол, мебель эпохи Империи, пейзаж работы Доменикино над каминной полкой, коз в натуральную величину, выточенных Розе да Тиволи под боковые стойки очага, двоих слуг, трудившихся с бесшумной точностью фокусников.

— Нет, Кальвин не для меня, — продолжал он. — Всегда предпочитал католицизм. Отца Веселило за его кадило, отца Болталгио за его литургию. Их обряды так занимательны! Право слово, если бы они еще не примешивали ко всему христианство, я бы уже завтра обратился в католика.

Он склонился вперед и с неожиданной ловкостью и умением выстроил изящный натюрморт из фруктов, остававшихся в серебряной вазе между подсвечниками.

— Величие святости, — сказал он, — почти красота святости. Меня порадовали эти слова в твоем стихотворении. Но только помни, что они применимы далеко не только к церквям. Вот, так-то лучше. — Он уложил на место гроздь парникового винограда и снова откинулся на стуле. — Когда-то у меня служил милый старый дворецкий. Я даже не надеюсь найти ему равноценную замену, — он вздохнул и покачал головой. — Этот человек умел устраивать обеды, сравнимые по торжественной красоте с праздничной мессой в храме Святой Магдалины.

За рыбой последовал цыпленок в сливочном соусе. Юстас немного отвлекся на краткое рассуждение о трюфелях, а потом вернулся к величию святости, что привело его к теме жизни как формы изящного искусства.

— Но это непризнанное искусство, — пожаловался он. — Его истинных мастеров никто не ценит. Наоборот, их принижают как бездельников и тунеядцев. Все моральные кодексы всегда составлялись людьми, подобными твоему отцу — или, в лучшем случае, похожими на Бруно. Таким, как я, не дозволялось хотя бы оставить свои замечания на полях. А когда нам удавалось сказать свое слово — как это случилось пару раз в восемнадцатом столетии, — никто не воспринимал наших замечаний всерьез. А между тем мы творим куда как меньше безобразий, чем другие. Мы не развязываем войн, не устраиваем альбигойских крестовых походов или коммунистических революций. «Живи и дай жить другим» — вот наш девиз. В то время как их кредо — «Умри и призывай умирать других». Отдай свою жизнь во имя идиотского якобы правого дела или убей сам любого, кто с тобой не согласен. Благими намерениями не только вымощена дорога в ад. Он весь из них построен от стен и до крыши. Да и меблирован ими же.

Себастьяну после второго бокала шампанского это замечание показалось особенно смешным, и он захихикал, а потом смутился, громко рыгнув. Эта штука оказалась похуже имбирного пива.

— Ты, конечно, слышал лимерик про престарелого моравца?

— Вы о том, который потерял веру?

Юстас кивнул.

Раз один престарелый моравец

Веру в Бога утратил, мерзавец,

И всем нам не в пример культ хороших манер

Основал этот самый моравец.

Здесь же прямой намек на конфуцианство! Причем, заметь, он его основал, но не возглавил, потому что ему просто хотелось получать удовольствие от хороших манер. Чистое конфуцианство! Но, к сожалению, в Китае слишком много буддистов и таоистов, не говоря уже о мелких, но кровожадных феодалах. Людей с грубым, необузданным темпераментом. Жуткие люди от Наполеона до Паскаля. «Жил один коротышка на Корсике...», который не верил ни во что, кроме жажды власти. И «Был однажды мудрец в Пор-Рояле...», который замучил себя верой в бога Авраама и Исаака, а не всяких там философов. С такими типами у престарелого моравца ни хрена бы не получилось. Они не дали бы ему ни шанса. Ни в Китае, как и нигде больше.

Он сделал паузу, чтобы полакомиться шоколадным суфле.

— Если бы мне только хватило познаний и энергии, — продолжал он, — я бы написал книгу о всемирной истории. Но рассуждал бы в ней не о политике, экономике, географии или климате. Потому что не это главное. Я бы взглянул на мир с точки зрения человеческих темпераментов. Трех главнейших из них — старичка из Моравии, мудреца из Пор-Рояля и коротышки с Корсики.

Юстас снова прервался, чтобы попросить сливок, и возобновил монолог. Христос, конечно, относился к классу мудрецов Пор-Рояля. Как Будда и индуистские святые. И Лао-цзы туда же. А вот в Магомете уже заключалось многое от корсиканского коротышки. Что можно с полным правом утверждать почти обо всех христианских святых и мыслителях. И мы имели море насилия и грабежей со стороны неотесанных новообращенных, уверовавших в теологию, придуманную интровертами. А бедного престарелого моравца шпынял и обворовывал всякий, кому не лень. За исключением, быть может, племени индейцев пуэбло, нигде в мире еще не существовало общества, основанного на законах моравца — общества, где считалось бы дурной манерой лелеять в себе властные амбиции, создавать персональную религию, а попытки возглавить политическое движение приравнивались бы к преступлению. Где истинной добродетелью стала бы жизнь в мире и покое. Но за пределами владений Зуньи и Таоса наши старички-моравцы могут довольствоваться только различными формами протеста, перегораживая дороги, устраивая сидячие забастовки на своих толстых задницах, отказываясь двигаться, пока их не уберут насильно. Конфуций добился наилучших результатов, примиряя ярость корсиканцев и ненависть пор-роялистов. А на Западе такой личностью стал Эпикур. От Боккаччо, Рабле и Филдинга отмахнулись, как от докучливых писак, а Бентама или Джона Стюарта Милля так уж и вовсе никто не читал. Кстати, с недавних пор мудрецы из Пор-Рояля подвергаются тем же нападкам, что и старики из Моравии. Перестали читать не только Бентама, но даже Кемписа. Традиционное христианство находится в процессе такой же дискредитации, как эпикурейство. Философия действия ради самого действия, власти во имя власти стала господствующей и считается единственно правильной. «Ты победил, о пронырливый Бэббит!»[[44]](#footnote-44)

— А теперь, — заключил он, — давай перейдем туда, где можно выпить кофе в более комфортной обстановке.

Двигаясь осторожно и неторопливо в хрупком мире уже начинавшего овладевать им опьянения, Себастьян последовал за дядей в гостиную.

— Нет, спасибо, — вежливо отклонил он предложение сигары, еще более крупной и темной, чем те, у доктора Пфайффера.

— Тогда возьми сигарету, — сказал Юстас, сам раскуривая «гавану». Его влажные и любовно вытянутые губы сомкнулись вокруг объекта вожделения. Он втянул огонь из небольшого серебряного подсвечника, и мгновение спустя кормящая грудь выделила ароматное молоко, наполнив его рот дымом. Юстас со вздохом наслаждения выпустил его. Вкус табака казался все таким же новым, таким же изысканным, таким же откровением, каким воспринимался, когда он был еще совсем молодым человеком. Складывалось впечатление, что его вкусовые рецепторы остались нетронутыми прежде и впервые приобщались к невероятному удовольствию.

— Тебе стоит поспешить, — сказал он, — и приобщиться к привычке курить сигары. В них заключено подлинное счастье. И притом куда как более продолжительное, чем любовь, требующее значительно меньших расходов и не такое эмоционально утомительное и опустошающее. Хотя, разумеется, — добавил он, вспомнив Мими, — даже любовь можно существенно упростить. Весьма существенно.

Юстас с чувством взял Себастьяна за руку.

— Но ты не видел еще самого ценного экспоната моей коллекции.

Он провел его через комнату и включил дополнительный свет. При ярком освещении на одной из стен вдруг ожил бесподобный фрагмент мифологии. На зеленой опушке леса, где в отдалении виднелась синева Средиземного моря с парой островков рядом с берегом, спал Адонис в окружении своих тоже спавших гончих псов. Над ним склонилась светловолосая и пылающая любовным жаром Венера, собираясь сдернуть расшитое золотом тончайшее покрывало, которое скрывало его наготу, а на переднем плане Купидон игриво целил в ее левую грудь стрелой, позаимствованной из колчана молодого охотника.

«Сплетаются в совокупленье боги», — мысленно напомнил себе Себастьян, глядя на завораживавшую картину. И остальная часть фразы вернулась к нему. «В своей невинности святой сплетаются в совокупленье боги». Но что делало именно эту сцену божественной любви такой особенно привлекательной, так это оттенок иронии, легкий намек (два белых кролика в левом углу полотна, стайка снегирей среди ветвей деревьев, три пеликана и кентавр, различимый на самом морском берегу), что все происходящее по сути своей абсурдно.

— Подлинная любовь, — заметил Юстас, — редко выглядит настолько красиво, как ее вообразил себе здесь Пьеро ди Козимо.

Он повернулся и принялся разворачивать рисунки, купленные утром у Вейля.

— Гораздо больше сходства с реальностью у Дега. — Он подал Себастьяну эскиз с женщиной, сушившей себе волосы сзади полотенцем.

— Когда тебя впервые соблазнят, — сказал он, — это будет скорее вот такая женщина, нежели подобная той. — Он мотнул головой в сторону полотна Пьеро ди Козимо.

Из глубин своего помутненного шампанским мирка Себастьян отозвался хихиканьем.

— Впрочем, тебя, быть может, уже соблазнили? — Вопрос Юстаса прозвучал с шутливым подвохом. — Но это не моего ума дело, — добавил он, когда Себастьян снова хихикнул и покраснел. — Позволь мне тем не менее дать тебе три важных совета. Помни, что твой талант важнее любых забав, которые откроются перед тобой. И еще: услады с женщинами могут зачастую оказаться не только ниже твоего дара, но даже не принести особой радости. Последнее: если с тобой это случится, единственно правильной стратегией будет немедленно сбежать.

Он налил понемногу бренди в два невероятных размеров бокала, которые принесли специально, бросил кусочек сахара в одну из чашек с кофе и тяжело опустился на софу, сделав юноше знак присесть рядом.

Жестом знатока Себастьян взболтал жидкость в бокале и отхлебнул немного. Вкус и запах показались ему похожими на метиловый спирт. Он положил кубик сахара в свой кофе и запил им бренди, как сделал бы после дозы хинина. Затем он снова посмотрел на рисунок.

— Что равносильно этому в поэзии? — задумчиво спросил он. — Вийон? — Он помотал головой. — Нет. Здесь нет трагизма. Донн подошел бы лучше, но только он был сатириком, а этот художник сатире чужд.

— А Свифт, — вставил ремарку Юстас, — не умел передавать красоту жертв своего пера. Изумительные контуры женских ягодиц, аппетитную зелень и пурпур в цвете лица школьницы — Свифт сам не видел таких вещей, не говоря уже о том, чтобы передать свое видение нам.

Они вместе рассмеялись. Юстас одним глотком допил остатки своего бренди и налил себе еще.

— А что скажете о Чосере? — спросил Себастьян, поднимая голову после еще одного взгляда на рисунок.

— В самую точку! — радостно воскликнул Юстас. — Ты абсолютно прав! Он и Дега... Эти двое знали один и тот же секрет — тайну красоты в уродстве, — и понимали смехотворность святости. А теперь вообрази, что у тебя есть выбор, — продолжал он. — «Божественная комедия» или «Кентерберийские рассказы». Что бы ты предпочел написать? — И, не дав Себастьяну открыть рот, ответил сам: — Я бы хотел стать автором «Кентерберийских рассказов». О, вне всякого сомнения! И если говорить о личности, насколько же предпочтительнее было бы оказаться в роли Чосера! Прожить сорок мрачных лет после Черной смерти и лишь однажды удостоить ее упоминанием во всех своих сочинениях — да и то в юмористическом ключе! Быть важным чиновником и дипломатом, но не считать сей факт своим достоинством, о котором следовало бы написать! В то время как Данте должен был с головой погрузиться в партийную политическую междоусобицу, а поставив не на ту лошадку, провести остаток жизни в озлобленности на весь свет и в жалости к себе самому. Мстить политическим оппонентам, помещая их в ад, а друзей вознаграждая посулами благополучного прохода через чистилище в райские кущи. Что может быть глупее и даже подлее? И не будь он вторым по своему величию виртуозом поэтического языка всех времен и народов, о нем никто и слова доброго не сказал бы.

Себастьян расхохотался и закивал в знак согласия. Воздействие алкоголя и тот факт, что дядя воспринимал его всерьез, с уважением прислушивался к его мнениям, наполнили его ощущением полнейшего счастья. Он отхлебнул еще немного бренди, а когда снимал сахаром его привкус во рту, снова вгляделся в изображение женщины с полотенцем, выполненное углем на листе плотной бумаги. Веселое возбуждение ускорило работу его ума, и в считаные секунды у него родилось четверостишье. Достав карандаш и блокнот, он принялся записывать его.

— Что ты делаешь?

Себастьян ничего не ответил, а вырвал из блокнота листок и подал его дяде. Юстас вставил в глаз монокль и громко прочитал:

Чтобы творить, иные любят

Призвать в соавторы поэтов и Христа.

Дега ж был нужен только уголь,

Округлый зад и грудь простая.

Юстас шлепнул Себастьяна ладонью по коленке.

— Браво! — воскликнул он. — Браво!

Он повторил последнюю строку и зашелся в смехе до такой степени, что закашлялся.

— Мы с тобой поменяемся, — сказал он, когда приступ утих и можно было смягчить горло еще глотками кофе и бренди. — Я заберу себе твое стихотворение, а тебе достанется рисунок.

— Мне?

Юстас кивнул. Ему доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие делать добро тем, кто реагировал на него с таким простодушным удивлением и восторгом в голосе.

— Ты привезешь его в Оксфорд, когда поедешь туда учиться. Подлинник Дега над каминной полкой — это придаст тебе больше престижа, чем участие в университетской восьмерке гребцов во время ежегодной регаты. Но что важнее, — добавил он, — я вижу, что ты будешь любить эту вещь саму по себе, независимо от ее материальной ценности.

Он вдруг поймал себя на мысли, что никогда бы не сказал ничего подобного о своей падчерице. Все его имущество находилось только лишь в пожизненном пользовании. А после смерти наследницей становилась Дэйзи Окэм. Не только денег и акций, но и этого дома со всем содержимым: мебелью, коврами, фарфором и... Да, и даже с произведениями искусства. С его нелепым маленьким святым Себастьяном, с двумя милейшими вещицами Гварди, с его Маньяско и Сера, с его Венерой и Адонисом. Уж эту картину Дэйзи точно сочтет слишком непристойной для того, чтобы повесить в своей гостиной. Не дай бог, девочки из ее благотворительной организации увидят такое и начнут забивать себе головы всяким вздором! А еще хуже, если она притащит их сюда. Толпа девиц, которым всего ничего осталось до полового созревания, с бледными прыщавыми мордочками будет слоняться по дому и бездумно хихикать над всем, что увидит. Сама по себе эта мысль представлялась тошнотворной. Но в конце концов, напомнил себе Юстас, он сам уже всего этого не застанет. Испытывать дурные предчувствия заранее, не имея на то особых причин, было просто глупо. Так же глупо, как думать о смерти вообще. С чего же ему беспокоиться? Особенно если учесть, сколько он делал для того, чтобы отсрочить это событие. Выкуривал всего одну божественную «Ромео и Джульетту» в день, выпивал всего бокал бренди после ужина... Нет, он уже выпил два. А сейчас как раз подносил к губам бокал с третьей порцией. А, к черту! Главное, проследить, чтобы это не повторялось в будущем. Сегодня он праздновал приезд Себастьяна. Не каждый день доводилось ему принимать в своих стенах юные дарования. Он отпил из бокала и прополоскал огненной жидкостью полость рта. Где-то на кончике языка находилась та вкусовая точка, где бренди вступал в абсолютно неподражаемое сочетание ароматов с дымом сигары.

Он повернулся к Себастьяну:

— Дорого был дал, чтобы узнать твои мысли.

Тот рассмеялся с оттенком легкого смущения и ответил, что его мысли не стоили слишком дорого. Но Юстас настаивал.

— Что ж, прежде всего, — сказал Себастьян, — я думал о том, как... Как необыкновенно вы ко мне добры.

Это было не совсем правдой, потому что мысли его в большей степени занимали дары, нежели тот, кто их ему преподносил.

— Ну, и конечно, — поспешил продолжить он, поняв, как всегда, с некоторым запозданием, что преждевременная благодарность всегда звучит несколько неубедительно, — я думал о том, что стану делать, когда у меня появится настоящий вечерний костюм.

— Например, поведешь всех девиц из кордебалета «Гэйети» ужинать в «Чиро»?

Вынужденный признаться, что видел прекрасные сны наяву, Себастьян залился краской. Он воображал себя в ресторане «Савой», но, конечно, не с танцовщицами из «Гэйети», но определенно с двумя девицами, которые непременно примут участие в вечеринке Тома Бовени. Впрочем, их образы скоро слились в один — и это была миссис Твейл.

— Я прав?

— Нет... То есть не совсем, — ответил Себастьян.

— Не совсем, — повторил Юстас с добродушной иронией. — Но ты ведь, разумеется, понимаешь, — добавил он, — что тебя всегда будут подстерегать разочарования?

— В чем?

— В девушках, в вечеринках, в жизненном опыте, если брать его в целом. Ни один человек, наделенный творческой фантазией, просто не может не испытать разочарования при столкновении с реальностью. Когда я был молод, меня всегда повергало в тоску, что я не обладаю никаким подлинным талантом — я мог похвастаться только недурным вкусом и отчасти умом. Но сейчас я уже не уверен, так ли это было плохо. Вот люди, подобные тебе, действительно не вписываются в тот мир, который их окружает. В то время как типы вроде меня быстро и полностью адаптируются к нему.

Он вынул соску из угла влажного рта и отхлебнул еще бренди.

— Твое призвание не в том, чтобы работать, — заговорил он опять. — Оно даже не в том, чтобы просто жить. Ты должен писать стихи. Vox et praeteria nihil[[45]](#footnote-45) — вот что ты такое и чем обязан быть. Или даже скорее здесь уместнее voces, чем vox. Всеми голосами мира. Как Чосер, как Шекспир. Голосом Миллера и голосом Парсона, Дездемоны и Калибана, Кента и Полония. Ими всеми, без выбора и пристрастий.

— Без пристрастий, — медленно повторил Себастьян.

Да, это хорошо. Именно так он и хотел бы воспринимать себя самого, но только ему пока не удавалось, потому что подобные мысли не вписывались в этические и философские модели, которые воспитанием были заложены в него как аксиомы. Голоса. Все голоса без выбора и пристрастий. Эта идея определенно нравилась ему.

— Разумеется, — говорил тем временем Юстас, — ты всегда можешь возразить, что уже сейчас живешь более интенсивной жизнью в мире своих фантазий, чем мы, барахтающиеся по поверхности реальности. И здесь я буду готов с тобой согласиться. Проблема, однако, заключается в том, что ты не можешь быть вечно доволен своим красивым эрзацем. Тебе приходится снисходить до вечернего костюма, до «Чиро», до девочек из кордебалета — а потом, вероятно, даже дойдет до политики и участия в собраниях каких-нибудь комитетов. Боже, спаси и сохрани! Потому что это приведет к плачевным результатам. Ведь ты не будешь чувствовать себя уютно среди этих грубых материй. Они уже сейчас повергают тебя в депрессию, ошеломляют, шокируют и словно издеваются над тобой. Но они манят тебя к себе и продолжат манить всю жизнь. Склонять тебя к поступкам, которые ты станешь совершать, заранее зная, что они принесут тебе только горе, отвлекут от главного дела жизни, от твоего истинного дара, за который люди только и будут ценить тебя.

Слышать, как о тебе отзывались подобным образом, было интересно, но как раз к этому моменту возбуждающее воздействие алкоголя стало иссякать, и Себастьян вдруг почувствовал, что им овладевает что-то вроде ступора, в котором терялись мысли о поэзии, голосах, вечернем костюме. Он тайком зевнул. Слова дяди доходили до него, как сквозь туман, который то сгущался, то несколько рассеивался, позволяя смыслу проникать в его сознание, но лишь на время, а затем снова стирая все.

— ...Fascinatio nugacitatis[[46]](#footnote-46), — говорил Юстас. — В английском переводе апокрифов это приобрело иной смысл. Но как чудесно это звучит в латинской версии Священного Писания! Магия тривиальности — то есть колдовское воздействие пустяков. Как же хорошо оно мне знакомо! И каким пугающе сильным оно бывает! Пустяки ради пустяков. Но существует ли альтернатива? Каков выход? Стать коротышкой с Корсики или обратиться к одной из жутких форм религиозного фанатизма?

Мозг Себастьяна снова заволокло тьмой, ступор разнообразили только легкое головокружение и приступы тошноты. Ему сейчас больше всего хотелось оказаться в постели. Отчетливо и серебристо часы отбили полчаса.

— Половина одиннадцатого, — объявил Юстас. — Время, время и еще половинка времени. У невинности и красоты нет врагов злее, чем время. — Он громко отрыгнул. — Именно за это я так люблю шампанское — оно оказывает на человека столь поэтическое воздействие. Все пятьдесят лет бессистемного чтения поднимаются отрыжкой на поверхность. O lente, lente currite, noctis equi![[47]](#footnote-47)

O lente, lente... Как на похоронах, черные лошади медленно двигались сквозь туман. И Себастьян вдруг понял, что подбородком уперся себе в грудь. Он вздрогнул и очнулся.

— Вера! — продолжал говорить его дядя. — Они никак не могут обойтись без веры. Им вечно необходим некий бессмысленный идеал, который заслонил бы их от реальности и заставил бы вести себя как полоумных. И посмотрите на уроки нашей истории! — Он глотнул еще бренди и сделал глубокую затяжку сигарой. — Сначала они верят в единого Бога, а не в троицу Газообразных Позвоночных. Только в одного. А что потом? У них появляется папа, священная курия, Кальвин и Джон Нокс. Засим начинаются религиозные войны. Но вот Бог им надоедает, а войны и бойни теперь разгораются во имя гуманизма. Гуманизма и прогресса, прогресса и гуманизма. Между прочим, ты читал «Бувара и Пекюше»?

С некоторой задержкой Себастьян очнулся от комы, чтобы успеть сказать «нет».

— Какая книга! — воскликнул Юстас. — Бесспорно, лучшее из всего, что создал Флобер. Это одна из величайших философских поэм в мире. И возможно, последняя, которая написана. Прежде всего потому, что после «Бувара и Пекюше» уже нечего больше добавить. Данте и Мильтон просто пытаются оправдать Провидение Господне. А вот Флоберу действительно удалось проникнуть к самому корню проблемы. Он оправдывает провидение Факта. Демонстрирует, как Факты воздействуют не только на людей, но и на Бога тоже. Причем не только на Бога в виде Газообразного Позвоночного, но и на все остальные продукты дебильной человеческой фантазии, куда входит и наш старый добрый друг неизбежный прогресс. Неизбежный прогресс! — повторил он. — Осталась всего одна неизбежная битва, которая приведет к уничтожению капиталистов, или коммунистов, или фашистов, или христиан, или еретиков, — и мы получим его: Золотой Век Будущего. Но надо ли говорить, зная истинную природу вещей, что будущее попросту не может быть золотым? По той простой причине, что никто и ничего не получает даром. За бойни тоже всегда приходилось расплачиваться, а цена такова, что воцарившееся после бойни положение совершенно исключало достижение той цели, ради которой бойня замышлялась. И это относится к любым, самым кровавым революциям. Точно так же приходится расплачиваться за всякое заметное продвижение вперед в техническом или организационном смысле, причем в большинстве случаев дебет примерно совпадает с кредитом. Хотя бывают и исключения, когда баланс не сходится. Так случилось, например, с введением всеобщего образования, с появлением радио или этих треклятых аэропланов. Прогресс стал шагом не вперед, а назад и вниз. Назад и вниз, — повторил он и, вынув изо рта сигару, откинул голову, разразившись продолжительным хриплым смехом. Но затем смех неожиданно оборвался, и крупное лицо исказилось гримасой боли. Юстас приложил ладонь к груди.

— Изжога, — сказал он, мотая головой. — Вот в чем проблема с белым вином. Мне пришлось полностью отказаться от рейнвейна и рислинга, но иногда даже шампанское...

Лицо Юстаса опять скривилось, он закусил губу. Боль постепенно отступила. Не без труда он поднялся со своего удобного места на софе.

— К счастью, — добавил он с улыбкой, — нет почти ничего не подвластного щепотке бикарбоната натрия.

Он сунул свою соску в рот, вышел из гостиной, пересек вестибюль и свернул в короткий коридор, в конце которого располагалась полуподвальная туалетная комната.

Предоставленный самому себе, Себастьян тоже встал, вынул пробку из бутылки бренди и слил обратно то, что еще оставалось в его бокале. Потом он выпил содовой воды и почувствовал себя заметно лучше. Подойдя к одному из окон, он приподнял гардину и выглянул наружу. Ярко сияла луна. На фоне неба кипарисы возвышались черными плотными обелисками. Ниже стояли на пьедесталах бледные, вечно жестикулирующие статуи, а еще гораздо дальше и совсем уже внизу сияла ночными огнями Флоренция. Вне всякого сомнения, в этом городе существовали свои трущобы, подобные задворкам Кэмден-Тауна, а на углах стояли свои шлюхи в голубом, царили вонь, тупость, отчаяние, приниженность. Но здесь, где сейчас находился он, торжествовали порядок и размеренность, все было исполнено значения и красоты. Это был тот кусочек мира, в каком только и могло жить нормальное человеческое существо.

Внезапно в его сознании мелькнуло чисто интеллектуальное озарение, и он уже твердо знал, какие стихи родятся у него об этом саде. Пока не в виде законченных фраз, отдельных слов или хотя бы поэтического размера — но он почувствовал его будущую основную форму и наполненную жизнью душу. Длинная философская поэма, стихотворные размышления на гране плача или песнопения с интенсивностью чувства, граничащего с чудом. Это продолжалось всего лишь мгновение — уверенность в рождении будущей поэмы, наполнившая его существо необычайным счастьем. А потом все исчезло.

Себастьян позволил гардине задернуться, вернулся к креслу и сел, начав мучительно обдумывать композицию. Две минуты спустя он уже крепко спал.

На подоконнике в туалете стояла пепельница из оникса. Очень бережно, чтобы не нарушить безупречный процесс тления табака, Юстас положил в нее сигару и открыл дверцу небольшого шкафчика для медикаментов, висевшего над раковиной. Он всегда был отлично укомплектован, дабы при возникновении у хозяина в течение дня потребности в любом внутреннем или наружном снадобье ему не приходилось подниматься наверх в свою ванную. И потому, как он любил рассказывать, за последние десять лет он сэкономил на преодолении ступенек расстояние, равное высоте Эвереста.

Из ряда пузырьков на верхней полке он выбрал бикарбонат соды, отвинтил крышку и вытряхнул на ладонь четыре белые таблетки. Он уже ставил склянку на место, когда еще один спазм этой необычной изжоги заставил его подумать об увеличении дозы. Он наполнил стакан и стал глотать таблетки одну за другой, каждый раз запивая глотком воды. Две, три, четыре, пять, шесть... Но тут внезапная боль раскаленной кочергой пронзила ему грудь. У него закружилась голова, и вращающаяся чернота затмила окружающий мир. Шаря вслепую по стенам руками, он опустился и обнаружил гладкую эмаль унитаза. Неуверенно сел на стульчак и почти сразу почувствовал себя намного лучше. Это все, должно быть, та гнусная рыба, подумал он. В рецепт входило слишком много сливок, а он взял себе две порции. Юстас проглотил две последние таблетки, допил воду и потянулся, чтобы поставить пустой стакан на подоконник. И как только его рука оказалась полностью вытянутой, боль вернулась, но это была иная боль. Неописуемым образом она стала не просто острой, но и как будто издевательской, унизительной. В одно мгновение он обнаружил, что не только с трудом дышит, но и объят таким страхом, какого не испытывал никогда прежде. Причем несколько секунд ужас на первый взгляд казался невесть откуда взявшимся и беспричинным. Но затем боль прострелила его под левую руку — отвратительная тошнотворная боль, как от удара ниже пояса, как от пинка в промежность, и в одно мгновение смутный страх стал осознанным страхом остановки сердца и смерти.

Смерть, смерть, смерть. Он вспомнил, что сказал доктор Берджесс, когда он в последний раз ходил к нему на осмотр. «Старый насос не сможет выдерживать постоянных перегрузок». И его жена — она ведь тоже... Но с ней ничто не случилось внезапно. Это были годы и годы постоянного постельного режима, медсестры, капли строфантина. Если вдуматься, вполне сносное существование. Он ничего не имел бы сейчас против; даже бросил бы курить совсем.

Еще более терзающим приступом боль вернулась. Боль и ужасающий страх смерти.

«Помогите!» — попытался выкрикнуть он. Но издавал только подобие чуть слышного хриплого лая. «Помогите!» Почему никто не идет к нему? Никчемные слуги! И этот чертов мальчишка сидел там, в гостиной, всего лишь по другую сторону вестибюля.

— Себастьян! — но крик выродился не более чем в шепот. — Не дай мне умереть. Не дай мне...

Его дыхание вдруг сделалось похожим на странные каркающие звуки. Ему не хватало воздуха, воздуха. Внезапно вспомнился тот безумный ледник в горах, куда его затащили, когда ему было двенадцать лет. Он задыхался и кашлял среди снегов, сблевал свой завтрак, а его отец и Джон стояли рядом вместе со швейцарцем-проводником, снисходительно посмеиваясь и объясняя, что это всего лишь легкая форма начального приступа горной болезни. Воспоминание улетучилось, и не осталось ничего, кроме каркающего дыхания, борьбы за каждый вдох, давления на глаза, в которых окончательно потемнело, частой шумной пульсации крови в ушах, а боль все усиливалась и усиливалась, словно чья-то безжалостная рука затягивала гайку до тех пор, пока... О Боже! Боже! Вот только кричать не получалось... Пока что-то в нем не треснуло, не надломилось, и он почувствовал внутри явственный разрыв. Новый резкий удар в грудь удвоил страх, заставил подняться на ноги. Юстас сделал три шага к двери и провернул ключ в обратном направлении, но дверь открыть уже не успел. У него подкосились ноги, и он упал. Лицом вниз на плитки пола. Какое-то время продолжал попытки дышать, но это давалось с все большим трудом. Потому что воздуха не было; кругом витал только сигарный дым.

Резко дернувшись, Себастьян очнулся, ощущая, как словно тысячи мелких иголочек колют ему левую ногу. Он огляделся вокруг себя и несколько секунд не мог сообразить, где находится. Потом все стало на свои места — поездка, дядя Юстас и это странное, бередящее душу живое воплощение миссис Эсдейл. Его взгляд упал на рисунок, лежавший на софе там, где дядя оставил его. Себастьян склонился, взял рисунок в руки. «Округлый зад и грудь простая». Подлинник Дега, и дядя Юстас собирался подарить его. И смокинг тоже! Он станет носить его по секрету, пряча где-нибудь, пока не возникнет нужды. В противном случае отец вполне способен отнять вещь. Сьюзен наверняка позволит держать вечерний наряд у себя в комнате. Или даже тетя Элис, потому что в таком деле тетя Элис будет столь же всецело на его стороне, как и сама Сьюзен. Все складывалось удачно: его отец еще не вернется из заграницы, когда Том Бовени устроит свою вечеринку.

Часы на каминной полке издали музыкальное дин-дон, а потом снова — дин-дон, дин-дон. Себастьян поднял взгляд и с удивлением обнаружил, что уже без четверти двенадцать. А ведь дядя Юстас вышел из гостиной чуть позже половины одиннадцатого.

Он вскочил на ноги, подошел к двери и выглянул наружу. Вестибюль был пуст, и во всем доме царила полная тишина.

Очень негромко, боясь разбудить кого-нибудь, Себастьян отважился окликнуть:

— Дядя Юстас!

Ответа не последовало.

Наверное, он поднялся наверх и больше уже не возвращался. А возможно, подумал Себастьян с чувством неловкости, он вернулся, застал его спящим и решил подшутить, оставив на всю ночь в кресле. Да, скорее всего так и произошло. А назавтра Себастьян даже мог не вспомнить, что случилось. Заснуть, свернувшись в кресле, как младенец! Он уже злился на себя, что позволил так легко попасть под воздействие всего двух бокалов шампанского. Единственным утешением служило то, что дядя Юстас не станет обижать его сарказмами. Отпустит пару игривых реплик, вот и все. Опасность состояла лишь в том, что эти реплики услышат другие — этот наводящий страх дьявол в старушечьем обличье и миссис Твейл, а перспектива стать объектом шуток, как дитя малое, в присутствии миссис Твейл представлялась особенно неприятной и унизительной.

Нахмурившись в задумчивости, он начал тереть переносицу, не зная, как поступить. Но поскольку дядя Юстас в такой час едва ли уже спустится вниз, он решил сам отправиться в постель.

Выключив свет в гостиной, он поднялся по лестнице наверх. В спальне он обнаружил, что пока шел ужин, кто-то распаковал его багаж. Застиранная розовая пижама аккуратно лежала поверх великолепной кровати; пластмассовая расческа с тремя отвалившимися зубцами и деревянные щетки для волос обрели свое место и выглядели чужаками среди хрустальных и серебряных вещей на туалетном столике. При виде этого он скорчил гримасу. Что могли подумать о нем слуги? Раздеваясь, он размышлял, сколько придется дать им на чай, когда он будет уезжать.

Было поздно, но он не мог упустить роскошной возможности принять полуночную ванну. Войдя в ванную комнату и, подчиняясь многолетней привычке, заперев за собой дверь, Себастьян открыл кран. Лежа в ласково теплой воде, он думал об освещенном луной саде и стихах, которые собирался написать. Это будет нечто вроде «Аббатства Тинтерн» или той вещицы Шелли о Монблане, но, конечно же, написанное совершенно иначе, в современном стиле. Потому что он использует все ресурсы как поэтического, так и непоэтического свойства; усилит лиризм за счет иронии, а красоту подчеркнет намеком на гротеск. «И чувства в глубине души в смятение приходят» — это, возможно, звучало неплохо в 1800 году, но не сейчас. Для наших дней простовато, излишне самовлюбленно. Теперь чувства, приведенные в смятение, следовало сочетать с описанием тех страхов, которые их в смятение привели. А это, само собой, подразумевало совершенно иной принцип построения стиха. Изменчивый и колеблющийся, чтобы вместить в себя модуляции от божественного минора и сексуального мажора до естественного звучания самых обыденных и даже приниженных звуков. Он усмехнулся, довольный своим маленьким открытием, и вообразил Мэри Эсдейл в том лунном саду. Мэри Эсдэйл среди статуй, таких бледных и особенно выпукло обнаженных на фоне ее черных кружев.

Но почему придуманная Мэри Эсдэйл? Почему не ее оживший вдруг образ, не ее реальное воплощение? Реальное настолько, что это бередило душу, но красивое и отчаянно желанное. А представь себе, что, возможно, миссис Твейл была такой же страстной, как ее воображаемый двойник, такой же бесстыдно похотливой, как Венера на картине дяди Юстаса? Три смешных пеликана и кентавр, но на переднем плане божественно невинное сладострастие, жаждущая совокупления богиня, которая уж точно знала, чего хотела от своего любовника из простых смертных. Какое самозабвение, какое веселье и легкомыслие! И он позволил фантазии присвоить себе роль готового на все Адониса.

## XIII

Боли больше не ощущалось, не было необходимости жадно заглатывать воздух, каменная плитка пола в туалете перестала быть холодной и жесткой.

Все звуки затихли, и сгустился мрак. Но в пустоте и тишине витало некое знание, смутное ощущение.

Знание не имени и ощущение не конкретного человека, не присутствия незримой сущности или каких-то реальных вещей, не воспоминание о прошлом. Не существовало таких понятий, как «здесь» или «там». Места не было вообще. Все протекало в единственном измерении этого понимания бесприютности, неприкаянности, одиночества.

А сознание ощущало только само себя, причем потому, что больше ощущать оказывалось нечего.

Понимание проникало в пустоту, которая одна и могла стать его объектом. Пронизывало темноту все дальше и дальше. Пронизывало тишину. Без конца. Пределы у нее отсутствовали.

Познание охватывало себя, но лишь как зияющую пустотой бескрайнюю бездну внутри другой бескрайней бездны, которая была для самой себя непостижима.

Это было познание настолько полного собственного отсутствия, что не было нехватки более острой или мучительной. А вместе с познанием зарождалась жажда, но жажда того, чего на самом деле не существовало. Поскольку осознавалась лишь пустота, отсутствие всего, отсутствие простое, но абсолютное.

И отсутствие продолжалось неограниченно долго. Растягиваясь в неустроенности. Увеличивая жажду. И это тянулось и тянулось, становясь безумием ненасытности, которая только усиливалась, перетекая в вечности отчаяния.

Вечности ненасытного, безнадежного понимания пустоты внутри пустоты, повсюду, всегда, при наличии только одного измерения...

А потом совершенно неожиданно явилось другое измерение, и вечно тянущееся перестало быть вечным тянувшимся.

В новом измерении осознание пустоты уже узнавало само себя, а оба измерения пересеклись и вступили во взаимодействие друг с другом; пустота, отсутствие всего уже не оставались, как прежде, изолированными, и родилось новое осознание, но только было оно осознанием еще одной пустоты. Осознание своего отсутствия теперь ведало, что осознает себя.

В темной тишине, при полном исчезновении всяких ощущений, нечто начало понимать свое состояние. Сначала очень смутно и с какой-то не поддающейся измерению дистанции. Но постепенно из ничего родилось присутствие некой сущности, которая приблизилась. Более раннее сумрачное понимание прояснилось. И внезапно все осознание сосредоточилось на восприятии света. Света понимания, в котором все только и было постижимо.

И понимание того, что существовала не только пустота, уняло смятение, а жажда нашла в нем утоление.

Место пустоты занял этот свет. Появилось осознание того, что есть некое знание. И понимание, что это знание существует, дало удовлетворение, даже радость.

Да, зарождался восторг от этого знания, от ощущения, что во втором измерении тебя воспринимали тоже, и ты был частью этой ярко сиявшей сущности, становился вплетенной в нее составляющей частью.

И поскольку понимание включалось в этот процесс, вплеталось в него, появлялась возможность идентифицировать себя с ним. Сознание не только само знало о нем, но и само становилось познаваемым.

Знание, но уже не пустота; ослепительное отрицание бытия, но не как лишение, а как благословение.

Но жажда оставалась. Жажда еще большего познания, более глубокого проникновения в полное отрицание существования.

Жажда, но отчасти и утоление этой жажды, благословение. А потом свет усилился, как усилилось и стремление к окончательному удовлетворению жажды, к более интенсивному ощущению благодати.

Благословение и жажда, голод и благодать. И на протяжении ничем не измеримых промежутков времени свет сиял ярче, красота сменялась новой красотой. И радость знания, радость быть познанным только возрастали по мере смены этих всеобъемлющих, взаимно переплетающихся прекрасных образов.

Ярче, ярче в следующих одна за другой вечностях это ощущение тоже трансформировалось потом в вечную радость.

В вечность сияющего познания, в благодать неизменной и достигшей своей кульминации интенсивности. Навсегда, навсегда.

Однако постепенно неизменное стало претерпевать изменения.

Свет еще более усилился. Присутствие сущности стало отдаваться тревогой. Знание утомляло и превращалось в нечто окончательное.

Под напором интенсификации радость понимания, что о тебе знают, удовольствие от участия в этом процессе осознания самого себя прорвали пределы, существовавшие у благодати. Под внутренним давлением эти пределы поддались, и сознание оказалось за их границами в какой-то иной форме существования. В этой форме осознание своей вовлеченности и единения с сияющей сущностью превратилось в ощущение пытки избытком света. В такой изменившейся интерпретации эта сила воспринималась как сила разрушения, направленная изнутри. Сияние сознания стало таким пронизывающе ослепительным, что участие в нем стало невозможным, превышая лимит, очерченный для участвовавшего.

Сущность приближалась, свет становился еще и еще ярче.

И там, где прежде царила вечная благодать, восторжествовало до невозможности долгое чувство дискомфорта, невообразимо длительный период боли; все дольше и дольше, по мере ее усиления переходившей в не менее продолжительную муку. Муку принуждения, муку соучастия, в муку знания, которое оказывалось гораздо обширнее твоих способностей к познанию. Муку оттого, что тебя буквально раздавливало давление чрезмерного света — раздавливало с нараставшей силой до полной невосприимчивости к сиянию. И одновременно муку, причиняемую этой распыляющей мощью удара, шедшего изнутри. Он рассыпал тебя на все более и более мелкие фрагменты, обращал в обычную пыль, в атомы чего-то несуществующего.

И эта пыль вкупе с все возрастающим замутнением воспринимались уже как процесс познания, участие в котором было отвратительным. А если оценить его и признать отталкивающим, то пропадала вся красота и даже намек на реальность.

С роковой неизбежностью сущность приближалась, а свет становился все ярче.

И после каждой новой назойливой вспышки, каждой попытки постороннего знания проникнуть внутрь, разрушительное сияние изнутри тоже повторялось, усугубляя агонию, а пыль и непрозрачность становились источником стыда, признавались через участие в процессе как самая отталкивающая из пустот.

Вечный стыд, потому что позор был не менее вечен, чем боль.

Но свет становился ярче, превращался в неимоверную пытку своей яркостью.

Все окружающее обратилось в свет, кроме этого небольшого сгустка, комка непрозрачного небытия, кроме этих распыленных атомов небытия, которые тем не менее отчетливо осознавали себя как нечто отдельное и темное, а через слияние со светом понимали свою отвратительную и постыдную природу.

Яркость, не имевшая ограничений, но все же превосходившая всякие возможные пределы, белым калением давила снаружи, но еще более разрушительной силы сияние исходило изнутри. А было еще и другое осознание, проникающее повсюду и окончательное; осознание того, что по мере роста освещения извне непрозрачный сгусток становился все позорнее более крупным, разрастаясь во времени, которому ничто не могло положить конца.

Возможности бежать не оставалось, целая вечность невозможности бежать. Но периодами, даже превышавшими по длительности вечность, от одной невероятности до другой, возрастала яркость, доставляла все больше мук и приближала агонию.

Внезапно проявилась новая частичка знания, условное понимание, что если не сливаться с сиянием, муки агонии едва ли не наполовину ослабевали. И уходило восприятие уродства сгустка этой распавшейся материи. Оставалось только ощущение своей отдельности, внутреннее знание, что ты и поток света — не одно и то же.

Несчастная пыль небытия, бедный безвредный комок чего-то уже несуществующего, раздавленный снаружи, распыленный изнутри, но все еще сопротивляющийся, отказывающийся, вопреки всем мукам, отречься от права на свое независимое пребывание здесь.

Но снова и так же внезапно внешний свет вовлек в себя ярчайшей вспышкой, дав понять, что никакого права на независимое и отдельное пребывание никому не давалось. Что этот позорный сгусток, эта распыленная на атомы материя была обречена на уничтожение — в ярком сиянии вторгнувшегося извне знания она должна попросту исчезнуть в невозможно красивой вспышке белого накала.

И снова целую вечность эти два знания висели, удерживая равновесие между собой, — знание своей отдельности, которое претендовало на право непохожести, и знание о постыдной пустоте, необходимости исчезнуть в уничтожающей агонии внешней вспышки света.

Так они балансировали, словно на острие ножа: непостижимая в своей яркости красота и столь же неподвластные пониманию стыд и боль. Балансировали между горячим стремлением к непрозрачности, отдельности и еще более острой жаждой слияния со светом вечности.

Потом, когда и вечность миновала, возобновилось навязчивое условное знание: «Если не будет слияния со светом, если не будет слияния со светом...»

А затем всякое слияние оказалось невозможным. Осталось только самосознание непрозрачного комка, собранного из разметанной пыли, а свет понимания этого исходил из совсем другого источника. Агонизирующие вторжения извне и изнутри продолжались, но пропал стыд, и осталось лишь желание сопротивляться атакам, защищать свои права.

Постепенно и внешнее сияние начало терять свою интенсивность. И даже наступило нечто вроде затмения. Что-то внезапно встало между невыносимо ярким светом с его враждебностью и этим клочком дезинтегрированной плоти. Что-то в форме образа или какого-то важного воспоминания.

Образ вещей, воспоминания о вещах. Вещах, связанных между собой, блаженно знакомых, но пока ясно не различимых.

Почти полностью заслоненный свет теперь лишь робко и нерешительно мерцал на периферии понимания. А в центре находились только вещи.

Вещи, все еще не опознанные, не полностью восстановленные воображением и памятью, без названий и даже без форм, но они явно присутствовали и, очевидно, не были порождением световой галлюцинации, поскольку не пропускали света.

И теперь, когда наступило световое затмение, и ничто не втягивало в сопричастность со слепящим сиянием, непрозрачность перестала казаться позорной. Сгусток счастливо сочетался с другим сгустком, небытие с другим непрозрачным небытием. Понимание этого не давало блаженства, но зато вселяло уверенность.

И с течением времени знание стало вырисовываться более четко, а вещи становились все более знакомыми, более определенными, более близкими. Настолько знакомыми и близкими, что окончательное узнавание становилось неизбежным.

Сгусток здесь, рассыпавшийся комок там. Да, но что же это все-таки такое? И откуда взялась непрозрачность, которая только и была их отличительным признаком?

Период неопределенности длился долго, хаос мелькавших вариантов никак не хотел проясняться.

А потом вдруг Юстас Барнак оказался тем, кто все понял. Да, непрозрачным сгустком из разметанной в бешеном танце пыли оказался сам Юстас Барнак. А комком за пределами его сущности, который виделся ему другим непрозрачным образом, была его сигара. Он вспоминал свою «Ромео и Джульетту», пока она медленно растворялась синим дымком между его пальцами. А с воспоминанием о сигаре пришла на память и фраза: «Назад и вниз». И смех. Пришел на память смех.

В каком контексте прозвучали эти слова? Над кем он смеялся? Ответа на эти вопросы не приходило. Только «назад и вниз» да еще этот окурок, распадающийся и непрозрачный. «Назад и вниз», а потом оглушительный хохот и нежданное торжество.

Теперь уже далеко, заслоненный образом этого обслюнявленного коричневого цилиндра из табака, забытый из-за этой фразы из трех слов и смеха, поблескивал скрытой угрозой яркий свет. Однако, не успев даже обрадоваться вновь обретенным воспоминаниям о вещах, насладиться тем, что снова знает, кто он такой, Юстас Барнак перестал осознавать свое существование.

## XIV

Прежде чем лечь спать, Себастьян отдернул шторы на окнах, и вскоре после половины восьмого проникший в комнату луч солнца коснулся его лица и разбудил. За окном слышалось пение птиц и перезвон церковных колоколов, а между мелкими белыми облачками небо сверкало такой ослепительной голубизной, что, отказавшись от соблазна еще поваляться в огромной и удобной кровати, он решил встать и отправиться на разведку, пока остальные еще не поднялись.

Выбравшись из постели, он первым делом принял ванну, внимательно изучив подбородок и щеки, чтобы выяснить, не пора ли воспользоваться бритвой, и заключив, что время пока не пришло. Затем он тщательно оделся в чистую рубашку, серые фланелевые брюки и менее заношенный из двух своих твидовых пиджаков, которые стали маловаты, но, по настоянию отца, должны были дожить хотя бы до июня. В довершение немного приведя щеткой в порядок свои непослушные кудри, он спустился вниз и вышел в парадную дверь дома.

Внешне сад выглядел не менее романтичным, чем при лунном свете, открывая себя во всех продуманных деталях ландшафтного дизайна, сверкая всеми оттенками листвы и успевших распуститься апрельских цветов. Шесть фигур богинь стражами выстроились вдоль террасы, и между теми двумя, что высились в центре, широкая лестница вела от одной площадки к другой, мощеной и окруженной парапетом, а потом еще ниже посреди колоннады кипарисов к зеленой лужайке, обрамленной низкой полукруглой стеной, за которой насколько хватал глаз разметался в отдалении хаос из коричневых и розовых крыш. Поверх них в самом средоточии городского пейзажа плавал купол собора. Себастьян спустился к подножию ступеней и посмотрел поверх подпорной стенки. Прямо под ней протянулись вдоль склона виноградники, все еще безлистые, походившие на целый акр рук мертвецов, отчаянно и беспорядочно тянувшихся к свету. И здесь же, позади кипарисов, росла очень старая фига, вся состоявшая из сухих узлов коленей и суставов пальцев, чьи ветви-локти выглядели бледными, как человеческие кости на фоне неба. Потрясающий узор из синего с белым, когда присмотришься к дереву! «Как вид на небеса, — прошептал он, — из глубины склепа. Из висячей гробницы с прахом членистоногих». И снова донесся звон колоколов, потянуло запахами древесного дыма и гиацинтов, мелькнула первая желтая бабочка. А когда ты возвращался к подножию лестницы и смотрел вверх, то ощущал себя внутри какой-то строфы из Мильтона, оказывался посреди «Люсидаса», в чем-то сравнимом с образами «Потерянного рая». Волшебные симметричности! А выше на своих пьедесталах Артемида и Афродита бледными телами вырисовывались на фоне казавшегося отсюда укороченным фасада дома. Красиво, но в то же время и с налетом абсурда! И нужные слова сами начали приходить к нему.

Диана с псом, Венера скромно

Таит лишайником поросшее бедро

И зелень мха известняковых грудей...

И внезапно он понял, что совершенно бессознательно нашел фразы, подобные знаменитой «Сезам, откройся!», что распахивала путь к целой будущей поэме. «Известняковый» — это мелькнуло само собой как рядовой и чисто описательный эпитет. Но на деле он оборачивался паролем к его не созданному еще шедевру, ключом, путеводной нитью. И из всех известных ему людей роль Ариадны сыграл старый, похожий обвислыми усами на моржа Макдоналд, их преподаватель естественных наук. Себастьян вспомнил слова, мгновенно заставившие его выйти из состояния комы, в которую по привычке погружался на уроках физики и химии. «Разница между обломком камня и атомом состоит в том, что атом обладает высокой степенью внутренней организации. Атом имеет структуру, молекула имеет структуру, и даже кристалл имеет структуру, но вот кусок камня, пусть он и состоит из структурированных элементов, представляет собой их беспорядочное смешение. И только с появлением жизни мы начинаем получать организацию материи на еще более высоком уровне. Жизнь тоже вбирает в себя атомы, молекулы и кристаллы, но создает из них не хаос, а соединяет в новые, еще более сложные конструкции, присущие ей самой».

Другие ученики слышали только забавный акцент старого шотландца из Данди. На неделю потом «сту́руктура ато́мов» становилась в школе дежурной шуткой. Но для Себастьяна в этой фразе слышался таинственный и непостижимый смысл. А теперь он внезапно предстал в полной ясности и в истинном значении.

Первичная структура. Затем хаотичное перемещение этих структур. Потом живые организмы, возникавшие из хаоса. А что дальше? Продолжение структурных построений из живых структур? Но мир, созданный человеческими организмами, выглядел настолько уродливым, несправедливым, тупым. Даже более неподатливым и неизменным, чем кусок булыжника. Потому что камень поддавался обработке, позволяя вырезать из себя груди и лица. В то время как пять тысяч лет трудолюбивого построения цивилизации привели лишь к возникновению трущоб, заводов и контор. Он добрался до вершины лестницы и сел на гладкую плиту у пьедестала Венеры.

А человеческие существа, размышлял он. Как живые структуры в пространстве, насколько же они невероятно тонко устроены, разнообразны и сложны! Но те следы, что они оставляют во времени, устройство их личной жизни — боже, какая же невыносимая и ужасная рутина! Как повторение узора на рулоне линолеума, как чередование плиток разных цветов в отделке стен общественной уборной. А стоило кому-то попытаться сделать нечто оригинальное, обычно получались совершенно дикие орнаменты и завитушки. Поэтому большинство из них быстро смирялись с неудачей, и дальше снова оставались только линолеум и туалетная плитка, туалетная плитка и линолеум — до самого печального конца.

Он посмотрел на дом и стал гадать, какое из закрытых ставнями окон принадлежало миссис Твейл. Если эта чудовищная старая карга действительно хотела, чтобы он брал уроки правильной речи, это дало бы ему возможность общаться с ней. Хватит ли у него смелости рассказать ей о миссис Эсдейл? Это, безусловно, стало бы превосходной прелюдией. Он вообразил себе разговор, который начался бы его ироничным признанием своих причудливых подростковых фантазий, а закончился — закончиться он мог практически чем угодно.

Себастьян вздохнул, посмотрел вниз на видневшиеся вдалеке между кипарисами купола, а потом поднял взгляд вверх на статую. Какой интересный угол зрения — как червяк, взирающий на богиню! Зеленый и переливчатый жук медленно полз через ее левое колено. Или так только казалось со стороны. Но как бы сам жук определил то, чем он сейчас занимался? Как описал бы свои ощущения? Шестикратный ритм передвигающихся лапок, силу гравитации справа, отсвет непонятного белого света в левом глазу, теплоту и твердость поверхности, в которой встречались то выбоины, то целые сталагмиты наростов, то некая растительность, знакомая, но неинтересная, потому что от нее не исходил запах, заставивший бы жука инстинктивно начать вгрызаться в лист или прокладывать туннель между лепестками цветка. А что делал в этот момент он сам, задался вопросом Себастьян. Тоже полз по некоему необъятных размеров колену? Навстречу неизбежному — точному щелчку огромного ногтя?

Он поднялся, отряхнул сзади брюки, а потом протянул руку и легким щелчком сбил жука. Тот упал на пьедестал, приземлился на спинку и беспомощно дергал шестью маленькими ножками. Себастьян склонился, чтобы получше рассмотреть его, и заметил, что в его чешуйчатом брюшке копошились совсем уже мелкие клещи. Не без отвращения он перевернул насекомое, поставив на лапки, и направился в сторону дома. Солнце, ненадолго скрывшееся за облаком, снова засияло, и сад ожил, словно каждый листок, каждый цветок подсвечивался изнутри. Себастьян улыбнулся от переполнявшего его удовольствия и принялся насвистывать мелодию первой части сонаты Скарлатти, которую играла Сьюзен.

Открыв дверь, он с удивлением услышал неразборчивый гомон голосов, а когда переступил порог, увидел, что вестибюль заполнен людьми. Здесь стояли несколько слуг, две пожилые крестьянки с покрытыми платками головами и темноглазая маленькая девочка лет десяти-двенадцати, державшая в одной руке младенца, а другой сжимавшая за ноги свисавшую головой вниз почти до самого пола и не подававшую признаков жизни курицу-пеструшку.

Внезапно все замолчали. Из темного сводчатого коридора справа донеслись тяжелые шаркающие шаги. Мгновением позже, двигаясь спиной вперед и держа под мышками пару ног в серых брюках, показался дворецкий, а вслед за ним, сгибаясь под тяжестью тела, лакей и шофер. Одна пухлая желтоватая рука ладонью кверху волочилась по полу, и когда мужчины повернулись, чтобы поднять свою ношу по лестнице, Себастьян успел разглядеть черную дыру открытого рта и мутные, утратившие цвет глаза, застывшие и бессмысленно уставившиеся в пространство. Затем шаг за шагом тело унесли наверх, и оно скрылось из виду. Дернувшись в руке девочки, пятнистая курица вдруг издала чуть слышный писк и попыталась захлопать крыльями. Младенец разразился каркающим смехом.

Себастьян повернулся и поспешил в гостиную. От первой, чисто животной реакции на уведенное, от удивления и страха у него заныл низ живота, а сердце яростно забилось в груди. Он сел, спрятав лицо в ладонях. Ему стало так же плохо, как на том омерзительном уроке в школе, когда старый Мак дал им задание препарировать налима, и Себастьяна стошнило в одну из лабораторных раковин. А ведь это был бедный дядя Юстас. Внезапно умерший и превратившийся в то жуткое Нечто, которое унесли вверх по лестнице. Затащили, как какой-нибудь рояль. И случилось это с ним, должно быть, пока Себастьян спал. Здесь же. В этом самом кресле. Спал как сурок, а тем временем этот человек, который стал его другом, заинтересовавшийся им больше, чем кто-либо другой, проявивший к нему невероятную щедрость...

Внезапно — ударом молнии — его пронзила мысль, что не видать ему теперь вожделенного вечернего костюма. Вчера дядя Юстас дал обещание, но сегодня уже не в состоянии этого обещания исполнить. Он мог забыть о вечеринке у Тома Бовени, забыть о тех девушках, еще не успев познакомиться с ними. Вся мечта, конструкция которой начала приобретать реальные очертания с того момента, как дядя Юстас показал ему ателье портного по дороге с вокзала, рассыпалась в прах. От разочарования и жалости к себе у Себастьяна слезы навернулись на глаза. Разве бывает, чтобы человеку так не везло?

Но потом он снова вспомнил о дяде Юстасе — но не как о том, кто обещал ему смокинг, а просто как о добряке, веселом и жизнерадостном друге, каким он был для него вчера вечером, а теперь превратившемся в то вызывавшее лишь отвращение тело, — вспомнил, и его охватил стыд за свой чудовищный эгоизм.

«Господи, до чего же я гадок!» — мучился он. И чтобы не давать своим мыслям отвлекаться от реальной сути трагедии, стал шептать одно и то же слово:

— Умер, умер, умер, — снова и снова.

И тем не менее он уже скоро поймал себя на том, что размышляет, под каким предлогом ему теперь отказаться от участия в вечеринке Тома Бовени. Сказаться больным? Сослаться на траур по покойному дяде?

Прозвенел звонок, и сквозь открытую дверь Себастьян увидел, как лакей пересекает вестибюль к парадному входу в дом. После обмена несколькими фразами по-итальянски высокого и худощавого мужчину, элегантно одетого и с черным саквояжем в руке, поспешно проводили наверх. Очевидно, доктор приехал, чтобы выписать свидетельство о смерти. Но если бы его вызвали прошлым вечером, он, вероятно, смог бы спасти дядю Юстаса. А не вызвали его потому, напомнил себе Себастьян, что он уснул.

Слуга спустился вниз и удалился в направлении кухни. Время шло. Затем часы на каминной полке издали сначала свое дин-дон четырежды, а потом пробили девять. Минуту спустя через дверь из библиотеки вошел лакей, остановился напротив кресла, в котором сидел Себастьян, и сказал какие-то слова, которые, чувствуя издали аромат кофе и жареного бекона, тот истолковал как приглашение к завтраку. Поблагодарив лакея, он поднялся и прошел в столовую. Тошнота, вызванная внезапным испугом, постепенно прошла, и вернулось ощущение голода. Он уселся за еду. Омлет оказался превосходен; бекон хрустел на зубах — душистый и пряный; кофе — лучшего и пожелать невозможно.

Он как раз положил себе на ломтик хлеба вторую порцию джема, когда ему в голову пришла прекрасная идея. Тот рисунок Дега, который дядя Юстас подарил ему... Что, черт возьми, ему с ним делать в ближайшую пару лет? Повесить у себя в спальне, чтобы старушка Эллен жаловалась на ее «непристойность»? Убрать с глаз долой до тех пор, пока не отправится в Оксфорд? Но разве не будет гораздо практичнее продать эту вещь, а деньги использовать на приобретение вечернего костюма?

Открывшаяся дверь заставила его поднять взгляд. Вся одетая в черное, лишь с белыми гофрированными манжетами и воротником, тихо вошла миссис Твейл. Себастьян вскочил на ноги и, поспешно промокнув рот салфеткой, пожелал ей доброго утра. Листком бумаги, который она держала в руке, миссис Твейл сделала жест, разрешавший ему снова сесть, и сама расположилась рядом.

— Вы, конечно, знаете, что произошло?

Себастьян угрюмо кивнул.

— Чувствуешь себя... Как это лучше выразить? Делается почти стыдно за себя. — Он словно оправдывался перед ней в том, что за все время завтрака ни разу даже не вспомнил о дяде Юстасе. — Понимаете, стыдно, что сам ты преспокойно продолжаешь жить.

Миссис Твейл окинула его взглядом. Потом пожала плечами:

— Но в том-то и состоит жизнь. В физиологическом отрицании необходимости почтительности, хороших манер и даже христианской веры. Но вы ведь даже не считаете себя христианином, не так ли?

Он покачал головой. Миссис Твейл продолжила, задав ему, казалось бы, не относящийся к теме вопрос:

— Сколько вам лет?

— Семнадцать.

— Семнадцать?

Она снова посмотрела на него, но на этот раз более пристально, с выражением такого нескрываемого удивления, что Себастьян начал краснеть и опустил глаза.

— В таком случае, — продолжала она, — вдвойне глупо с вашей стороны чувствовать вину за то, что вы еще живы. В вашем возрасте пора бы уже знать, в чем состоит суть истинного смысла жизни. В бесстыдстве. Прежде всего в полнейшем бесстыдстве.

Ее красивое, словно сошедшее с гравюры лицо сложилось в комическую маску, когда она издала чуть слышный и деликатный смешок. Затем, вдруг сделавшись надменно серьезной опять, она открыла сумочку и достала карандаш.

— Нужно будет отправить целую пачку телеграмм, — сказала она спокойным, сугубо деловым тоном. — Вам придется помочь мне с некоторыми адресами.

Через несколько минут появился дворецкий и объявил, что ему удалось связаться с мистером Пьюзи, который предложил взять на себя все хлопоты, связанные с похоронами.

— Спасибо, Гвидо.

Дворецкий ответил чуть заметным наклоном головы, повернулся и безмолвно вышел. Служебный ритуал был им выполнен безукоризненно, но Себастьян заметил на его лице следы ранее пролитых слез.

— Что ж, это большое облегчение, — сказала миссис Твейл.

Себастьян кивнул.

— Вся эта похоронная волокита, — заметил он. — Нет ничего ужаснее.

— Но она не так ужасна, как осознание того, что смерть еще более бесстыдна, чем жизнь.

— Более бесстыдна?

— Да, позорна. Потому что вы, по крайней мере, не разлагаетесь, когда занимаетесь любовью, едите или же испражняетесь. В то время как после смерти... — Она скорчила гримасу. — Вот почему люди готовы тратить целые состояния на последние причастия, бальзамирование или свинцовые гробы. Но как насчет телеграмм? — Миссис Твейл посмотрела на листок со списком имен. — Миссис Поулшот, — прочитала она. — Куда послать сообщение ей?

Себастьян не сразу нашел ответ. Тетя Элис и дядя Фред отправились в автомобильную поездку по Уэльсу. Лучше всего отправить телеграмму в Лондон и надеяться, что с ними свяжутся.

Миссис Твейл записала продиктованный им адрес.

— Кстати, о бесстыдстве, — сказала она, потянувшись за следующим бланком телеграммы. — Мне доводилось водить знакомство с девицей, которая лишилась девственности в Страстную пятницу в Иерусалиме прямо над храмом Гроба Господня. Так, теперь, что нам делать с твоим отцом?

— Он отплыл в Египет вчера вечером... — начал Себастьян.

Но внезапно сквозь открытую дверь донесся громкий, хриплый и властный зов:

— Вероника! Вероника!

Ничего не сказав ему в ответ, миссис Твейл поднялась и в сопровождении Себастьяна перешла в гостиную. Их встретила буря писклявого лая. Пятясь назад с каждым сделанным ими шагом, Фокси VIII почти исходил в неистовстве. Себастьян перевел взгляд с собачонки на ее хозяйку. Ее нарумяненное лицо выглядело еще более отталкивающим в контрасте с черным платьем и шляпой. Королева-мать маленькой и трясущейся фигуркой стояла рядом с солидных размеров горничной.

— Тихо! — незряче выкрикнула она в направлении лая. — Возьми его на руки, Гортензия.

На руках у служанки Фокси пришлось довольствоваться всего лишь тонким рычанием.

— Мальчик тоже здесь? — поинтересовалась миссис Гэмбл и, когда Себастьян вышел вперед, спросила почти с триумфом в голосе: — Ну и что ты обо всем этом думаешь?

Себастьян пробормотал, что, по его мнению, случилось ужасное несчастье.

— Но ведь не далее как вчера, — продолжала Королева-мать тем же тоном, — я объясняла ему, что ни один толстяк еще не доживал даже до семидесяти лет. Не говоря уже о более почтенном возрасте. Вы уже послали телеграмму Дэйзи или еще нет?

— Я скоро собираюсь отправить сразу все телеграммы, — ответила миссис Твейл.

— И, представьте, эта гусыня унаследует все! — воскликнула Королева-мать. — Да что она будет со всем этим делать? Хотела бы я знать. С картинами Юстаса и с мебелью. В свое время я не уставала уговаривать Эми не отписывать ей всего имущества. — Внезапно она повернулась к горничной: — А ты какого лешего торчишь здесь, Гортензия? Пойди и займись чем-нибудь полезным. Неужели сама не видишь, что мне ты не нужна?

Женщина молча попыталась уйти.

— А где Фокси? — послала возглас Королева-мать в сторону удалявшихся шагов. — Отдай мне его.

И она вытянула вперед пару украшенных драгоценными камнями клешней. Собачка была передана ей.

— Мой маленький Фокси-мопси, — с нежностью выдохнула миссис Гэмбл и склонилась, чтобы потереться щекой о шерстку животного. Фокси в ответ лизнул ее. Королева-мать хрипло фыркнула и вытерла лицо пальцами, размазав румяна по своему острому и довольно-таки волосатому подбородку. — Ему было всего пятьдесят три, — продолжила она, поворачиваясь к остальным. — Просто нелепость. Но чего еще мог ожидать человек, отпустивший такое брюхо? Мальчик! — резко позвала она. — Дай-ка мне свою руку.

Себастьян выполнил ее просьбу.

— Я хочу, чтобы ты показал мне место, где он покинул этот мир.

— Вы имеете в виду... — начал он.

— Да, именно это, — рявкнула Королева-мать. — Ты можешь остаться здесь, Вероника.

Медленно и осторожно Себастьян двинулся к двери.

— Почему ты почти совсем не разговариваешь? — спросила миссис Гэмбл, когда они прошли в молчании несколько ярдов. — Я много знаю о футболе, если эта тема тебя интересует.

— Нет, не особенно... Мне более интересна... Я интересуюсь поэзией и всем, что с ней связано.

— Поэзией? — повторила она. — Ты сам пишешь стихи?

— Немного.

— Очень занятно, — заметила Королева-мать. Потом после паузы добавила: — Я как-то останавливалась в доме, где в то же время одним из гостей был мистер Браунинг. Никогда больше не встречала человека, который бы так плотно завтракал. Никогда. За исключением, вероятно, короля Эдуарда.

Они прошли через вестибюль в короткий темный коридор. Дверь в его конце все еще стояла нараспашку.

— Вот это место, — сказал он.

Миссис Гэмбл отпустила его руку и, продолжая держать собачку, медленно побрела вперед. Ее рука коснулась раковины умывальника; она открыла кран и снова закрыла. Потом продолжила движение, нашла унитаз и нажала на смыв. Фокси разразился лаем.

— Какой римский император? — спросила она, перекрывая голосом тявканье и шум воды. — Кто из них расстался с жизнью в туалете? Марк Аврелий или Юлий Цезарь?

— По-моему, это был Веспасиан, — отважился поправить ее спутник.

— Веспасиан? Я о таком даже не слышала, — сказала Королева-мать с подчеркнутым пренебрежением. — Здесь пахнет дымом сигары, — добавила она. — Я всегда говорила ему, что он выкуривает слишком много сигар. Подай мне руку снова.

Они вернулись тем же путем через большой холл в гостиную.

— Вероника, — сказала миссис Гэмбл, обращаясь наугад в темноту, которой был объят весь ее мир. — Ты уже пробовала снова звонить той невыносимой женщине?

— Еще нет, миссис Гэмбл.

— Интересно, почему она не ответила на первый звонок? — В голосе старухи раздражение смешалось с тревогой.

— Ее не было дома, — спокойно ответила миссис Твейл. — Вероятно, она участвовала в другом сеансе.

— Никто не устраивает сеансов в девять часов утра. И ей следовало бы иметь прислугу, которая отвечала бы на звонки в ее отсутствие.

— Возможно, прислуга ей не по карману.

— Чепуха! — пролаяла Королева-мать. — Никогда не встречала хорошего медиума, который не мог бы позволить себе завести служанку. Особенно во Флоренции, где им можно платить сущие гроши. Позвони ей еще раз, Вероника. Звони каждый час, пока не дозвонишься. А теперь, мальчик, я хотела бы немного прогуляться вдоль террасы, и чтобы ты рассказывал мне о поэзии. С чего ты, например, начинаешь каждое новое стихотворение?

— Как вам сказать, — начал Себастьян. — Обычно я... — Он осекся. — Это довольно трудно объяснить.

Повернувшись, он одарил ее одной из своих неотразимых ангельских улыбок.

— Что за вздор! — воскликнула Королева-мать. — Это может быть трудно, но, конечно же, возможно.

Слишком поздно вспомнив, что она не в состоянии оценить его улыбки, и почувствовав себя глупцом, Себастьян расслабил мышцы лица, придав ему серьезное выражение.

— Ну, я слушаю. Рассказывай! — скомандовала старая леди.

Он запинался, но старался, как только мог:

— Это подобно тому, словно вам... Я хотел сказать, словно вы вдруг что-то слышите. А затем оно начинает разрастаться само, понимаете, как кристалл в перенасыщенном растворе.

— В чем?

— В перенасыщенном растворе.

— А это еще что такое?

— О, это... Это среда, в которой выращивают кристаллы. Но если честно, — поспешил добавить он, — то метафора не совсем точная. Скорее уместнее сравнение с цветком, который вырастает из семени. Или даже со скульптурой. Добавляете понемногу глины, пока не получается статуя. А еще лучше представить себе...

Но Королева-мать оборвала его.

— Не понимаю ни слова из того, что ты говоришь, — прохрипела она. — Ты мямлишь что-то совсем уж невнятное.

— Мне очень жаль, — пробормотал он едва слышно.

— Я распоряжусь, чтобы Вероника занималась с тобой разговорным английским каждый день после обеда, пока я сама отдыхаю. А теперь попробуй начать про свою поэзию заново.

## XV

«Назад и вниз», смех и сигара. Очень долго ничего больше не было. Только этим из своего существа он и владел; всеми остатками своей личности, которые смог собрать. Ничего, кроме оставшихся в памяти трех слов, внезапного ощущения торжества и обмусоленного цилиндра из табака. Но этого хватало. Знание приносило радость и придавало уверенности.

А между тем на периферии сознания оставалось все то же свечение, но только внезапно, между двумя воспоминаниями, он понял, что оно несколько изменилось.

Поначалу яркий свет лился отовсюду и везде был одинаковым. Сияющая тишина. Беспредельная и равномерная. И в целом свет по-прежнему выглядел безупречным, а источник его неясным. Но в то же время складывалось впечатление, что, оставаясь таким же, каким было всегда, это безмятежное, не знающее границ блаженство и знание вдруг стали сдерживаться проникновением в него какой-то активности. Но активности, имевшей ту же структуру, подобие живой решетки в пространстве — повсеместной, бесконечно сложной, необычайно хрупкой. Безразмерная, во всю ширь раскинутая паутина, то сплетающаяся в узлы, то расходящаяся, состоящая из параллелей и спиралей, причудливых фигур и их странным образом искаженных проекций. Но все это сияло, двигалось, жило.

И снова единственный фрагмент своего существа вернулся к нему — все тот же, но теперь неким образом связанный с определенной фигурой в той яркой, тончайшим образом сплетенной решетке, нашедший определенное место на одном из бесчисленных уплотненных наростов паутины непрерывно пересекающегося движения.

«Назад и вниз», а потом неожиданный торжествующий смех.

Но эта структурная часть переплетения оказалась проекцией другой, где он вдруг нашел еще один, но более крупный фрагмент своей личности — и это тоже было воспоминание: образ маленького мальчика, пытающегося выбраться из канавы с водой, до колен промокшего и покрытого грязью. «Попался, Джон, попался!» — в воспоминании кричал он сам, а когда мальчик сказал: «Прыгай тоже, ты, трус несчастный», он снова крикнул: «Попался!» — и залился смехом.

Этот смех вернул сначала сигару, всю обслюнявленную, а еще ближе к центру необъятной решетки — память об ощущении большого пальца между губами, об удовольствии долгого сидения на унитазе за чтением «Журнала для мальчиков» и сладости торчащего во рту длинного лакричного леденца.

А стоило переместиться от проекции к проектору, как возник крупный образ существа из крепкой плоти, пропахшего дезинфицирующим мылом. И когда у него ничего не получилось на ночном горшке, фрейлейн Анна уложила его себе на колени и дважды отшлепала по попке, оставив затем лицом вниз на скамье, пока ходила за Spritze. Да, за Spritze, за Spritze... Только у этого было другое, английское название, потому что мама сама доставляла ему болезненно-приятное ощущение, когда ставила клизму. И когда такое происходило, то преобладал запах не дезинфекции, а фиалкового корня. И хотя он, конечно, мог бы при желании все сделать на горшке, все равно не делал... Ради этого мучительного удовольствия.

Линии света жизни рассеялись, чтобы затем сойтись в другой узел, и теперь это были не фрейлейн Анна и не мама. Возник образ Мими. Spicciati, Bebino! И в приливе радостных эмоций он вспомнил халатик цвета красного вина, тепло и упругость кожи под покровом шелка.

Сквозь щели в решетке он различал и другой аспект сияния света — полную и равнодушную тишину, красоту во всей аскетической простоте, но все равно такую манящую, желанную, неотразимо привлекательную.

Яркий свет приближался, делался все более интенсивным. Он сам стал частью блаженства, слился с молчанием и красотой. Навсегда, навсегда.

Но слияние с красотой означало одновременно откровение познания. И внезапно он увидел, чем были в позорной действительности все эти восстановленные фрагменты его сущности, почувствовал в них сгустки распада, потому что именно в них свет уже не проникал; они оставались непроницаемыми для него, являли собой пустоту, подлежавшую уничтожению. Их должны были поднести к торжественному свету тишины, рассмотреть их отталкивающую природу, понять ее, чтобы затем отвергнуть, заставить аннигилировать и освободить место для новой красоты, нового знания, нового блаженства.

Халат цвета вина исчез, а он обнаружил еще один фрагмент своего уходящего существа — воспоминание об округлостях грудей, об их восковой белизне, увенчанной тем, что можно было принять за пару незрячих карих глаз. А в глубине плоти глубоко погруженный внутрь пупок, который, как он вспомнил, казался до абсурда похожим на надутые губки викторианской барышни. И под стать — жеманная манера говорить. Adesso comincia la tortura.

Резко, почти грубо красота света и мука от понимания и соучастия достигли такой мощи, что стали невыносимыми. Но в то же мгновение он понял, что в его власти способность отвлечься, отказаться от соучастия. Он намеренно ограничил свое сознание рамками видения халата-кимоно цвета кларета. И свет померк, сделался почти незначительным. Его оставили в покое с маленьким набором воспоминаний и образов. Чтобы лелеять и наслаждаться ими без конца. Наслаждаться до полного отождествления с ними, до превращения в их составляющую часть. Снова и снова повторяя моменты умиротворяющего наслаждения сигарами, и женскими халатами, и смехом, и фрейлейн Анной, и опять сигарами, халатами...

Затем в пространственной решетке произошла подмена понятий, и он обнаружил еще один фрагмент самого себя... Они были в Ницце и сидели в той церкви, где хор исполнял «Ave Verum Corpus»[[48]](#footnote-48) Моцарта, — мужские голоса наполняли зиявшую пустотами темноту страстями горя и тоски, а между этими звуками метались мальчишеские дисканты, гармоничные, но столь прекрасно не ведавшие в своей невинности того, что предшествовало Грехопадению, познанию различия между добром и злом. Легко и изящно музыка текла от одного прекрасного момента к другому. В ней было понимание путей достижения совершенства, экстаза благодати, но в то же время и печаль, граничившая с полнейшим отчаянием. Ave verum, verum corpus. И песнопение лишь близилось к середине, а по его щекам уже струились слезы. Когда они с Лауриной вышли из церкви, сияло солнце, а поверх темных крыш домов торжественной синевой отливало небо. Они нашли машину и вернулись в Монте-Карло. На повороте шоссе между двумя кипарисами он увидел Венеру ранней вечерней звездой. «Смотри! — сказал он. — Это похоже на пение мальчиков!» Но уже через двадцать минут они развлекались в казино. Тем вечером удача сопутствовала Лаурине. Двадцать две тысячи франков. И в полночь в их гостиничном номере она разметала деньги по ковру — сотни золотых монет, десятки и десятки купюр в сто франков каждая. Он сидел рядом с ней на полу, обнял за плечо и крепко привлек к себе. «Ave verum corpus», — сказал он. Вот оно — истинное тело.

А потом он оказался в другом, но в почти идентичном скрещении решетки, вспомнив себя лежавшим в высокой траве рядом со школьным полем для игры в крикет. Сонно глядел сквозь наполовину сомкнутые веки на покрытую дымкой, почти ощутимую голубизну английского летнего дня. И совершенно неожиданно произошло совершенно экстраординарное событие. Ничто, казалось бы, не сдвинулось с места, но впечатление было как от огромного по охвату кругового жеста, и нечто вроде занавеса полностью открылось. Для всех, кто находился по ту сторону, знакомый полог синевы представлялся по-прежнему ровным и непотревоженным. Но одновременно все вдруг стало иным, все рассыпалось на части. Этот каникулярный день, привычный ход игры, уютный мир знакомых вещей и событий развалились на куски. А поскольку внешне все оставалось неизменным, это напоминало какое-то внутреннее и невидимое землетрясение. Нечто нарушило целостность обычной видимости вещей. Сквозь образовавшиеся трещины показалась огненная лава, символизировавшая другой, более реальный порядок мироздания. На самом деле ничего физически не изменилось, но только он сам стал воспринимать мир по-другому, почувствовал себя способным мыслить и действовать совершенно по-новому, в соответствии с открывшимся ему революционным взглядом на все сущее.

«Не хочешь прогуляться до центра, когда игра закончится?»

Он посмотрел туда, откуда донесся голос. Это был Тимми Уильямс, но даже Тимми Уильямс, сразу же понял он, стал кем-то другим, лучше, более значительной личностью, чем паренек, похожий на грызуна, с которым он любил обсуждать прочитанные книги и делиться непристойными секретами.

«Сегодня со мной произошло нечто очень странное», — доверительно сообщил он приятелю через полчаса, когда они сидели в кондитерской и поедали клубнику со сливками.

Но выслушав его историю, Тимми только рассмеялся и заверил, что каждому иной раз что-то мерещится. Это, возможно, последствие запора.

Разумеется, все обстояло не так. Но теперь, когда рассыпавшийся мир вновь обрел целостность, когда занавес задернулся, а лава уползла назад, откуда появилась, насколько же комфортнее он себя ощущал! Лучше все оставить как есть. Лучше продолжать жить так, как жил прежде, не отваживаясь на рискованные поступки или на что-то из ряда вон выходящее. И после секундного колебания он уже смеялся вместе с одноклассником.

Возможно, это все запор, а по-научному — констипация. Да, точно, констипация. И как будто он обрел свою самостоятельную жизнь, рефрен навязчиво стал звучать в голове на мотив песенки «Однажды в зарослях бамбука».

Возможно, лишь запор,

Возможно, лишь запор,

Вернее — констипация!

Возможно, лишь запор,

Возможно, лишь запор,

Запорнейший запор, пор, пор...

И-и, еще раз с первой ноты, как шарманка, что играла рядом с входом в Кенсингтонское управление регистрации браков тем утром, когда они с Эми поженились.

В тех зарослях бамбука,

В тех зарослях бамбука

Возможна констипация...

## XVI

— Что ж, — сказала миссис Твейл, когда лай Фокси и хриплое ворчание Королевы-матери затихли вдали, — отныне вы мой ученик. В таком случае мне, видимо, следует обзавестись лозой. Вас подвергают порке в школе?

Себастьян помотал головой.

— Нет? Какая жалость!

Она посмотрела на него с чуть заметной улыбкой, а потом отвернулась и взялась за кофе. Наступило долгое молчание.

Себастьян поднял глаза и исподволь стал изучать ее профиль — лицо ожившей Мэри Эсдейл, лицо женщины, с которой в своем воображении он познавал то, что представлял себе самыми сокровенными глубинами чувственности. И вот она сидела перед ним, вся в черном посреди пестрой роскоши комнаты, и совершенно не представляла, какую роль играла в его потаенной вселенной, что делала в ней сама и позволяла делать с собой. Мессалина в его глазах, Лукреция — в собственных. Но Лукрецией она, разумеется, быть не могла. Только не с этими глазами, только не с ее способностью молча заряжать все пространство вокруг себя мощной женской энергетикой.

Миссис Твейл тоже подняла взгляд.

— Совершенно ясно, — сказала она, — что для начала нам предстоит определить причину, которая заставляет вас мямлить, когда, кажется, не составляет труда выражаться отчетливо и связно. Почему это происходит, как вы думаете?

— Ну, если человек ощущает застенчивость...

— Если человек ощущает застенчивость в чьем-либо присутствии, — перебила его миссис Твейл, — то лучшее средство, как я давно обнаружила, это вообразить персону, вызывающую приступ застенчивости, моющейся в маленьком тазу.

Себастьян хихикнул.

— Действует практически безотказно, — продолжала она. — Старики и люди некрасивые выглядят так смешно, что трудно сохранять серьезное выражение лица. В то время как молодые и симпатичные представляются столь привлекательными, что перестаешь их бояться, а порой даже уважать. Теперь закройте глаза и попытайтесь сами.

Себастьян посмотрел на нее, и кровь мгновенно прилила к его лицу.

— То есть вы...

Он не сумел закончить вопроса.

— Я не возражаю, чтобы вы это сделали в моем присутствии, — договорила за него миссис Твейл.

Он зажмурил глаза, и перед ним предстала Мэри Эсдейл в черных кружевах, Мэри Эсдейл на розовом диване в одеянии Petite Morphil[[49]](#footnote-49) с известной картины Буше.

— Ну, вы уже почувствовали себя чуть менее застенчивым? — спросила миссис Твейл, когда он приоткрыл глаза.

Себастьян недолго смотрел на нее, а потом, охваченный глубочайшим стыдом при мысли, что ей теперь стало известно то, что происходит во внутреннем мире его фантазий, выразительно помотал головой.

— Не почувствовали? — И ее обычно тихий голос зазвучал вдруг громко и удивленно. — Это плохо. Похоже, в вашем случае не обойтись без хирургического вмешательства. Нужен будет хирург, — повторила она, отхлебнув еще немного кофе и глядя все это время на Себастьяна поверх чашки своими яркими и немного ироничными глазами.

— Однако, — добавила она, промокнув рот салфеткой, — еще есть вероятность добиться исцеления чисто психологическими методами. Существует, например, технология шока или вопиющей несправедливости.

Себастьян повторил ее слова с вопросительной интонацией.

— Уверена, вы знаете, что такое шокирующая, вопиющая несправедливость, — сказала она. — A non sequitur[[50]](#footnote-50) в своих действиях. Например, вознаграждение ребенка за примерное поведение основательной поркой и досрочной отправкой в постель. А еще лучше выпороть его и отправить спать без всякой на то причины. Это великолепная несправедливость, совершенно бескорыстный и чисто платонический шок для дитяти.

Внутренне она улыбнулась. Последние слова особенно любил произносить ее папаша, когда говорил о христианском милосердии и благотворительности. Той чертовой благотворительности, с помощью которой он сумел совершенно отравить ей все детские и юношеские годы. Во имя ее он вечно окружал себя толпами нищего сброда, нуждавшегося в деньгах. Превратив то, что должно было быть их домом, в проходной двор и зал ожидания. Воспитывая ее посреди убожества и нищеты. Шантажом заставляя ее выполнять обязанности, к которым не лежала душа. Принуждая проводить все свое свободное время со скучными невежественными незнакомцами, тогда как хотелось только, чтобы ее оставили в покое. И словно этого было мало, он требовал от нее каждым субботним вечером читать XIII главу «Послания к коринфянам».

— Бескорыстный и чисто платонический шок, — повторила миссис Твейл, глядя на Себастьяна. — Как любовь Данте и Беатриче, — а потом, немного подумав, добавила: — А ваше хорошенькое личико однажды может стать для вас источником крупных неприятностей.

Себастьян от неловкости рассмеялся и постарался сменить тему.

— Да, но при чем здесь робость? — спросил он.

— Ни при чем, — ответила она. — Ей просто нет места. Шокирующие действия полностью вытесняют ее.

— Какие же действия?

— Те самые, которые совершаете вы, когда не знаете, что еще вам сделать или сказать.

— Но как вы осмелитесь? Имея в виду, что вы застенчивы...

— Придется совершить над собой насилие. Словно вы готовы покончить с собой, приставить револьвер к виску. Еще пять секунд, и наступит конец света. Тогда ничто другое больше не имеет значения.

— Но оно имеет значение, — возразил Себастьян. — И никакого конца света не наступит.

— Нет, но мир претерпит трансформацию. Шок создает совершенно новую ситуацию для вас.

— Неприятную ситуацию.

— Настолько неприятную, — подтвердила миссис Твейл, — что вам уже некогда думать о своей застенчивости.

На лице Себастьяна отчетливо читалось сомнение.

— Вы мне не верите? — спросила она. — Тогда давайте проведем репетицию. Я — миссис Гэмбл и прошу рассказать мне, как вы пишете стихи.

— Боже, это было отвратительно! — воскликнул Себастьян.

— А почему это получилось отвратительно? Потому что у вас не хватило ума понять, что это одна из тех просьб, которые невозможно удовлетворить, не шокировав собеседника. Я чуть не расхохоталась, слушая, как вы стали бормотать о каких-то психологических тонкостях, которые наша старая леди не смогла бы понять, даже если бы действительно захотела. А никакой подлинной заинтересованности не было и в помине.

— Но что еще мне оставалось? Она настаивала, что ей хочется знать, как я пишу.

— А я вам подскажу, — сказала миссис Твейл. — Вам следовало выдержать паузу секунд в пять, а потом очень размеренно и четко объяснить: «Мадам, я пишу стихи химическим карандашом на рулоне туалетной бумаги». А теперь произнесите эту фразу вы сами.

— Нет, не могу... Право же...

Он выдал одну из своих очаровательных умилительных улыбок, но вместо того, чтобы растаять, миссис Твейл лишь презрительно покачала головой.

— Нет, нет, не надо вот этих штучек. Со мной такое не пройдет, — сказала она. — Я совершенно не люблю детей. А что до вас, то вам должно быть стыдно прибегать к подобным трюкам. В семнадцать лет мужчине уже следует заводить детей, а не притворяться одним из них.

Себастьян покраснел и нервно рассмеялся. Ее прямота причиняла ужасную боль, но в то же время какая-то часть его существа радовалась ее манере общаться с ним, ее нежеланию сюсюкать, как это делали другие женщины.

— Прошу еще раз, и на этот раз вы скажете это, — настаивала миссис Твейл. — Давайте!

У нее был такой властный тон, что Себастьян подчинился без дальнейших жалоб и споров.

— Мадам, я пишу стихи химическим карандашом, — начал он.

— Это не шокирующее заявление, а блеянье какое-то, — прервала миссис Твейл.

— Мадам, я пишу стихи химическим карандашом, — повторил он чуть громче.

— Fortissimo![[51]](#footnote-51)

— ...химическим карандашом на рулоне туалетной бумаги...

Миссис Твейл захлопала в ладоши:

— Превосходно!

Она рассмеялась своим коротким и мелодичным смехом. Исполнившись храбрости, Себастьян вторил ей.

— А теперь, — продолжала она, — я должна ухватить вас за ухо. Крепко, до боли. А вы от возмущения и удивления заорете: «Ты, старая сука, немедленно отцепись от меня!» или что-то подобное. Вот когда начнется настоящая комедия. Я начну верещать, как попугай, а вы...

Дверь гостиной в этот момент распахнулась.

— Il Signor De Vries, — объявил дворецкий.

Миссис Твейл прервалась на середине фразы и мгновенно изменила выражение своего лица. Вновь прибывшего встретила величавая и серьезная мадонна, когда он через всю комнату устремился прямо к ней.

— Меня все утро не было дома, — сказал Пол де Вриз, пожимая протянутую ему руку. — Получил вашу телефонограмму, только вернувшись в отель после обеда. Какое ужасное известие!

— Шокирующее, — повторила миссис Твейл, склоняя голову. — Между прочим, — добавила она, — познакомьтесь. Это племянник несчастного мистера Барнака, Себастьян.

— Представляю, каким для вас это стало ударом, — сказал де Вриз, обмениваясь с Себастьяном рукопожатиями.

Себастьян кивнул, отчего-то чувствуя себя лицемером, и пробормотал, что да, горе его невыносимо.

— Чудовищно, просто чудовищно, — твердил де Вриз, — но мы, конечно же, не должны забывать, что даже в смерти заключены определенные жизненные ценности.

Он снова повернулся к миссис Твейл:

— Я примчался сюда, чтобы узнать, не могу ли хоть чем-то быть вам полезен.

— Вы очень добры, Пол.

Она вскинула ресницы и посмотрела на него пристальным многозначительным взглядом; сомкнутые губы дрогнули в подобии улыбки. Потом она опустила глаза, уперев их в свои белые руки, сложенные на бедрах.

Лицо Пола де Вриза просияло от удовольствия, и внезапно вспышка инстинктивного понимания подсказала Себастьяну, что этот тип влюблен в нее, а она это знает и не отвергает его любви.

Им овладел приступ бешеной ревности, чувства тем более болезненного, что оно усугублялось сознанием своей ничтожности, особенно бурного, поскольку выразить его он не мог, не выставив себя полнейшим дураком. Ведь признайся он ей в своих чувствах, она просто подняла бы его на смех. Это превратилось бы в очередное унижение.

— Думаю, мне пора идти, — пробормотал он и двинулся в сторону двери.

— Вы ведь не пытаетесь сбежать, верно? — спросила миссис Твейл.

Себастьян остановился и повернул к ней голову. Ее глаза цепко осматривали его. Он постарался уклониться от их темного загадочного взгляда.

— Мне надо... Я должен написать несколько писем, — на ходу придумал причину он и поспешил вон из комнаты.

— Ты это видел? — спросила миссис Твейл, едва дверь захлопнулась. — Бедный мальчуган ревнует меня к тебе.

— Ревнует? — повторил молодой человек недоверчиво-удивленным тоном.

Он ничего не заметил. Но, если на то пошло, он вообще редко замечал хоть что-нибудь. Об этой черте своего характера де Вриз был прекрасно осведомлен и даже гордился ею. Когда ум человека занимали по-настоящему важные, увлекательные идеи, ему не следовало отвлекаться на тривиальные события повседневной жизни.

— Что ж, вероятно, ты права, — сказал он с улыбкой. — «Порой и моли хочется взлететь к звездам». Кстати, для мальчика это может оказаться даже полезно, — добавил он тоном добродушного мудреца и гуманиста. — Безнадежная влюбленность — часть либерального образования. Она учит подростков более возвышенному отношению к сексу.

— Неужели? — спросила миссис Твейл так серьезно, что человек мало-мальски восприимчивый не смог бы не уловить в ее вопросе иронии.

Но Пол де Вриз только закивал для пущей убедительности:

— Открывая для себя ценности романтической любви. Так они достигают сублимации. Хэвлок Эллис прекрасно описал это в одном из своих трудов...

Внезапно сообразив, что вовсе не об этом хотел с ней поговорить, он оборвал сам себя.

— Но к дьяволу Хэвлока Эллиса! — воскликнул он, после чего воцарилось продолжительное молчание.

Миссис Твейл сидела очень тихо в ожидании того, что, как она знала, произойдет дальше. И не ошиблась. Он вдруг сел рядом с ней на софу, взял ее руку и сжал между своими ладонями.

Она подняла глаза и увидела, как Пол де Вриз смотрит на нее с трепетной улыбкой и невыразимым томлением. Но миссис Твейл оставалась совершенно серьезной, словно любовь для нее была слишком важным вопросом и не предметом для улыбок. С этими своими вздернутыми ноздрями, подумала она, де Вриз напоминал приниженно верного пса. Смешно, но одновременно и не слишком привлекательно. Но проблема для нее всегда заключалась в выборе между двух зол. Она снова опустила взгляд.

Молодой человек поднес ее совершенно безвольную руку к губам и стал покрывать поцелуями с религиозным пылом. Но запах ее духов казался таким манящим, соблазнительным и сладостным; ее шея выглядела безупречно округлой, гладкой и белой; под тонким черным шелком угадывались маленькие, но крепкие груди. А потому томление моментально переросло в жгучее вожделение. Он прошептал ее имя и неуклюжим порывистым движением обнял одной рукой за плечи, а пальцами другой поднял ее лицо на уровень своего. Но он не успел поцеловать ее, потому что миссис Твейл проворно отстранилась.

— Нет, Пол, не надо, пожалуйста.

— Но, моя дорогая...

Он снова поймал ее руку и попытался прижать к себе. Она окаменела и покачала головой:

— Я сказала «нет», Пол.

Это было произнесено так решительно, что он сдался.

— Я совсем тебе не нравлюсь, Вероника? — спросил он жалобно.

Миссис Твейл молча смотрела на него, и на мгновение ею овладело искушение высказать дураку все, чего он заслуживал. Но это было бы опрометчиво. Она наклонила голову.

— Ты мне очень нравишься, Пол. Но ты, кажется, забываешь, — добавила она с нежданной улыбкой и переменой в тоне, — что я отношусь к той категории, которую именуют респектабельными женщинами. Иногда я сама жалею об этом. Но здесь ничего не поделаешь!

Да, вот ведь какое непреодолимое препятствие возникло на пути к модифицированному целибату. А ведь он любил ее так, как не любил никого прежде. Любил безотчетно, безрассудно, на грани безумия. Любил то такой степени, что мысли о ней неотвязно преследовали его, делая одержимым ее бесовской соблазнительностью.

Маленькая и полностью покорная рука, которую он держал, вдруг ожила и была у него отнята.

— И кроме того, — добавила она сурово, — мы забываем о несчастном мистере Барнаке.

— К дьяволу Барнака! — невольно вырвалось у него.

— Пол! — возмущенно воскликнула она, и на ее лице появилось горестное выражение. — Это уже переходит...

— Прости, — выдавил он.

Уперев локти в колени, обхватив голову руками, он невидящим взглядом уставил глаза на кусок китайского ковра между своими ступнями. Он с тоской вспоминал, как демон овладевал им, даже когда он читал. И не существовало никакого лекарства, никакого способа изгнать это наваждение. Даже самые новые и увлекательные книги оказывались бессильны против одержимости. И вместо квантовой механики, вместо эмбриональных полей его сознание целиком заполнял образ этого овального лица, в ушах звучал голос, вспоминался ее взгляд, аромат ее духов, белые округлости ее шеи и рук. Но он по-прежнему продолжал давать себе клятвы, что никогда не женится, а отдаст все свое время, всю силу мысли, всю энергию величайшему делу жизни, наведению мостов, которому было суждено стать его судьбой, его истинным призванием.

Но внезапно он почувствовал, как ее рука коснулась его волос. Он поднял взгляд и увидел, что она улыбается ему почти с нежностью.

— Тебе не стоит быть таким безмерно грустным, Пол.

Он помотал головой:

— Грустным безмерно, в тоске беспримерной и скверным, наверно.

— Нет, не надо произносить подобных слов, — быстрым и легким движением она приложила пальчики к его губам. — Ты не можешь быть скверным, Пол. Не должен считать себя плохим.

Он схватил ее за руку и снова покрыл поцелуями. Покорившись, она на несколько секунд отдала свою руку в его полную власть, позволила страстям излиться, но затем мягко отняла ее.

— А теперь, — сказала она, — мне бы хотелось услышать подробный рассказ о твоем визите к человеку, которого ты упоминал вчера.

Его лицо просветлело.

— Ты имеешь в виду Лориа?

Она кивнула.

— О, это получилось воистину волнующе, — сказал Пол де Вриз. — Этот человек продолжает исследования Пеано в области математической логики.

— И как по-твоему, он так же хорош, как Рассел? — спросила миссис Твейл, которая сделала себе труд запомнить их более раннюю беседу на ту же тему.

— Ты не поверишь, но это тот вопрос, которым сейчас задаюсь я сам! — в восторге воскликнул молодой человек.

— Все великие умы мыслят одинаково, — заметила миссис Твейл.

И, улыбнувшись очаровательно игривой улыбкой, она постучала пальцем сначала по своему лбу, а потом — по его.

— Расскажи мне все о твоем выдающемся профессоре Лориа.

## XVII

На мелодию «Однажды в зарослях бамбука», под аккомпанемент смеха Тимми Уильямса снова и снова:

Возможно, лишь запор,

Возможно, лишь запор,

Вернее — констипация...

Но это, разумеется, было не так. Он с самого начала и всегда знал, что это неправда.

И в непроницаемой тишине, которая сияла и пульсировала жизнью, снова появилось понимание. Более красивое, чем музыка Моцарта, более красивое, чем небо на закате или чем Венера, появившаяся между двух кипарисов.

И от тех кипарисов он двинулся по узлам решетки, чтобы обнаружить себя сначала в Пестуме на закате ветреного дня во все более сгущавшихся сумерках. А потом переместиться к воспоминанию о Долине белой лошади, где июльское солнце посылало отчаянно сильные лучи света в голубую расщелину между грозившими вскоре сойтись вместе тяжелыми грозовым тучами. А существовали еще «Кукурузный бог из Копана», «Последнее причастие святого Иеремии». И та вещица Констебля из музея Виктории и Альберта... Ах да, «Сусанна и старцы».

Но это не был мраморный бледный силуэт, волшебно прекрасный в своей наготе. Это снова Мими. Мими, развалившаяся на диване, коротконогая, нагая, но не прозрачная на фоне пестрой драпировки.

И опять его вовлекло внутрь безжалостного осознания небытия, такого отвратительного, что оно вызывало только омерзение к самому себе, только стыд, осуждение и смертный приговор.

Чтобы уйти от этой невыносимой боли, он снова окунулся в разрез между полами халата, к ласкам и любовным играм, к сигарам и к смеху. Но на этот раз свечение не померкло. Наоборот, оно сделалось ярким до полной нестерпимости и еще более невероятно красивым.

Затем страх сменился негодованием, взрывом гнева и ненависти. И каким-то чудом он в один момент вспомнил все грязные ругательства из своего словарного запаса — родные английские, с трудом заученные немецкие, французские и итальянские.

И взрыв озлобления, поток этих жутких слов принес немедленное облегчение. Интенсивность свечения заметно ослабела, и он снова отстранился от страшного понимания, которое заставляло судить себя и приговаривать к позору. Не осталось ничего, кроме красоты где-то далеко, всего лишь фоном, как небо после заката. Но он теперь видел эту красоту насквозь, понимал, что она служит лишь приманкой и склоняет тебя к какому-то из самых ужасных способов самоубийства.

Самоубийство, самоубийство — они все хотели, чтобы ты наложил на себя руки. И тут же он увидел фрагмент себя самого в книжном магазине Бруно, а потом Бруно по дороге на вокзал. Смотревшего на тебя этим своим странным взглядом, мягко убеждая в необходимости прощения, а потом еще пытавшегося загипнотизировать. Чтобы под гипнозом добиться твоего саморазрушения.

Соскользнув в сторону, на другую плоскость пространственной решетки, он вдруг вступил в соприкосновение со знанием, которое, как он сразу понял, принадлежало Бруно. Видение — смутное и расплывчатое — голых стен гостиничного номера, но тоже залитых светом. Только на этот раз свечение оказалось нежно-голубым. Голубым и почему-то воспринимавшимся музыкой. Мерцание и переливы сияния, бессловесная мелодия среди завитков невидимой раковины.

Красота, и умиротворение, и нежность — немедленно узнаваемые и немедленно отвергаемые. Познанные только для того, чтобы сразу их возненавидеть, облить грязью, осыпать ругательствами на четырех языках.

Святой Виллибальд, возносящий свои молитвы в номере затрапезного отеля. Святой Вунибальд, созерцающий свой пуп. Ослиная тупость. Достойно лишь презрения. И если дурак воображал, что такими дешевыми трюками сможет устыдить тебя и довести до желания добровольно расстаться с жизнью, то он глубоко заблуждался. Кем он себя возомнил, играя с этим проклятым светом? Но что бы он там о себе ни думал, он оставался все тем же старым Бруно, потрепанным жизнью букинистом с сыроватым интеллектом и единственным даром — впустую трепать языком.

Но затем он понял, что Бруно был не одинок, что познание Бруно света не оставалось единственным познанием. Существовала целая галактика такого знания. К свету через участие, единение со светом, который один только и давал им возможность бытия. Выделял человека, делал его узнаваемым в пределах целой вселенной вариантов, превращал его существование из всего лишь возможного в действительно реализованное.

В номере отеля познание этого нежного и музыкального свечения становилось все более полным. И по мере того как это происходило, синева снова разгоралась до чистого и ослепительного накала, а музыка претерпевала модуляцию до звучания грандиозности, кульминацией которой была полная тишина.

«Виллибальд, Вунибальд. Номер зачуханной гостиницы. И будем надеяться, что за стеной у него поселили пару, приехавшую провести медовый месяц из Германии». Подумаешь, выскочка! Демонстрирует, как умеет обращаться с этим своим светом! Но так все равно не перечеркнешь того факта, что он остается мелким торговцем старьем, сбывающим свой заплесневелый товар. И если он всерьез воображает, что может взять меня на испуг, заставить почувствовать стыд...

Но внезапно до Юстаса дошло то, что ведал другой. Он понял это не потому лишь, что был знаком с ним, не по одним только внешним признакам, а через акт отождествления, сравнения себя с ним. И в то же мгновение вновь осознал невыносимое уродство своего темного фрагментарного существования.

Позорно, позорно... Но он упрямо отказывался чувствовать стыд. Будь он трижды проклят, если позволит принудить себя к самоубийству. Да, трижды проклят, четырежды проклят!..

Посреди этого свечения и тишины его мысли походили на сгустки экскрементов, на звуки, которые производишь, когда блюешь. И чем отвратительнее они казались, тем более отчаянными становились его злоба и ненависть.

Чертов свет! Паршивый маленький и ничтожный человечишка! Но только теперь в злости он уже не находил больше возможности отдохнуть и перевести дух. Его ярость тоже полыхала, но ее огонь терялся в непонятно откуда лившемся свечении. И ругательства на четырех языках, которые он выблевывал из себя в тишину, с которой непостижимым образом сливался сам, только подчеркивали омерзительность того, чем он пытался эту тишину нарушить.

Вся приподнятость чувств от гнева и ненависти, все отвлекавшее от сути возбуждение теперь унялись, и он остался лишь с ничем не прикрытым опытом отвращения к себе. Болезненным изначально, но служившим источником новой боли. Потому что теперь ничем не прикрытый свет и непрерываемая тишина, которые он сделал объектами своей ненависти, заставили его снова взглянуть на себя, судить и вынести приговор.

Новые фрагменты его личности не замедлили появиться. Десять страниц Пруста, пробежка рысцой по Барджелло; святой Себастьян среди викторианских узоров и «Молодой человек из Уокинга». Fascinatio nugacitatis. Но все пустяки, которые когда-то увлекали его, сейчас представлялись не только до невозможности тоскливыми, но и в каком-то глубинном смысле выглядели проявлениями зла. А ему во что бы то ни стало приходилось упорствовать в своих пристрастиях, потому что альтернативой становилось полное самопознание и самоотрицание, что означало окончательную сдачу на милость свету.

И снова возникал образ Мими. И здесь ему тоже следовало проявить упорство, чтобы не быть окончательно поглощенным светом. Эти долгие послеобеденные часы в маленькой квартирке позади Санта-Кроче. Бесконечные холодные фрикции, трение тела о тело, не приносящее удовольствия. Adesso comincia la tortura. И это не кончалось, потому что он не в силах был заставить себя остановиться в страхе от того, что могло случиться потом. Пути к бегству не было. Оставалась только одна дорожка, которая все дальше и дальше уводила его в плен.

Неожиданно Бруно Ронтини слегка пошевелился и кашлянул. С какой-то неведомой прежде чувствительностью Юстас узнал бедную и мрачную спальню, куда проникал шум машин, ползущих в гору на пониженных передачах по крутым склонам на въезде в Перуджу. Но потом этот не имевший к делу никакого отношения образ померк, и опять воцарились свет и тишина.

Или все же существовал другой путь? Дорога, которая провела бы его мимо этих сгустков экскрементов его прежнего жизненного опыта и того проклятия, которое он навлек им на себя? В молчании и свете заключался недвусмысленный ответ: обходного пути не было, дорога вела только прямо. Ну, уж он-то знает об этом все, ему в точности известно, куда она ведет.

И если бы он следовал по ней, что произошло бы с Юстасом Барнаком? Юстас Барнак был бы мертв. Обратился в камень, в прах, исчез бы с лица Земли. И не осталось бы ничего, кроме этого проклятого света, этого дьявольского свечения в полной тишине. Ненависть разыгралась в нем с новой силой; но почти сразу вспышка радостного возбуждения потухла. Ему не осталось ничего, лишь холодное и страшное чувство отвращения, а вместе с отвращением — мучительное сознание, что и его ненависть и отвращение тоже были омерзительны.

Но лучше уж эта боль, чем ее альтернатива; лучше осознание своей низости, чем угасание всякого сознания. Что угодно, только не это! Пусть вечность длится эта тупая пустота, эта бесконечная похоть, лишенная всякого удовлетворения и удовольствия. Десять страниц Пруста, соседство цветов из воска со святым Себастьяном. Снова и снова. А потом повторение холодной как труп чувственности, неги и ласки, бесконечное бормотание под аккомпанемент «Возможно, лишь запора» и «Молодого человека из Уокинга». Тысячи раз, десятки и сотни тысяч раз. Легковесные шуточки про святого Виллибальда и такие же про святого Вунибальда. Про отца Веселило и его кадило, про отца Болталгио, и отца Болталгио, и снова отца Болталгио... И опять те же десять страниц Пруста, те же восковые цветы и святой Себастьян, те же карие, но слепые глаза-соски и пытка обязательной похотью, пока молодой человек из Уокинга бормочет Символ Веры, мямлит Санктус, шепелявит безукоризненно правильные идиоматически ругательства в сияющей тишине, которая делает каждое миллионное повторение еще более бессмысленным, чем предыдущее, но в то же время еще более милым сердцу в своей омерзительности.

И никакого выхода, никакого выбора, кроме как сдаться свету и умереть, погрузившись в тишину. Нет, все, что угодно, только не это, не это, не это...

А потом внезапно открылся путь к спасению. Прежде всего понимание того, что существовали другие знания. А не один только чудовищный сговор Бруно со светом. Не только галактика знаний, сводящихся к единственной возможности. О нет! Нет. Были и другие знания, которые уютно сочетались с его собственными. И все они концентрировались на нем самом, являлись проявлением заботы о его единственной и неповторимой темной сущности. И эта забота уподоблялась тени от простертых над ним крыльев многочисленных, оживленно щебечущих птах, закрывавших его от света, нарушавших треклятую тишину, приносивших отдохновение и облегчение, дававших благословенное право оставаться самим собой и не стыдиться этого.

Он предался блаженному отдыху посреди этого чирикающего хаоса, в центре которого он оказался и был бы только счастлив остаться навсегда. Но его ожидали еще более приятные сюрпризы. Так же неожиданно и без предупреждения наступила новая благословенная фаза его спасения. Он стал обладателем чего-то бесценного. Как он мгновенно понял, именно этого он был лишен на протяжении первоначальной череды ужасавших его вечностей — у него появился целый набор реально телесных ощущений. Он, например, чувствовал — на удивление прямо и непосредственно — живое тепло темноты за своими закрытыми веками; смутные голоса, которых он не помнил, доносились, тем не менее, откуда-то рядом; дало о себе знать люмбаго в области крестца; и еще тысячи совсем легких болей, давлений и напряженностей как изнутри, так и снаружи. Но какое же странное ощущение рези в нижней части внутренностей! Какая незнакомая прежде тяжесть и сдавливание груди некой силой извне!

— Мне кажется, она погрузилась, — сказала Королева-мать хриплым театральным шепотом.

— Она явно стала тяжело дышать, — согласился Пол де Вриз, — а храп всегда является признаком расслабленности, — назидательно добавил он. — Вот почему люди с тонкой нервной системой так редко...

Миссис Гэмбл беззастенчиво оборвала его.

— Будьте добры, отпустите мою руку, — сказала она. — Мне нужно высморкаться.

Ее браслеты зазвенели в темноте. А потом раздался характерный звук, который сопровождает очистку ноздрей.

— Ну а теперь где вы? — спросила она, словно нашаривая его руку. — Ага, вот здесь! Надеюсь, что все крепко держатся друг за друга.

— Я так уж точно держусь, — сказал молодой человек.

В его голосе слышалось почти веселье, потому что он как раз нежно пожал ту мягкую руку, что располагалась от него справа. И к его счастью, на пожатие чуть заметно, но явственно ответили.

Надежно скрытая во мраке миссис Твейл размышляла о бесстыдстве как сущности любви.

— А как там вы, Себастьян? — спросила она, поворачивая голову.

— Я в порядке, — ответил он с нервным смехом. — Пока держусь.

Как и этот вонючий де Вриз! Держался сам, и его держали тоже. Вот если бы он пожал ее руку, она, вероятно, немедленно оповестила об этом всех присутствующих, чем немало бы их повеселила. Но вопреки всему, именно таковы были его намерения. В качестве шокирующего действия — в точности как она его учила. Де Вриз был в нее влюблен, и, насколько он мог судить, она отвечала де Вризу взаимностью. Вот и хорошо. Лучший поступок из серии non sequitur для него в данных обстоятельствах будет сказать или сделать нечто, демонстрирующее, что он тоже влюблен в нее. Но когда подошло время шокировать всех или хотя бы тихо пожать ее руку, Себастьян замер в нерешительности. Хватит ли у него смелости пойти на такое? Да и стоило ли оно того?

— Говорят, что обычай держаться за руки имеет отношение к вибрациям, — объявила Королева-мать из своего угла.

— Что ж, это вполне вероятно, — рассудительно сказал Пол де Вриз. — В свете самых последних исследований электрического потенциала различных групп мышц...

Через пять секунд, говорил себе Себастьян с воображаемым пистолетом у виска, через пять секунд наступит конец света. Ничто уже не имело значения. Но он все еще не решался начать действовать. Ничто не имеет значения, ничто не имеет значения — он все еще только продолжал твердить себе это, как вдруг почувствовал, что рука слева от него сама ожила. Совершенно неожиданно кончиками пальцев она начала описывать круги у него на ладони. Опять и опять, деликатно, но с электризующим эффектом. Затем без намека на предупреждение ее ногти впились в его плоть. Всего на секунду, а следом пальцы распрямились, расслабились, и Себастьян обнаружил, что держится за такую же вялую и неподвижную руку, какой она была прежде.

— А кроме того, — продолжал разглагольствовать де Вриз, — нельзя забывать о возможном влиянии митотической активности на феномен...

— Тс-с! Она что-то начала говорить.

Из черноты, царившей перед ними, донесся писклявый, как будто детский голос.

— Это Беттина, — произнес голос. — Это Беттина.

— Добрый вечер, Беттина! — воскликнула Королева-мать тоном, в который постаралась вложить побольше радости и приветливости. — Как там у тебя дела? По ту сторону?

— Отлично! — произнес писклявый голос, который, как объяснила миссис Байфлит, прежде чем выключили свет, принадлежал девочке, погибшей во время землетрясения в Сан-Франциско. — Тут прекрасно. Все чувствуют себя хорошо. Вот только бедная старушка Глэдис, сидящая среди вас, — она сильно недомогает.

— О да, мы все очень сожалеем, что у миссис Байфлит проблемы со здоровьем.

— Что-то я совсем расхворалась.

— Какое несчастье! — сказала Королева-мать с плохо скрытым нетерпением. Ведь именно она настояла, чтобы сеанс устроила миссис Байфлит, вопреки болезни. — Но, как я надеюсь, это не помешает коммуникации.

Голос проскрипел какие-то слова о том, что «делает все возможное», а потом сделался неразборчивым. Затем медиум глубоко вздохнула и издала легкий храп. Наступило молчание.

«Что это означало? — гадал между тем Себастьян. — Что это, черт возьми, могло значить?» Сердце кувалдой долбило его в грудь. И снова ствол револьвера оказался приставленным ко лбу. Через пять секунд наступит конец света. Одна, две, три... Он сжал ее руку. Выждал мгновение. Сжал снова. Но ответного пожатия не последовало, как ничем не выдала она, что почувствовала его дерзкое прикосновение. Себастьяном овладело мучительное до боли смущение.

— Я всегда стремлюсь устроить первый сеанс как можно скорее после похорон, — сообщила Королева-мать. — Или даже до них, если появляется такая возможность. Нужно ковать железо, пока горячо.

Снова возникла пауза. Затем раздался энергичный, но, как обычно, монотонный голос Пола де Вриза.

— У меня никак не идет из головы, — сказал он, — сегодняшняя надгробная речь мистера Пьюзи. Очень душевная, вам не показалось? А как красиво сформулирована! «Друг искусств и истинный художник в дружбе». Лучше это и выразить невозможно.

— Но это не мешает ему, — резко вмешалась Королева-мать, — иметь самые отвратительные пристрастия. Не будь здесь Вероники и мальчика, я бы вам порассказала о Томе Пьюзи много чего.

— Здесь кто-то есть, — объявил писклявый голос, заставив всех вздрогнуть. — И ему крайне не терпится связаться с вами.

— Скажите ему, что мы ждем, — велела Королева-мать тоном, каким отдавала распоряжения лакею.

— Только что оказался на той стороне, — продолжался писк. — Кажется, даже еще не осознал до конца, что уже покинул этот мир.

Для Пола де Вриза эти слова оказались как свежий след кролика для охотничьей собаки; он мгновенно вскинул голову.

— Какой необычайно интересный случай! — воскликнул он. — Не осознал до конца, что уже покинул этот мир. Но так говорят все — от буддистов Махаяны до...

Писклявый голос начал что-то бубнить.

— Не могли бы вы перестать мешать ей? — попросила Королева-мать.

— Простите, — буркнул он.

Пользуясь полной темнотой, миссис Твейл сочувственно пожала его правую руку, но в то же мгновение совершенно равнодушно и чисто платонически согнутым указательным пальцем вывела на левой ладони Себастьяна буквы: ЛЮБОВЬ, а потом другую непроизносимую комбинацию и еще одну. Внутри нее все бурлило от сдерживаемого беззвучного смеха.

— Он так рад, что вы, родные ему люди, собрались здесь, — сказал голос, вдруг став совершенно внятным. — Ему трудно выразить, какое счастье он ощущает от этого.

«Я бы не стал излагать этого в столь патетически высокопарных словах, — подумал Юстас, — но по сути все верно».

Этот проклятый свет сейчас определенно погас, с появившимися новыми ощущениями, скачущими и чирикающими, как двадцать тысяч воробьев одновременно, ни о какой тишине не могло быть и речи. А какую радость, оказывается, могло приносить обыкновенное люмбаго и даже эта неясного происхождения неизведанная прежде боль в области желудка! А голос Королевы-матери, похожий на звук терки для мускатного ореха, — никакой Моцарт не сравнился бы сейчас с ним в сладостности звучания. Конечно, было очень неудобно, что, по неизвестной причине, все должно проходить через фильтр какого-то посреднического знания. Или, вернее сказать, посреднического невежества. Потому что оно представляло собой всего лишь сгусток организованной тупости, и ничего больше. Ты выдаешь ему самые отборные свои шутки, и четыре раза из пяти оно начинает нести полную околесицу. К примеру, в какую чепуху оно превратило его ответ на слова того американца о факторе сверхъестественного, или о чем он там пытался завести речь! А когда он процитировал строки Себастьяна про округлый зад и грудь простую, оно стало талдычить что-то про груди кормящих матерей. Полный идиотизм! Но, однако же, ему удалось добраться до Королевы-матери, и его перевели почти дословно, потому что даже недоумок не может переврать слова «когти».

А потом произошло нечто весьма необычное.

— А верно ли, — внезапно спросила миссис Твейл тоном, исполненным чрезмерной и потому неискренней невинности, — верно ли, что там, в вашем мире, не женятся и не выходят замуж?

И эти слова словно спустили сжатую пружину. В сознании Юстаса произошел резкий и болезненный сдвиг — и он обнаружил, что знает, даже живо помнит события, которые произошли не с ним самим, события, как он непостижимым образом понял, еще не происшедшие вообще. В широкой шубе с подбитыми плечами и в нелепой шапке, похожей на ту, в которой Винтерхальтер изобразил императрицу Евгению, миссис Твейл сидела на пирсе в окружении множества военно-морских офицеров, а мужчина с взъерошенными волосами и акцентом уроженца Среднего Запада США орал в микрофон. «Корабль класса „Либерти“, — повторял он. — Это четыреста пятьдесят девятый корабль класса „Либерти»[[52]](#footnote-52). И действительно, массивная скала из стали, высившаяся слева, была не чем иным, как носом корабля. И вот уже миссис Твейл поднялась на ноги и потянула на себя болтавшуюся на веревке бутылку шампанского. А потом скала начала ускользать вниз под громкие и ликующие крики толпы. И пока миссис Твейл раздавала улыбки адмиралу и еще нескольким капитанам, подбежал де Вриз и начал говорить о новых открытиях в области баллистики...

«Лично я не из тех, кто задумывается о вопросах брака», — сказал он, пытаясь обратить все в очередную шутку.

Но это тупоголовое существо интерпретировало его слова так:

— Мы здесь даже не думаем о женитьбе.

Юстас хотел вступить в пререкания, заставить ее произнести его фразу правильно, но его раздражение улетучилось с появлением еще одного видения того, что еще не произошло. Маленькая Твейл на софе с очень молоденьким офицером, похожим на тех безбородых юнцов, почти детей, которых мобилизуют во время больших войн. И оставалось только поражаться, чего она только не позволяла ему с собой делать! И неизменно с той же слегка ироничной улыбкой на устах, с тем выражением отстраненного любопытства в ярких темных глазах, широко открытых и видящих все, что бы ни случалось вокруг. В то время как юноша в попытке продлить наслаждение, избавиться от налета стыда и смущения, плотно смежил свои веки.

Живая картина померкла, а потом исчезла, но при мысли, что де Вризу суждены рога, а война неизбежно связана с похотью и самые священные крестовые походы сопровождаются откровенно развратными совокуплениями, Юстаса пробил смех.

«Назад и вниз, солдаты Христа», — произнес он в промежутке между пароксизмами веселья.

— Он говорит, что мы все — воины Христовы, — пропищал голос, а потом, почти сразу: — До свидания, друзья! — И еще раз: — До свидания.

Смех, оглушающий смех. Но затем Юстас вдруг понял, что блаженные ощущения начинают покидать его. Голоса извне делались приглушеннее и неразборчивее; непонятно откуда взявшиеся давление, прикосновение, напряжение тоже перестали восприниматься. И не осталось ничего. Даже люмбаго, даже идиотки посредницы. Ничего, кроме неутолимого вожделения ко всему, что он потерял, и пробившегося снова из-за темного прикрытия продолжительного затмения и такого славного шума, все того же чистого света, сиявшего в полной тишине. Еще более яркого, как никогда тревожащего, как никогда прекрасного и угрожающего в своей простоте. Осознав грозящую опасность, Юстас постарался снова переключить внимание на маленькую Твейл и ее юного любовника в мундире, на огромность, космические масштабы комедии смешения крестового похода и случки. «Назад и вниз, солдаты Христа», — повторил он. И сделав сейчас над собой немалое усилие, рассмеялся так, как не смеялся никогда прежде.

## XVIII

Едва пробило семь часов, когда на следующее утро Себастьян спустился на очередную одинокую прогулку в сад — еще раз попытался пройти через «Люсидас» в направлении собственной, пока еще безымянной и ненаписанной поэмы. Она начнется, решил он, с Венеры на балюстраде, созданной воображением художника из бесформенного камня. Порядок, рожденный из хаоса, который сам по себе включал бесчисленное количество таких же, пусть и менее значимых порядков. И статуя станет эмблемой жизни личности в максимальной приближенности к идеалу совершенства, точно так же, как сад в целом станет символом идеального устройства жизни общества. А от идеала и совершенства мечты он перейдет к реально жизненным уродству, жестокостям, нелепостям, смерти. После чего уже в третьей части блаженство экстаза и сила интеллекта возведут мосты от реального к идеальному — от шлюхи в голубом и суровой жесткости отца к миссис Твейл и к миссис Эсдейл, от трупа в туалете к Феокриту и Марвеллу.

Каким образом ему удастся связать все это воедино, не ударившись в скуку, он не мог знать, не погрузившись в мир слов, призванных выразить его мысли. Пока же его посетили только обрывки фраз, имевших отношение к дяде Юстасу и сеансу прошлого вечера, которым найдется место только где-то во второй части.

И это было прежде человеком.

Что тут поделать. А теперь

Его, как старенький рояль...

Нет, не так. Назовем рояль. Пусть это будет «Бехштейн».

Его, как старенький «Бехштейн»,

Продали за гроши с аукциона.

И грузчики выносят его в дверь,

Ногами шаркая по доскам пола.

В последующих строках он пока не был уверен окончательно.

А между тем в пустой теперь гостиной,

На клавишах, которых не осталось...

Он помотал головой. «Не осталось» — это плохо, прозаично. Ему хотелось подчеркнуть идею отсутствия. «На клавишах, теперь уже ушедших...» А еще лучше — «На клавишах, которых больше нет...»

А между тем бесплотный, словно тень,

На клавишах, которых больше нет,

Играет кто-то вальс и менуэт,

И песенку веселую, что длится, пока не грянет Судный день.

Именно на такую мысль навел его вчерашний сеанс, во время которого писклявая идиотка пыталась трактовать шуточки дяди Юстаса, но даже в безобразном искажении он сумел узнать остов своего четверостишия про Дега. Впрочем, сейчас ему следовало обдумать этот самый «Судный день». Оправдывало ли содержание применение такого затертого клише? Не лучше ли было извилисто протянуть фразу? Возможно, через «гробницу» или вопросительное «чью гробницу», чтобы придать строфе глубины?

Себастьян напряженно размышлял над всем этим, когда был вынужденно выведен из состояния задумчивости. Маленькая девочка, которую он видел тем ужасным утром в вестибюле, неожиданно появилась на вершине лестницы, но на этот раз она несла не младенца и не курицу, а большую корзину. Испуганная тем, что внизу кто-то бродит, она замерла и несколько секунд смотрела на него в растерянности, почти в страхе. Себастьян улыбнулся ей. Ободренная явным знаком доброжелательности со стороны одного из внушавших ей робость signori, девочка тоже улыбнулась и, ступая излишне осторожно лишь на самые мыски своих грубых башмаков, пересекла террасу, чтобы начать прополку цветочной клумбы, узкой и душистой полосой протянувшейся вдоль фасада виллы.

Себастьян продолжил свой променад. Однако присутствие малышки оказалось непреодолимым препятствием для продолжения сочинительства. И не потому, что она шумела или делала резкие движения. Нет, суть проблемы лежала глубже. Его отвлекал сам по себе факт, что она возилась с грубой землей, в то время как он разгуливал, сунув руки в карманы. От близости бедных людей ему всегда делалось не по себе, а если они при этом еще и работали, а он бездельничал, то к прочим эмоциям примешивалось и чувство стыда. Это были как раз те ощущения, которые, как ему иногда представлялось, могли бы заставить его пойти по стопам отца. Но политика неизменно казалась ему чем-то слишком мелким и незначительным. И обычно он находил способ избавиться от дискомфорта и пристыженности, попросту удаляясь от тех, кто стал их причиной. А сегодняшняя ситуация выглядела даже хуже, чем обычно. Потому что у него на глазах трудился ребенок, которому следовало бы предаваться играм, а нищета в контрасте с окружающим великолепием выглядела особенно вопиющей. Себастьян посмотрел на часы, и, опасаясь, что она может как раз наблюдать за ним (чего она, конечно же, не делала), переусердствовал, разыгрывая роль человека, который внезапно понял, что опаздывает на важную встречу, и поспешно удалился. Уже на полпути к входной двери он вспомнил, что у него и в самом деле есть причина поторопиться. После обеда он отправлялся в город. Формально — чтобы осмотреть достопримечательности. Но на самом деле он уже принял решение, что пора бы портному снять с него мерку для вечернего костюма — при том условии, конечно, что ему удастся сначала продать Дега.

Он бегом поднялся к себе в комнату и тут же спустился с большим портфелем. В гостиной никого не оказалось, а вечно стоявший здесь запах сигар дяди Юстаса успел настолько развеяться, что теперь пахло только ароматизирующими цветочными лепестками. Длинный и тонкий, подобный карандашу, солнечный луч рассекал комнату пополам словно с какой-то таинственной целью и утыкался в трех пеликанов на заднем плане полотна Пьеро.

Рисунки лежали на покрытом мрамором столике в эркере центрального окна. Себастьян подошел, развернул коричневую бумагу и из-под двух защитных листов картона достал свое наследство. Округлый зад и грудь простая. Он сунул рисунок в портфель и защелкнул замок. Затем очень тщательно вернул упаковочной бумаге ее прежний вид. Дега и смокинг. Теперь, когда бедный дядя Юстас был мертв, никому до этого не было дела, кроме него одного.

Едва слышный звук пения тоненьким дискантом заставил его вздрогнуть. Он выглянул в открытое окно. И там, прямо под ним сидел на корточках ребенок, от которого он только что сбежал. Ее маленькие загрубелые ручки умело и ловко мелькали среди гиацинтов, выдергивая там сорняк, там пучок лишней травы, чтобы в глазах signori все выглядело безукоризненно.

— Gobbo rotondo, — напевала она себе под нос, — che fai in questo mondo?[[53]](#footnote-53)

Затем, почувствовав чье-то присутствие у себя над головой, посмотрела вверх и увидела Себастьяна. Ее глаза мгновенно приобрели виноватое и испуганное выражение, а почти бесцветные щеки заалели.

— Scusi, signore, — пробормотала она дрожавшим голосом. — Scusi[[54]](#footnote-54).

Себастьян, смутившийся не меньше, чем сама девочка, резко убрал голову и, отойдя от окна, наклонился, чтобы взять портфель.

— Что это вы делаете? — спросил низкий голос у него из-за спины.

Он вздрогнул и обернулся. Но не дожидаясь его ответа, миссис Твейл подошла к окну и выглянула в него.

— Cosa fai?[[55]](#footnote-55) — спросила она.

С наружной террасы донесся испуганный голосок, ответивший на вопрос неразборчиво.

Миссис Твейл пожала плечами и вернулась в центр комнаты.

— О чем вы разговаривали с этим ребенком?

— Я с ней не разговаривал. — Себастьян начал заикаться. — Я всего лишь... Всего лишь... Просто услышал, как она пела.

— Значит, вы послушали ее пение, а теперь сядете и напишете пару строк в стиле Вордсворта?

Он засмеялся, но не вполне искренне.

— А здесь, надо полагать, вы храните свои рукописи?

Она указала на портфель.

Себастьяну оставалось лишь мысленно поблагодарить ее за подобное предположение и кивнуть в ответ.

— Хорошо, оставьте это пока здесь и пойдемте в сад.

Он покорно проследовал за ней через большой холл и парадные двери дома.

— Вам понравился вчерашний сеанс? — спросила миссис Твейл, когда он вышел вместе с ней на террасу.

— О, это было интересно, — ответил он.

— Интересно? — повторила она. — И только-то?

Себастьян побагровел и отвел глаза. Она давала ему возможность поделиться своими мыслями по поводу случившегося вчера вечером — спросить, что это значило, и, быть может, рассказать про Мэри Эсдейл. Но слова не шли из него. Попросту не шли.

Миссис Твейл посмотрела на пунцовую, терзаемую противоречивыми чувствами физиономию стоявшего рядом юнца и едва не расхохоталась. В до чего же комичное положение может поставить себя человек, которому стеснительность мешает говорить! Он решился на реально шокирующий поступок, но теперь не мог добавить к этому ничего, не был в состоянии даже упомянуть о своей отваге. А ведь по большому счету ничего особенного не случилось, чтобы выпускать по этому поводу коммюнике. Но все же, все же...

— Какой забавный кукольный спектакль, — сказала она, чтобы прервать затянувшееся молчание.

— Это вы о спиритическом сеансе?

Миссис Твейл кивнула.

— Но все же в нем присутствовало и нечто подлинное, разве нет? Я имею в виду — иногда, — поправился он, опасаясь, что его принудят защищать заведомо невыгодную позицию.

Но предосторожность оказалась излишней.

— Абсолютно подлинное, — согласилась она. — Смерть точно так же насмехается над жалостью и состраданием, как это делает жизнь.

Они подошли к краю лестницы, и она остановилась, чтобы посмотреть вниз, где между кипарисами виднелись крыши Флоренции. Бесстыдство скрыто в глубине, а на поверхности сплошь Брунеллески и Микеланджело, отменные манеры и туалеты фирмы «Ланвин», искусство, наука и религия. И очарование жизни состояло именно в расхождении между сущностью и видимостью. Искусство жить превратилось в изящнейшую акробатику, в набор sauts périlleux[[56]](#footnote-56) из одного мира в другой, в поразительной легкости, с которой можно было обнаружить случку кроликов на дне самого лощеного с виду цилиндра, но при этом восхищаться лишь элегантностью головного убора, скрывавшего грязных и похотливых грызунов.

— Что ж, мы не можем торчать здесь вечно, — сказала миссис Твейл.

Они пошли дальше. И как будто в глубокой задумчивости и совершенно случайно она положила руку на плечо Себастьяну.

## XIX

— Продать рисунок?

Мсье Вейль придал своему лицу скучающее и чуть пренебрежительное выражение, что всегда делал в подобных случаях. Но когда мальчишка открыл портфель и достал Дега, проданного ce pauvre Monsieur Eustache всего четыре дня назад, он не смог скрыть удивления.

— Где вы взяли этот рисунок? — спросил он.

— Он был мне подарен, — ответил Себастьян.

— Подарен?

«Tout est possible»[[57]](#footnote-57), — подумал мсье Вейль. Но ничто прежде не указывало на то, что старик был гомосексуалистом.

Поняв, что стал объектом подозрений, Себастьян покраснел.

— Да, моим дядей, — ответил он. — Вы его, вероятно, знали. Мистер Барнак.

— Вашим дядей?

Выражение лица мсье Вейля изменилось. Он заулыбался, зажал ладонь Себастьяна между двумя своими и начал трясти.

Один из наиболее уважаемых клиентов. Он даже осмелится назвать его одним из своих лучших друзей. Трагическая новость потрясла всех до глубины души. Непоправимая утрата для искусства. Ему остается только принести свои самые искренние соболезнования.

Себастьян промямлил в ответ слова благодарности.

— И добрый дядюшка подарил вам этот рисунок?

Себастьян кивнул:

— Да. Всего за несколько часов до того, как...

— До того, как сказал всем supreme adieu[[58]](#footnote-58), — поэтически выразился Габриэль Вейль. — Какой же огромной сентиментальной ценностью должна обладать для вас эта вещь!

Щеки Себастьяна приобрели густо-красный оттенок. В оправдание он начал бормотать о том, что у него совершенно нет места, куда можно было повесить рисунок. Кроме того, он нуждался в определенной сумме, которую следовало выплатить незамедлительно — почти что долг чести, добавил он, чтобы придать дополнительного драматизма ситуации. В противном случае ему бы и голову не пришло расставаться с подарком дяди.

Мсье Вейль понимающе закивал, но глаза его уже выдавали напряженную работу мысли и расчетливость.

— Скажите мне, — спросил он, — по какой причине вы решили обратиться со своим предложением именно ко мне?

— Без всякой причины, — честно ответил Себастьян. Просто антикварный магазин мсье Вейля оказался первым попавшимся ему заведением такого рода, когда он вышел на Торнабуони.

Это означало, что он не знал, где были куплены рисунки. Мсье Вейль весело рассмеялся и потрепал Себастьяна по плечу.

— Порой слепой случай служит нам вернейшим поводырем, — назидательно сказал он.

Мсье Вейль посмотрел на рисунок, прищурил веки и критически склонил голову.

— Рисунок неплох, — сказал он, — отнюдь не плох. Хотя его трудно отнести к числу лучших работ этого мастера. — Он положил палец на ягодицы. — Заметен эффект чуть неверной перспективы, верно?

— Мне так не кажется, — возразил Себастьян, мужественно защищая свою собственность от незаслуженной критики.

Наступила небольшая пауза.

— Если дядя делал вам и другие подарки, — бросил мсье Вейль как бы невзначай и не поднимая головы, — я был бы только счастлив рассмотреть возможность их покупки. Например, когда я в последний раз имел честь видеть его коллекцию, помнится, мне понравилось кое-что из китайской бронзы. — Он поднес свои крепкие, но легкие руки на уровень лица, словно держал перед собой и любовался некими священными предметами. — Вещи изящные и красивых пропорций! — воскликнул он с энтузиазмом. — Восхитительное чувство ритма! Но небольшие, очень небольшие. Такие можно легко положить даже в карман.

Повернувшись к Себастьяну, он улыбнулся ему вкрадчиво.

— Я бы мог сделать вам за бронзу весьма выгодное предложение, — сказал он.

— Но она мне не принадлежит. Он подарил мне только вот это.

— Только это? — повторил торговец слегка недоверчивым тоном.

Себастьян опустил глаза. Эта улыбка, этот чересчур пристальный взгляд уже начинали причинять ему дискомфорт. На что намекал этот тип?

— Ничего, кроме этого, — настойчиво повторил он, уже жалея, что не обратился к другому антиквару. — Но, разумеется, если вы не заинтересованы...

Он начал упаковывать рисунок.

— Нет, что вы! — воскликнул мсье Вейль, положив тяжелую руку поверх его руки. — Напротив. Мне всегда было интересно творчество Дега. Даже его самые незначительные, самые мелкие работы.

Через десять минут сделка была завершена.

— ...Девятнадцать, двадцать, двадцать одна, двадцать две. Все правильно, hein?[[59]](#footnote-59)

— Спасибо, — сказал Себастьян. Он забрал толстую пачку купюр в сотню лир каждая и уложил в свой бумажник. Его лицо оставалось раскрасневшимся, но глаза блестели возбуждением и нескрываемой радостью победителя. Ведь сначала торговец предложил ему всего тысячу лир. С несвойственной ему смелостью Себастьян потребовал три. В результате они сошлись на двух тысячах двухстах, что было на двадцать процентов выше средней цифры между предложенной и названной ценой. Чувствуя, что вправе гордиться собой, Себастьян сунул бумажник в карман, поднял взгляд и увидел, что антиквар смотрит на него с почти отеческой нежностью.

— Человека, который уже в столь юные годы умеет со знанием дела сбыть свой товар, — сказал мсье Вейль, снова похлопывая его по плечу, — ждет блестящая карьера в бизнесе.

— Нет, бизнес не для меня, — ответил Себастьян, и когда собеседник вопросительно вздернул брови, пояснил: — Понимаете, я — поэт.

Поэт? Но именно поэтом мечтал стать в молодости мсье Вейль. Чтобы выразить весь лиризм сердца, познавшего страдания...

Les chants désespérés sont les chants les plus beaux,

Et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots[[60]](#footnote-60).

— De purs sanglots, — повторил он. — Mais, hélas...[[61]](#footnote-61) Увы, долг повелел мне пойти другой дорогой.

Он вздохнул и продолжил расспрашивать Себастьяна о его семье. Ведь несомненно, что в такой рафинированной среде существовала давняя традиция почитания поэзии и искусств, не так ли? А когда мальчик сообщил, что его отец был адвокатом, он выразил уверенность, что мистер Барнак был одним из тех просвещенных деятелей юриспруденции, которые посвящали все свободное время музам.

Мысль о том, что у его отца вообще могло быть свободное время и он посвящал его чему-либо, кроме чтения политических документов, вызвала у Себастьяна громкий хохот. Но поскольку, как ему показалось, смех обидел мсье Вейля, он поспешил дать объяснение приступу овладевшего им веселья.

— Понимаете, — сказал он, — мой отец своеобразный человек.

— Своеобразный?

Себастьян кивнул и в своей обычной несколько бессвязной манере пустился в рассказ о профессиональной карьере Джона Барнака. И по не совсем понятной причине, быть может, просто в силу своего нынешнего приподнятого настроения, ему показалось вполне естественным изобразить все в героических тонах — воспеть успешную адвокатскую практику отца, преувеличить его роль как политического деятеля, подчеркнуть величие жертв, на которые ему пришлось пойти.

— Но какое благородство! — воскликнул мсье Вейль.

Себастьян воспринял эти слова так, словно они были похвалой, адресованной лично ему. Теплая волна чужой славы подхватила и понесла его.

— У отца очень много денег, — продолжал он. — Но он все раздает. Политическим беженцам и на другие подобные цели.

Удовольствие от похвальбы заставило его на время позабыть лютую ненависть, которую он испытывал к кровососам, забиравшим то, что по праву принадлежало ему самому и лишившим даже обычного смокинга.

— К примеру, есть такой политик по фамилии Каччигвида...

— Вы говорите о профессоре?

Себастьян кивнул. Мсье Вейль быстрым взглядом оглядел помещение магазина и, хотя он был все еще пуст, возобновил разговор, заметно понизив голос:

— И он что же, друг вашего отца?

— Он приезжал к нам ужинать, — с важным видом ответил Себастьян, — незадолго до нашего отъезда во Флоренцию.

— Лично я, — перешел на шепот мсье Вейль, снова бегло осмотрев магазин, — считаю его великим человеком. Однако позвольте дать вам один добрый совет.

После чего выразительно подмигнул, поднес указательный палец к своим изящной лепки губам и покачал головой.

— Молчание — золото, — произнес он тоном оракула.

Внезапный звонок дверного колокольчика заставил их обоих вздрогнуть и резко повернуться, как пару заговорщиков. В магазин входили две дамы лет сорока: полноватая брюнетка, а вторая — светловолосая, загорелая и спортивного телосложения. Лицо мсье Вейля тут же засветилось искренней радостью.

— Gnädige Baronin![[62]](#footnote-62) — воскликнул он. — Y la reina de Buenos Aires![[63]](#footnote-63)

Буквально оттолкнув Себастьяна в сторону, он перепрыгнул через прилавок с кассой, нырнул под правую руку распятого Христа в натуральную величину и устремился к вошедшим леди, чтобы в экстазе поцеловать им руки.

Себастьян, никем не замеченный, выскользнул из магазина и, насвистывая, бодрой походкой пошел дальше по Торнабуони в направлении собора и ателье портного дяди Юстаса.

## XX

Христианские солдаты, совокупляющиеся солдаты; и все эти войны, эти священные битвы под эхом разносящегося: «Шлюхи! Шлюхи! Шлюхи!» Бог Войны — это всегда и Бог Борделей, всегда и неизбежно Бог Борделей...

Юстасу Барнаку не приходилось больше ничуть напрягаться, чтобы исторгать из себя смех. Он сам рвался теперь наружу, нарушая то, что еще оставалось от ненавистной тишины, подавляя и рассеивая последние проблески сияния.

Вся вселенная сотрясалась теперь в пароксизме веселья, неистовствовала в бурном приступе хохота. И сквозь смех эхо продолжало разносить все те же слова: «Шлюха и бордели, шлюха и бордели».

Внезапно в нем сразу восстановилась значительная в своей величине часть его бывшей интеллектуальной сущности. Он вспомнил свою коллекцию шуток на исторические темы. Миллион жертв и Геттисбергская речь, а потом вид этих униженных и перепуганных черномазых, которых до сих пор встречаешь в маленьких городках Джорджии и Луизианы. Крестовый поход во имя свободы, равенства и братства, а потом приход к власти Наполеона; крестовый поход против Наполеона, а затем подъем германского национализма; крестовый поход против германского национализма, а теперь все эти безработные, торчащие живыми трупами под дождем на каждом углу грязных городских улиц.

И он вспомнил голос Джона, вибрирующий от переполнявшего его энтузиазма, когда он говорил об окончании laissez-faire[[64]](#footnote-64), о рационализации производства и о русской революции. Другими словами, понадобилось уничтожить два с половиной населения Лондона, чтобы отобрать политическую власть у одной шайки негодяев и передать ее другой. И все ради того, чтобы немного ускорить процесс индустриализации, сделать его гораздо более безжалостным к людям, чем он был бы при старом режиме. «Вниз и назад, антихристианские солдаты!» Смех достиг крещендо. Он был преисполнен невероятного радостного возбуждения, торжества насмешки над всеми, экстаза вселенского презрения.

Глупости и убийства, тупость и разрушение! Он легко находил нужные фразы. А движущей силой всегда оставался идеализм, инструментами — героическая отвага и преданность, без которых все эти мужчины и женщины не были бы способны упорствовать в уничтожении друг друга и самих себя.

А если вспомнить все драгоценные достижения науки, которые недрогнувшей рукой ставятся на службу борьбе страстей! Весь гений, вся мощь человеческого интеллекта уходят на попытки достижения целей, которые либо дьявольские по своей природе, либо в принципе неосуществимы! Все проблемы, возникшие после предыдущего крестового похода, решаются методами, которые автоматически порождают сотни новых проблем. И каждая новая проблема потребует отдельного крестового похода против себя, а каждый крестовый поход создаст дополнительные, невиданные прежде сложности, которые будут множиться и множиться, как было испокон веков.

Прибавьте к этому триумфы религии и науки. Реформация и протестантизм, ставший основным спонсором капиталистической эксплуатации. Франциск Ассизский с его чудом Мистического Тела Христова, которое тоже превратили сначала в политическое оружие, а потом в преуспевающий бизнес. Фарадей и Кларк Максвелл, неутомимо трудившиеся, чтобы даже эфир стал разносчиком лжи и мракобесия.

После чего последовал триумф образования — этого божества, на алтарь которого бедный папочка положил пятьдесят тысяч фунтов и построил здание Политехнического института из желтого кирпича. Образование — обязательное и бесплатное. Каждый научился читать, что породило Нортклиффа и вездесущую рекламу слабительного, сигарет и виски. Каждый пошел в школу, и для каждого годы обучения стали прелюдией к призыву на военную службу. А какие были созданы чудесные учебники искаженной истории, чтобы прославить самих себя! В ранг религии повсеместно возвели национализм! Никакого больше Бога; его заменили сорок сороков непогрешимых министерств иностранных дел.

И снова всю вселенную потряс оглушительный взрыв смеха.

## XXI

Это обещал быть скромный неформальный ужин, а Юстас, в конце концов, был ей всего лишь свойственником — не родственником по крови. Посему Королева-мать не видела причин отказываться от приглашения леди Уорплесден. Остаться дома, чтобы встретить приезжавшую тем вечером Дэйзи? Надо честно признать: такая мысль вообще не пришла ей в голову.

— Вам придется как-нибудь одному развлечь мою внучку, — сообщила она Себастьяну за чаем.

— Как одному? Но я думал, что миссис Твейл...

— Веронику я, разумеется, забираю с собой.

Миссис Твейл поспешила приободрить его:

— Вы сразу поймете, что в ней нет ничего пугающего.

— Пугающего? — переспросила Королева-мать презрительно. — Да она размазня. Как бланманже.

— Так что у вас не будет ни малейшего предлога, чтобы мямлить. Или пытаться отмалчиваться, — небрежно добавила миссис Твейл, протянув руку за кусочком сахара. — А это еще один ваш небольшой дефект, который я заметила.

— Кстати, — тут же встрепенулась Королева-мать, — как продвигаются дела с уроками по исправлению речи?

— Очень надеюсь, что уже скоро он продемонстрирует вам свои успехи, — с очень серьезной миной заявила миссис Твейл.

— Продемонстрирует? Что же именно он мне продемонстрирует?

Немедленного ответа не последовало. Себастьян поднял глаза и посмотрел на миссис Твейл с отчаянной мольбой. Но она окинула его полным любопытства взглядом и улыбнулась — словно перед ней разыгрывалась занимательнейшая сценка из комедии нравов.

— Как вы пишете свои стихи? — чуть слышно шепнула она на ухо Себастьяну.

— Что ты там бормочешь? — резко отреагировала на это Королева-мать.

Старушечья голова на сморщенной черепашьей шее начала вопрошающе поворачиваться то туда, то сюда быстрыми, хотя и незрячими движениями.

— Что это было?

— Пожалуйста, не надо. — Себастьян безмолвно изобразил эту фразу одной только артикуляцией губ, которые дрожали от испуга. — Пожалуйста!

На протяжении нескольких ужасающих секунд он пребывал в полном неведении, как она поступит. Потом она повернулась к миссис Гэмбл.

— Ничего особенного, — сказала миссис Твейл. — Просто одна из глупых шуток, которые мы придумали вместе во время уроков произношения.

— Мне не нравится, когда люди придумывают свои особенные шутки, — с хриплой злостью и неприязнью заявила старуха. Невидящими глазами она с неподдельным гневом посмотрела на сидевшую через стол от нее миссис Твейл. — Не нравится, — повторила она. — Очень не нравится.

В полном молчании миссис Твейл изучала окаменевшего скорпиона из каменноугольного периода палеозойской эры.

— Этого больше не повторится, миссис Гэмбл, — сказала она после паузы.

Но когда подумала про себя о том, какой реальный смысл вложила в эти внешне покорные слова, ее глаза сверкнули, а губы чуть заметно сложились в улыбку тайного торжества. Этим утром курьер доставил ей письмо от Пола де Вриза — шесть страниц, печатная машинка, горячечная путаница слов. Пока еще неофициальное предложение руки и сердца. Но стало совершенно очевидно, что миссис Гэмбл уже скоро придется подыскивать себе новую компаньонку. Она встала, тихо прошла за спинкой стула Себастьяна, выбрала одну из его возмутительно очаровательных шелковистых прядей, намотала на палец и быстро, но резко дернула, причинив изрядную боль. Затем, едва ли удостоив его взглядом, продолжила путь к тому месту, где сидела Королева-мать, и забрала чашку из ее когтистых рук.

— Позвольте мне налить вам свежего чаю, — сказала она своим низким, но, как всегда, мелодичным голосом.

Другая женщина была бы, вероятно, раздосадована столь небрежным и непочтительным отношением к себе. Но Дэйзи Окэм была настолько лишена ощущения собственной значимости, что едва ли вообще удивилась, прочитав записку, поданную ей дворецким.

— Моя бабушка уехала ужинать в гости, — объяснила она своему спутнику. — Так что этот вечер мы проведем одни.

Он склонил голову и голосом, который сразу выдавал тот факт, что его обладатель не получил образования в одном из старинных и дорогих учебных заведений, сказал, что ему это только доставит дополнительное удовольствие.

Тощий, остролицый, средних лет мужчина с темно-русыми липкими волосами, зачесанными назад поверх залысин на голове, мистер Тендринг был одет в стиле известных адвокатов или специалистов с Харли-стрит, но, к сожалению, все равно нисколько не походил на них. Его черные в полоску брюки выглядели излишне претенциозно в свои лучшие дни, а черный пиджак явно был по дешевке куплен в магазине готовой одежды. Один лишь воротник полностью соответствовал профессиональным стандартам — высокий, с загнутыми краями, но с несколько чрезмерно широким разрезом, в котором открывался вид на шею мистера Тендринга с остро выступавшим вперед кадыком и неприятно, почти до неприличия голую. В правой руке он держал черный кожаный чемоданчик, слишком важный, чтобы доверить его лакею, который помог гостю снять плащ.

— Как я полагаю, перед ужином вы пожелаете подняться к себе в комнату, — сказала миссис Окэм.

Он снова наклонил голову, но на этот раз молча.

Пока они следовали за дворецким к подножию лестницы, мистер Тендринг осматривался по сторонам своими маленькими, но проницательными глазками — он успел оценить колонны в вестибюле, высокий свод потолка, метнул сквозь открытые двойные двери быстрый взгляд в просторную гостиную, обратив внимание на картины, фарфор, ковры. Мысль о том, сколько же денег было потрачено, чтобы придать дому такой импозантный вид, доставила ему почти чувственное удовольствие. Он питал глубочайшее, хотя и вполне бескорыстное почтение к богатству, нежно и любовно относился к деньгам как таковым, пусть они не имели никакого прямого отношения к нему и не ему принадлежали. Окруженный столь экзотичной и непривычной роскошью, он не ведал зависти, а ощущал лишь благоговение, к которому примешивалось скрытое от всех довольство собой: он, сын простого зеленщика, бывший посыльный, наслаждался всем этим великолепием не как чужак, а как гость, незаменимый финансовый советник и специалист по бухгалтерии и налоговым вопросам новой владелицы виллы. Внезапно серое остроносое лицо приняло расслабленное выражение, и, подобно школьнику, получившему лучшую в классе отметку, мистер Тендринг расплылся в подобии улыбки.

— Ничего не скажешь, настоящий дворец, — обратился он к миссис Окэм, обнажив набор вставных зубов, которые провинциальный дантист сделал настолько ярко-жемчужными, что они оказались бы неуместными даже во рту танцовщицы из второразрядного мюзик-холла.

— Да уж, — неопределенно протянула миссис Окэм. — Да уж.

Она размышляла о том, до чего же остро знакомым представлялось все вокруг. Словно только вчера она еще была той школьницей, которая приезжала во Флоренцию на рождественские и пасхальные каникулы. А теперь уже никого не осталось в живых. Первым стал отец. Такой старый и внушавший трепет, такой высокий, с густыми бровями и с вечно равнодушным ко всему видом, что его уход не стал таким уж судьбоносным событием. Но затем пришел черед ее матери. А для Дэйзи Окэм мать умерла дважды — сначала, когда вышла замуж за Юстаса, и потом снова, уже по-настоящему, пять лет спустя. А когда печаль по этой потере притупилась, она сама вышла замуж, и для нее наступило время безмерного счастья с Фрэнсисом и Фрэнки. Почти четырнадцать лет насыщенной событиями и такой полной радости жизни. Потом в одно солнечное утро в отпуске у моря, когда громко кричали чайки, а ветер разносил в прибрежном воздухе мелкие капли от крупных зеленых, как бутылочное стекло, волн, пенившихся вдоль пляжа, они решили искупаться. Отец и сын, рука мужчины на плече мальчика; оба смеялись, заходя в воду. Всего через полчаса, когда она пошла вслед за ними вдоль полосы песка с термосом горячего молока и бисквитами, увидела, как моряки выносят из моря два тела... А теперь и бедный Юстас, которого любила мать, а она сама именно по этой причине глубоко ненавидела. Однако после смерти мамы Юстас почти совершенно выпал из ее жизни, превратился всего лишь в знакомого, кого время от времени встречаешь в домах других людей. А раз в год, когда возникали какие-либо имущественные вопросы, оба в заранее назначенное время приходили к юристу в «Линкольн инн», и, уладив дела, Юстас вел ее обедать в «Савой», где она слушала его странные, тревожившие душу рассказы, настолько не похожие на все, что она привыкла слышать дома. Она смеялась и думала, что он, в конце концов, вовсе не такой уж плохой человек, просто до странности своеобразный. Даже хороший и умный, вот только жаль, что он так и не сумел сделать ничего путного, обладая талантом и деньгами.

И вот теперь он был мертв, а все деньги достались ей — все деньги, а вместе с ними и ответственность распорядиться ими согласно Божьей воле. При одной только мысли о неожиданно свалившемся на нее бремени миссис Окэм начинала горестно вздыхать. Например, этот дом — что ей с ним делать, ради всего святого? И со всеми слугами, которых насчитывалось, должно быть, не меньше дюжины?

— Все случилось так внезапно, — сказала она по-итальянски дворецкому, когда они поднимались по лестнице.

Тот покачал головой, и выражение неподдельного горя отразилось на его лице. Singnor был к нам так добр. Tanto buono, tanto buono[[65]](#footnote-65). Глаза наполнились слезами.

Миссис Окэм почувствовала, что глубоко тронута. Но все равно она просто не могла продолжать держать такой штат прислуги. Вероятно, если она выплатит им жалованье за год вперед и снабдит хорошими рекомендациями — или, лучше того, даст возможность еще год жить в доме с сохранением жалованья... Но вот только мистер Тендринг ни за что и никогда не позволит ей этого. Она искоса бросила обеспокоенный взгляд на это серое лицо с острым носом и вечно плотно сжатым ртом, в котором губ не было видно вообще. Ни за что и никогда, повторила она про себя, ни за что и никогда. В конце концов, для того он сюда вместе с ней и приехал. Чтобы не дать потерять голову и наделать слишком уж явных глупостей. Она вспомнила о том, что ей постоянно внушал каноник Крессуэлл. «Дабы свершилось мошенничество, необходимы два человека — мошенник и его жертва. Если вы позволите себе стать жертвой, то станете невольной соучастницей и, быть может, введете в искушение прежде ни в чем не повинного человека. А потому не допускайте этого. Ни в коем случае!» Поистине бесценный совет, но как же сложно оказалось для нее следовать ему! А теперь, когда вместо более чем достаточной суммы в тысячу двести фунтов ежегодного дохода в ее распоряжении окажутся сразу шесть тысяч и еще целое состояние в виде дома, мебели, произведений искусства, станет еще сложнее, потому что к ней потянется намного больше жаждущих помощи рук. Вот она и наняла мистера Тендринга, помимо прочих причин, чтобы защититься от своей излишней сентиментальной жалостливости. И тем не менее ею сразу же, помимо воли, овладело желание обеспечить этих бедняков-слуг годовым пансионом с сохранением жалованья. Ведь не их вина, что Юстас скончался так скоропостижно; многие из них находились при нем очень и очень долго... Она снова вздохнула. Как же тяжело разобраться, правильно поступаешь или нет! А потом, когда решение принято, взять на себя ответственность за поступок. Было бы гораздо легче, если бы дело касалось только ее самой. Но в большинстве случаев, как она уже знала по опыту, тебе не удавалось совершить деяние, правильное для одних, чтобы не огорчить почти стольких же людей, скольких осчастливила. И тогда горечь и разочарование обиженных вновь заставляли задуматься, а верно ли ты все сделала. И внутренние раздоры начинали терзать ее заново...

Через полчаса, освежившись в горячей ванне и переодевшись, миссис Окэм вошла в гостиную. Она предполагала, что окажется в полном одиночестве, и потому, когда из глубины одного из огромных, обитых глянцевым ситцем кресел неожиданно вскочила маленькая фигурка и почтительно встала, чтобы приветствовать ее, миссис Окэм издала испуганный и удивленный возглас. Фигура осторожно приблизилась, и когда оказалась в пределах ясного поля зрения близорукой миссис Окэм, она узнала мальчика, с которым разговаривала у публичной библиотеки в Хэмпстеде. Мальчика, напомнившего ей Фрэнки; который и был Фрэнки, как ей тогда с мукой померещилось, ее маленьким сокровищем, каким бы он стал, если бы ему отпустили свыше еще год или два жизни. Как же часто со времени той случайной встречи всего несколько недель назад она упрекала себя за недостаток храбрости, не позволившей ей спросить, как его зовут и где он живет! И вдруг случилось невозможное, и он предстал перед ней здесь, в гостиной дома Юстаса.

— Это вы? — прошептала она, не веря своим глазам. — Но... Но кто же вы?

Живой призрак Фрэнки застенчиво улыбнулся ей.

— Я Себастьян, — ответил он. — Дядя Юстас был моим... Да, он был моим дядей, — закончил он в полном замешательстве.

Внезапно для себя самой и довольно-таки грузно, потому что у нее начали подгибаться колени, миссис Окэм опустилась в ближайшее кресло. Еще мгновение, и она могла лишиться чувств. А потому, закрыв глаза, сделала три или четыре глубоких вдоха. Воцарилось долгое молчание.

Стоя напротив нее, Себастьян переминался с ноги на ногу и размышлял, следует ли ему сейчас сказать ей что-нибудь. Вроде: «Какое любопытное совпадение!» или «Спасибо еще раз за вкусный шоколад, которым вы меня тогда угостили». Но ведь она потеряла сына. Если говорить, то, наверное, об этом. «У меня в прошлый раз не было времени, чтобы выразить вам свои соболезнования». Но даже это звучало крайне неудачно, когда ты видел, до какой степени это несчастное существо опечалено!

Миссис Окэм подняла взгляд.

— Это рука самого Провидения, — сказала она очень тихо.

В ее глазах застыли слезы, но при этом она улыбалась, и улыбка изменила это рыхлое бугристое лицо, сделав его почти красивым.

— Богу угодно вернуть его мне.

Себастьян поежился. Звучало по-настоящему пугающе!

Бог пожелал вернуть ей Фрэнки, думала миссис Окэм, и, вероятно, вернуть ей себя самого. Потому что для нее Фрэнки всегда был живым символом веры, откровением и земным божественным воплощением.

— Бог — это любовь, — сказала она уже громко. — Но что такое любовь? Я не ведала этого, пока не родился мой малыш. Только тогда я начала учиться любви. И каждый день познавала что-то новое. Различные формы любви, степени ее глубины — каждый день на протяжении четырнадцати лет.

Она снова надолго замолчала, думая о том ветреном летнем утре и о рыбаках, неспешно выходивших из моря на пляж. Вспомнила первые недели почти безумного, буйного отчаяния, а затем месяцы пустоты, когда она потеряла надежду, онемела и сама наполовину умерла. К жизни ее вернул каноник Крессуэлл. После несчастья она долго отказывалась даже приближаться к нему. Вопреки здравому смыслу, потому что в глубине души знала: он в силах ей помочь, но она не хотела принимать ничьей помощи, стремилась продлить свое страдание в одиночестве навечно. Потом миссис Крессуэлл каким-то образом узнала, где она жила, и однажды дождливым ноябрьским днем они возникли на пороге унылого старого коттеджа, который она избрала, чтобы спрятаться от всех. И вместо того, чтобы броситься утешать ее в горе, вместо того, чтобы с сочувствием отозваться о ее совершенно больном виде, каноник Крессуэлл заставил ее сесть и выслушать свои слова, назвав ее трусливой эмоциональной эгоисткой, восставшей против Промысла Божьего, и величайшей грешницей, позволившей себе впасть в непростительное отчаяние.

Уже через час миссис Крессуэлл помогала ей навести порядок в коттедже и упаковать вещи. Вечер она провела в клубе для девочек, а утром, которое выпало на воскресенье, отправилась к ранней утренней службе. Она снова вернулась к жизни, но это была неполная жизнь. В прошлом Бог был рядом с ней каждый день. Например, когда она приходила пожелать Фрэнки спокойной ночи, он выбирался из постели в своей розовой пижаме, и они вместе, преклонив колена, молились — тогда Он был с ними, Отец Небесный, приносивший любовь. Но сейчас даже причастие не делало Его ближе. И хотя она искренне любила бедных детишек из клуба, хотя готова была делать для них не меньше, чем делала в прежние времена, когда считала эту работу лишь малой благодарностью за бесконечное счастье, теперь все изменилось. Никто и ничто не могло заменить ей Фрэнки. Она научилась смиренно принимать Божью волю, но только воля эта воспринималась теперь как нечто отдаленное, равнодушное и полностью отстраненное от ее судьбы.

Миссис Окэм достала носовой платок и принялась утирать из глаз слезы.

— Понимаю, вы считаете меня жуткой, старой и сентиментальной дурой, — сказала она, коротко рассмеявшись.

— Нисколько, — вежливо возразил Себастьян.

Но это был тот редкий случай, когда Королева-мать употребила точный эпитет. Размазня, бланманже оказывались сейчас самыми подходящими для нее определениями.

— Вы — сын Джона Барнака, как я теперь понимаю?

Он кивнул.

— Значит, ваша мама...

Миссис Окэм оставила фразу незаконченной. Но ее тон и тоскливое выражение, снова отразившееся в ее серых глазах, красноречиво указывали на то, что она хотела сказать.

— Да, она умерла, — договорил за нее Себастьян.

— Ваша мама умерла, — медленно повторила она.

И ей представился маленький Фрэнки, оставленный в одиночестве посреди этого грубого и равнодушного мира, без единой живой души, способной по-настоящему любить его. Ее сердце мгновенно переполнилось не только любовью, но и состраданием.

Бланманже, думал Себастьян. Бланманже под сладенькой христовой подливкой. А потом, к его величайшему облегчению, вошел дворецкий и объявил, что ужин подан.

Со вздохом миссис Окэм убрала свой платок и попросила слугу пойти и уведомить об этом signore. Повернувшись к Себастьяну, она начала объяснять, кто такой мистер Тендринг.

— Он, быть может, покажется вам... Не знаю, как сказать... Не совсем... — Жеста оказалось достаточно, чтобы пояснить, чего могло не хватать мистеру Тендрингу. — Но в глубине души он добрый человек, — добавила она после некоторого колебания. — Принадлежит к унитарианской церкви, двое детишек, и он сам выращивает помидоры в очень милом маленьком парнике на своем заднем дворе. Что же касается деловых вопросов, то даже не знаю, что бы я без него делала последние пять лет. Вот почему я попросила его приехать со мной — взять все это на себя.

Неловким круговым жестом руки она указала на принадлежавшие Юстасу сокровища.

— Сама я бы даже не знала, с чего начать, — уныло произнесла она.

Звук шагов заставил ее обернуться:

— О, а я как раз говорила о вас, мистер Тендринг. Рассказывала Себастьяну... Кстати, это — Себастьян, племянник мистера Барнака... Рассказывала Себастьяну, насколько потерянной чувствую себя без вашей помощи.

Мистер Тендринг поблагодарил за комплимент легким поклоном, молча пожал Себастьяну руку, а потом повернулся к миссис Окэм, чтобы извиниться за свою задержку.

— Я занимался составлением каталога предметов меблировки предоставленной мне комнаты, — объяснил он и в подтверждение своих слов достал из бокового кармана пиджака небольшой блокнот в черной обложке, протянув ей для изучения.

— Каталога? — повторила миссис Окэм с некоторым изумлением, вставая с кресла.

Мистер Тендринг только еще плотнее поджал губы и с важным видом кивнул. В широком вырезе его воротничка, положенного юристу, адамово яблоко, казалось, зажило своей спазматической жизнью. Намеренно используя фразы, словно взятые из делового письма или из формального документа, он заговорил так:

— Согласно уведомлению, полученному мною от вас, миссис Окэм, прежний хозяин дома, ныне покойный, не застраховал свое имущество на случай пожара или ограбления.

Как ни удивительно это прозвучало, но в ответ миссис Окэм разразилась звучным булькающим смехом.

— Он все время повторял, что не может себе позволить страховку. Из-за завышенных акцизов на гаванские сигары.

Себастьян улыбнулся, но вот мистер Тендринг лишь сурово сдвинул брови, его адамово яблоко взлетело вверх и опустилось, словно оно тоже было шокировано таким легкомысленным отношением к элементарным мерам предосторожности.

— Лично я, — заявил он с мрачной серьезностью, — не понимаю шуток, когда речь идет о крайне значительных вопросах.

Миссис Окэм поспешила умиротворить его.

— И совершенно справедливо, — сказала она. — Вы, безусловно, правы. Но мне по-прежнему не ясна связь между отсутствием у него страховки и вашими усилиями составить подобный каталог.

Мистер Тендринг позволил себе снисходительную улыбку. Зубы танцовщицы из мюзик-холла ярко и торжествующе сверкнули.

— Этот факт, — продолжил он, — позволяет мне сделать предварительное предположение, что покойный владелец никогда не предпринимал попытки составить исчерпывающий инвентарный список принадлежавшего ему имущества.

Он не удержался от еще одной улыбки, явно довольный красотой оборотов речи, к которым прибегал.

— Так вот что вы записываете в этот свой черный блокнот, — сказала миссис Окэм. — И что же, это действительно необходимо?

— Необходимо? — повторил мистер Тендринг почти возмущенно. — Это же sine qua non[[66]](#footnote-66).

Подобный аргумент, разумеется, окончательно снял все вопросы. Немного помолчав, миссис Окэм предложила пойти поужинать.

— Вы не проводите меня, Себастьян? — спросила она.

Себастьян начал с того, что подал ей не ту руку, и пережил жгучий стыд вкупе со смущением, когда миссис Окэм улыбнулась и объяснила: этикет велит ему занять положение по противоположную от нее сторону. Выставить себя на посмешище перед этим провинциальным крючкотвором...

— Как глупо, — пробормотал он. — Я же на самом деле все это прекрасно знаю.

Но миссис Окэм была лишь очарована его неловкостью.

— Вы снова в точности напомнили мне Фрэнки! — воскликнула она весело. — Фрэнки тоже никак не мог запомнить, какую руку следует подавать в таких случаях даме.

Себастьян промолчал, но от постоянных упоминаний о Фрэнки ему уже стало не по себе.

Исподволь, пока они шли в сторону столовой, миссис Окэм пожала ему руку.

— Как же нам повезло, что в доме больше никого не оказалось в наш первый вечер! — сказала она, но тут же поспешила добавить: — Нет, я всегда любила нашу дорогую бабушку. А Вероника, она такая...

Она замялась, вспомнив, как встревожились Крессуэллы, когда мятежный дух стал проглядывать в ярких и спокойных глазах дочери, едва она перестала заплетать косички.

— Такая красивая и умная, — закончила фразу миссис Окэм. — И все равно я страшно рада, что их сейчас здесь нет. Надеюсь, и вы тоже, — добавила она почти с игривой интонацией.

— О да, несомненно, — ответил Себастьян, хотя прозвучало это не слишком убедительно.

## XXII

Но миссис Окэм оказалась не такой мерзкой старухой, как он ожидал, вынужден был признать Себастьян, когда вечер еще даже не подошел к концу. Бланманже как бланманже. С этим ничего не поделаешь, но вполне разумное существо. Она пообещала подарить ему все до единого тома Лебовской классической серии[[67]](#footnote-67), которая хранилась в кабинете ее мужа. И выпущенное в Оксфорде собрание сочинении Донна. Плюс составленный Сэйнтсбери двухтомник «Поэзии эпохи Карла I». А помимо того, что она проявила такую необычайную щедрость, еще и показала себя отнюдь не полной дурой. Верно, она призналась, что не могла петь христианский гимн «Пребудь со мною» и не плакать при этом, но зато ей нравились стихи Джорджа Герберта. И хотя у нее была раздражавшая привычка при упоминании кого бы то ни было называть его непременно «дорогой Такой-то» или, того хуже, «бедный Такой-то», она обладала достаточно развитым чувством юмора, и некоторые из рассказанных ею застольных историй оказались поразительно смешными.

Но ее самое ценное дарование заключалось в том, что при ней ты никогда не чувствовал себя робким и застенчивым. В этом смысле она походила на дядю Юстаса, и, как показалось Себастьяну, секрет обоих состоял в умении ни при каких обстоятельствах не быть претенциозными, не подчеркивать своих особых прав, привилегий или гипертрофированного чувства собственного достоинства. В то время как злобная и мерзкая старуха — Королева-мать — не просто подчеркивала чувство собственного достоинства, но намеренно перечеркивала его в других. И миссис Твейл, несмотря на всю свою внешнюю привлекательность, поступала точно так же, пусть делала это куда как более тонко. Складывалось впечатление, что так или иначе, но она всегда использовала тебя как средство для достижения каких-то своих личных целей, остававшихся загадочными и непредсказуемыми. В то время как с миссис Окэм единственной целью становился ты сам, а ей всего-то и нужно было, чтобы ей милостиво разрешили восторгаться тобой и прославлять тебя. Оказалось, что это довольно-таки приятное чувство. Настолько приятное и вдохновляющее, что Себастьян уже скоро не только вообще перестал стесняться ее, но и начал выставлять свои достоинства напоказ и даже диктовать правила. За исключением Сьюзен — а ее, если честно, он даже не принимал в расчет, — ему впервые встретился человек, готовый с таким уважением выслушивать все, что бы ему ни взбрело в голову сказать. Поощряемый ее восхищением и нисколько не сдерживаемый мистером Тендрингом, который вообще не принимал участия в разговоре и охотно позволял игнорировать свое присутствие, Себастьян уже после второго бокала вина стал необычайно красноречив. Когда ему не хватало собственных мыслей, он беззастенчиво заимствовал идеи Юстаса Барнака. Его замечание о сходстве Викторианской эпохи в ее срединной части с культурой итальянского примитива было найдено поразительно верным. Но даже вино, придавшее смелости и снявшее напряжение застенчивости, не позволило ему повторить того, что дядя Юстас сказал о Венере и Адонисе. Сама миссис Окэм нарушила молчание, по большей части воцарившееся после окончания обеда, и заговорила первой, когда они стояли и разглядывали полотно Пьеро.

— Странная все-таки штука — искусство, — сказала она, в задумчивости покачивая головой. — Порой даже очень странная.

Себастьян окинул ее улыбкой, в которой сквозили удивление и одновременно жалость к ней. После этой ремарки им окончательно овладело чувство превосходства.

— Произведения искусства нельзя приравнивать к трактатам на моральные темы, — сказал он покровительственным тоном.

— Конечно, конечно, я это понимаю, — согласилась миссис Окэм. — Но все же...

— Все же что?

— Зачем поднимать вокруг подобных тем столько шума, уделять им так много внимания?

Сама она его, разумеется, не уделяла, если не считать сугубо негативного отношения: секс всегда воспринимался ею как нечто необходимое, но неприятное. И вопреки всем опасениям и многочисленным предостережениям матушки об угрозах, исходивших от коварного противоположного пола, оказалось, что и ее милый Фрэнсис тоже вполне к нему равнодушен. Почему же другие считали необходимым так много думать и рассуждать о нем, писать все эти книги и любовные стихи, создавать живописные полотна вроде того, на которое они смотрели сейчас? Ведь если бы люди не превозносили подобные картины как великое искусство, никому бы и в голову не пришло вывесить нечто подобное в приличном доме, где невинные мальчики вроде Фрэнки или вот Себастьяна...

— Зачастую, — продолжала она, — я просто не в состоянии постичь...

— Прошу прощения, — оборвал ее мистер Тендринг, внезапно протиснувшийся между ними поближе к мифологической наготе.

Сначала по горизонтали, а потом по вертикали он измерил рулеткой размеры картины. Потом, вытащив карандаш, который держал в это время зажатым между жемчужных зубов, сделал запись в блокноте. «*Картина маслом: Антоний и Клеопатра. Старинная. 41 дюйм на 20,5 дюйма.*

*В раме* ».

— Спасибо, — сказал он и перешел к Сера. Двадцать шесть на шестнадцать; в раме, которая почему-то не сияла позолотой и не восхищала ручной лепкой, а имела весьма простой и дешевый вид, да и само полотно напоминало красками и точками камуфляж, который наносили на корабли во время войны.

Миссис Окэм усадила Себастьяна на софу и, пока они пили кофе, принялась расспрашивать об отце:

— Он ведь не слишком ладил с дорогим бедным Юстасом, верно?

— Дядю Юстаса он ненавидел.

Миссис Окэм была повергнута в шок.

— Ты не должен так говорить, Себастьян.

— Но это правда, — упрямо настаивал он.

И когда она попыталась все сгладить, превратить в свое обычное бланманже, рассуждая о братьях, которые, вероятно, слишком редко виделись, но не могли же в самом деле питать друг к другу ненависть, забыв о своем кровном родстве, Себастьяна это скоро начало выводить из себя.

— Вы не знаете моего отца, — сказал он резко.

И начисто забыв о том героическом портрете, который он изобразил для Габриэля Вейля, Себастьян пустился в полный горечи рассказ о подлинном характере и замашках Джона Барнака. Глубоко огорченная миссис Окэм попыталась убедить его, что речь идет всего лишь о взаимном непонимании. Когда он станет старше, то убедится — отец всегда исходил из самых лучших побуждений. Но единственное, чего она добилась благонамеренными нотациями, так это подвигла Себастьяна на еще большую несдержанность в выражениях. А затем самым естественным в его возрасте образом неприязнь к отцу трансформировалась в жалобы. Он внезапно почувствовал приступ острого сочувствия к самому себе и начал говорить об этом.

Теперь миссис Окэм была тронута до глубины души. Даже если мистер Барнак не так плох, как его воспринимает Себастьян, если он всего лишь очень занятой человек с суровым характером и недостатком времени на нежности, этого вполне достаточно, чтобы сделать несчастным столь чувствительного мальчика. И слушая Себастьяна, она все больше убеждалась, что сам Бог свел их сейчас вместе — бедного ребенка, лишившегося матери, и скорбящую мать, потерявшую единственное дитя. Да, свел их вместе, чтобы они помогли друг другу и укрепились в желании заниматься в этом мире богоугодными делами.

А Себастьян тем временем перешел к повествованию о своем вечернем костюме.

Миссис Окэм мгновенно вспомнила, как чудесно выглядел ее обожаемый Фрэнки в смокинге, который она купила ему к тринадцатому дню рождения. Такой взрослый, но одновременно так трогательно юный. Ее глаза наполнились слезами. И это стало для нее окончательным свидетельством, как тяжело было Себастьяну выносить столь жесткое отношение к себе отца, который жертвовал интересами сына во имя обыкновенных политических предрассудков.

— О, как же мило было со стороны дорогого Юстаса подарить его тебе! — воскликнула она, когда он дошел до финала истории.

Но Себастьяна даже обидел этот ее елейный тон, подразумевавший: хорошо все, что хорошо кончается.

— Но дядя Юстас только пообещал мне смокинг, — сказал он мрачно. — А потом... Потом с ним случилось это несчастье.

— Значит, костюма ты так и не получил?

Он помотал головой.

— Бедняжка, тебе действительно не повезло!

Себастьяну, погруженному в глубочайшую жалость к самому себе, ее проникновенные слова пролились как бальзам на душу. Услышать настолько прямо высказанное мнение, что он действительно стал жертвой несправедливости судьбы, было до такой степени отрадно, что показалось почти святотатством пускаться сейчас в дальнейшие объяснения: упоминать о рисунке, двух тысячах двухстах лирах и визите к портному. К чему вдаваться в подробности, которые в его нынешнем настроении вообще казались несущественными и ничего, по сути, не менявшими? Но затем они совершенно внезапно сами собой выдвинулись на передний план и стали частью реальности. Потому что миссис Окэм склонилась вперед и положила ладонь ему на колено, а ее рыхлое лицо осветилось нежнейшей из улыбок.

— Себастьян! Я должна просить вас об огромном одолжении.

Он тоже одарил ее очаровательной улыбкой и вопросительно вздернул брови.

— Юстас обещал вам нечто, — пояснила она, — но не сумел сдержать слово. Но его обещание могу исполнить я. Вы разрешите мне закончить начатое им, Себастьян?

Он какое-то время смотрел на нее, не уверенный, правильно ли все понял. Затем, когда до него дошло, что смысл сказанного ею мог быть только один, кровь прилила к его щекам.

— Вы имеете в виду... Вы говорите о смокинге?

В величайшем смущении ему пришлось отвести глаза в сторону.

— Мне бы это доставило огромное удовольствие, — сказала она.

— Вы очень добры ко мне, — пробормотал он, — но, право же...

— В конце концов, это было одно из последних желаний дорогого бедняги Юстаса.

— Я знаю, но...

Он колебался, раздумывая, стоит ли рассказать ей о рисунке. Она ведь могла подумать, как, несомненно, подумал тот скользкий тип Вейль, что ему следовало бы повременить с продажей рисунка, не делать этого так скоро после похорон. А ей он никак не мог наплести чепухи про некий долг чести. Кроме того, если он собирался упомянуть о рисунке вообще, то следовало рассказать о нем сразу. Завести о нем речь сейчас значило признать, что он пытался вызвать ее жалость и напрашивался на щедрое предложение, не имея на то никаких оснований. И каким же дурачком будет он выглядеть в ее глазах, и к тому же каким корыстным!

— Прошу, не забывайте, — добавила миссис Окэм, которая приписала его нерешительность понятному нежеланию принимать дорогой подарок от посторонней женщины, — что я тоже часть вашей семьи. Приемная двоюродная сестра, так, кажется, называется степень моего с вами родства.

Как же деликатен этот милый мальчик! Она снова улыбнулась ему с еще большей нежностью во взгляде.

Чувствуя глубочайший внутренний разлад, Себастьян попытался ответить на ее улыбку. Слишком поздно пускаться в объяснения. Не оставалось ничего, как предоставить событиям самим развиваться дальше.

— Что ж, если для вас это в самом деле не проблема, — сказал он.

— Ах, как чудесно! Очень хорошо! — воскликнула миссис Окэм. — Тогда мы отправимся к портному вместе. Это будет занятно, не правда ли?

Он кивнул и сказал, что это действительно может оказаться очень занятным.

— Мы выберем лучшего портного во всем городе.

— Я как раз заметил одно ателье на улице Торнабуони, — тут же сказал он, понимая, что теперь во что бы то ни стало должен отвадить ее от того места, что располагалось рядом с собором.

Но какой же глупостью с его стороны оказалось желание продать рисунок так поспешно! Вместе того, чтобы немного выждать и посмотреть, как сложится ситуация. А теперь у него будут сразу два смокинга. И даже приберечь один из них на будущее не получится. Через пару лет ему станут малы сразу оба. Что ж, в конце концов, это уже не имело никакого значения.

— Когда мы вернемся в Лондон, — сказала миссис Окэм, — я надеюсь, что однажды вы согласитесь поужинать со мной в вашем новом вечернем наряде.

— С превеликим удовольствием, — вежливо ответил он.

— А потом вы составите мне компанию, и мы вместе станем ходить на спектакли и концерты, куда у меня никогда не хватало энергии собраться одной.

Спектакли, концерты... От подобной перспективы у него разгорелись глаза.

Они заговорили о музыке. Оказалось, что миссис Окэм часто посещала концерты, пока был жив муж. Они вместе ездили в Зальцбург ради Моцарта и современных композиторов, в Байрейт, чтобы почтить память Вагнера, слушали в Милане «Отелло» и «Фальстафа». Этим достижениям Себастьян мог противопоставить лишь несколько не слишком славных вечеров в Куинз-Холле. Спасая свою репутацию, он вдруг обнаружил, что ударился в хвастливую фантазию о том, что у него есть близкий друг, старый пианист, который больше не концертирует, но сохранил свое виртуозное мастерство. Блестящий музыкант. Доктор Пфайффер, может быть, слышали? Нет. Странно. В свое время он пользовался европейской известностью.

Между тем под сурдинку мистер Тендринг закончил с замерами картин и работал теперь над изделиями из фарфора, оникса и слоновой кости. Тысячи и тысячи фунтов, повторял он время от времени про себя, растягивая дифтонги, как всякий кокни. Многие тысячи фунтов... При этом он чувствовал себя необычайно счастливым человеком.

В четверть одиннадцатого в вестибюле раздались звуки какой-то суеты, а потом как с плаца, где проходил парад призраков, донесся командирский голос Королевы-матери.

— А вот и наша дорогая старая бабушка, — сказала миссис Окэм, перебивая Себастьяна на середине фразы.

Она поднялась и устремилась к двери. В холле горничная как раз закончила помогать миссис Гэмбл избавляться от верхней одежды и передавала ей в этот момент с рук на руки померанского любимца.

— Мой маленький Фокси-мопси! — вскричала Королева-мать. — Он так скучал по своей мамочке! Скучал ведь, правда?

Фокси VIII лизнул ее в подбородок, а потом повернулся, чтобы облаять незнакомку.

— Бабушка, дорогая!

Зазвенев, как целая люстра из бриллиантов, миссис Гэмбл тоже повернулась на голос.

— Это Дэйзи? — хрипло спросила она.

И когда Дэйзи ответила, что да, это она, старуха подставила сморщенную и красную до кирпичного оттенка щеку, в то же время ловко убрав Фокси за спину, чтобы тот не покусал внучку, когда она будет отдавать ей дань уважения.

Миссис Окэм поцеловала ее, не подвергаясь опасности.

— Как я рада снова вас видеть! — сказала она сквозь писклявый лай.

— Почему у тебя такой холодный нос? — неожиданно спросила Королева-мать. — Надеюсь, ты не простужена?

Миссис Окэм пришлось заверить ее, что она никогда не чувствовала себя лучше. Потом она обратилась к миссис Твейл, которая держалась чуть в стороне молчаливым, ясноглазым, слегка улыбающимся зрителем.

— А вот и наша милая маленькая Вероника, — сказала она, протягивая обе руки.

Миссис Твейл последовала ее примеру, и они обменялись двойными рукопожатиями.

— Вы стали даже краше, чем прежде! — воскликнула миссис Окэм с искренним восхищением.

— Хватит, Дэйзи, — рыкнула Королева-мать. — Ты несешь всякий вздор, как школьница.

Слышать, что в ее присутствии делали комплименты другим, она всегда терпеть не могла. Но миссис Окэм простодушно не поняла намека и только усугубила нанесенное уже оскорбление.

— Но я вовсе не несу вздора, — возразила она, взяв свою бабушку за руку и пробуя отвести ее в гостиную. — Это просто констатация факта.

Королева-мать злобно фыркнула:

— Я никогда прежде не видела, чтобы Вероника сияла красотой так ярко, как этим вечером.

Все хорошо, думала миссис Твейл, следуя за ними, но если это правда, то она жила в мире иллюзий. Ей самой мнилось, что ее лицо совершенно непроницаемо и дает железное эмоциональное алиби, а оказывалось, что на нем все читалось, как в открытой книге.

Она внутренне напряглась. Не хватало ей гипотетического Бога, от которого ни у кого не могло быть тайн или секретных помыслов. Но выдать потаенные мысли даже такой простушке, как Дэйзи Окэм, — это ли не подлинное унижение?

Конечно, у нее было для этого оправдание. Не каждый вечер тебе делал предложение Пол де Вриз. Но, с другой стороны, именно в таких исключительных и важных ситуациях более всего необходимо уметь скрывать от других свои истинные чувства. А она позволила приметам радости проступить на лице так явственно, что даже эта старая гусыня Дэйзи сумела разглядеть их. Собственно, сейчас большого вреда это принести ей не могло. Но зато она получила еще один урок: поняла, какой осторожной и неусыпно бдительной следует быть впредь.

Миссис Твейл слегка нахмурилась, но потом расслабила лицевые мышцы и сознательным усилием снова придала себе вид отстраненный и равнодушный. Никакого больше предательски выдававшего ее сияния! Перед внешним миром она представала непроницаемым символом чуть загадочной, но не привлекающей лишнего внимания вежливости и хороших манер. А вот уже под надежной маской можно было сколько угодно предаваться тайной безудержной радости, молча хохотать и искрометно праздновать свою победу!

Все случилось после ужина, когда старый лорд Уорплесден, астроном-любитель, настоял на том, чтобы миссис Твейл и маленькая Контессина поднялись на вершину башни, где он установил шестидюймовый рефракторный телескоп. Первоклассный инструмент, хвастался он. Изделие фирмы «Цейсс» из Йены. Однако среди молоденьких соседок телескоп получил известность по совершенно иным причинам. Звездочет заманивал их по очереди под купол своей миниатюрной обсерватории, а затем под предлогом, что ему необходимо помочь девушке правильно занять положение, чтобы разглядеть спутники Юпитера, принимался их отчаянно лапать, не переставая громко бубнить о Галилее. Потом, если девушка попадалась не слишком строптивая, он мог показать ей и кольца Сатурна. А ведь были еще и спиральные туманности. Чтобы увидеть их, требовалось по меньшей мере еще минут десять тщательной настройки. Девушки, у которых хватало терпения до туманностей, на следующий день получали большой флакон духов с игривым приглашением прийти снова и по-настоящему изучить поверхность Луны, на котором была выдавлена корона и стояла подпись: «Ваш преданный друг, У.».

Запас духов у Контессины, видимо, подходил к концу, поскольку прошло полчаса, прежде чем они вдвоем со старым джентльменом вновь показались из тесного помещения обсерватории. Этого времени Полу, который без приглашения последовал за всеми на вершину башни, вполне хватило, чтобы оглядеть невооруженным глазом ночное небо, прочесть лекцию об Эддинтоне, взглянуть вниз на огни Флоренции, громогласно отметить красоту вида, который представлялся сверху земными созвездиями. Потом он немного помолчал. Заговорил о Данте и его «Новой жизни». Снова помолчал, а затем взял ее за руку и, задыхаясь, невнятно произнося слова, попросил стать его женой.

Сама по себе смехотворность ситуации и неожиданное даже для нее самой радостное чувство чуть не заставили ее громко расхохотаться.

Наконец-то! Магнит сделал свое дело; философский глаз окончательно сдался присущему жизни бесстыдству. В долгой борьбе между видимостью и реальностью победила реальность. Как должна побеждать всегда; всегда и везде.

Нелепый спектакль! Но, по крайней мере, для нее эта шутка будет иметь очень важные и серьезные последствия. Она означает свободу; дает власть самой выбирать для себя окружение. Теперь свой приватный мир можно будет создать не только внутри своего существа, но и вовне. Собственный дом и положение в обществе. Апартаменты в «Ритце» и смена мышления, расположения ума, которому становились доступны любые, самые роскошные фантазии.

— Ты согласна, Вероника? — взволнованно спросил он, потому что она отвернулась и несколько секунд хранила молчание. — О, моя дорогая, умоляю, скажи «да»!

Только полностью уверившись, что сможет говорить, не выдав себя с головой, она посмотрела на него.

Дорогой Пол... Тронута невыразимо... Но это такая неожиданность... Хотела бы подумать день или два, прежде чем дать определенный ответ...

Дверь крохотной обсерватории открылась, и стало слышно, как лорд Уорплесден громко рекомендует Контессине больше читать популярных трудов сэра Джеймса Джинса, члена Королевского общества астрономов. В его случае, отметила миссис Твейл, глаз был астрономический и дипломатический, а вот магнит оставался тем же: точно такое же бесстыдство. А всего через несколько лет этот человек вступит в последнюю фазу бесстыдства и умрет.

Между тем в гостиной Королева-мать реагировала на простонародный прононс мистера Тендринга в точности так, как того и опасалась внучка. На его вежливый вопрос о состоянии своего здоровья она ответила просьбой просто произнести свою фамилию по буквам, а когда он это сделал, громко сказала:

— Как странно звучит! — и повторила фамилию Тендринг два или три раза с отчетливым отвращением в голосе, словно ее против воли заставили обсуждать скунсов или человеческие экскременты. Потом она повернулась к Дэйзи и сиплым театральным шепотом поинтересовалась, зачем, во имя всего святого, она притащила с собой этого жуткого ничтожного простолюдина. К счастью, миссис Окэм хватило находчивости, чтобы перекрыть последнюю фразу старой леди первым предложением своего громкого и полного энтузиазма рассказа о предыдущей и совершенно случайной встрече с Себастьяном.

— Ах, так ты считаешь, что он похож на Фрэнки? — спросила Королева-мать, немного послушав ее молча. — В таком случае наш Себастьян должен выглядеть намного моложе своих лет, совсем еще ребенком.

— Он выглядит очень мило! — воскликнула миссис Окэм елейно-сентиментальным тоном, от которого Себастьяна коробило едва ли не больше, чем от оскорбительных речей ее бабки.

— Мне не нравится, когда мальчики кажутся милыми, — продолжала миссис Гэмбл. — Особенно если вокруг вертятся типы вроде Тома Пьюзи. — Она понизила голос. — А этот твой маленький человечек, Дэйзи? Он хотя бы не опасен для мальчиков?

— Бабушка! — в ужасе вскричала миссис Окэм.

Она в тревоге огляделась по сторонам и с облегчением заметила, что мистер Тендринг уже отошел в другой конец комнаты, где вносил в свой каталог статуэтки Каподимонте и стоявшее между двух окон бюро.

— Слава богу, — выдохнула она, — что он не слышал ваших слов.

— А хоть бы и слышал, — сказала Королева-мать. — По таким типам тюрьма плачет.

— Но он вовсе не из числа подобных людей, — возмущенным шепотом возразила миссис Окэм.

— Это ты так думаешь, — усмехнулась Королева-мать. — Но если ты воображаешь, что хотя бы немного разбираешься в подобных вещах, то глубоко ошибаешься.

— Я и не хочу в них разбираться, — содрогнувшись, ответила миссис Окэм. — Это нечто жуткое!

— Тогда зачем вообще поднимать эту тему? Особенно в присутствии Вероники. Вероника! — позвала она. — Ты слышала, о чем мы говорили?

— Лишь фрагментами, — сдержанно признала миссис Твейл.

— Вот видишь! — сказала Королева-мать с упреком и одновременно триумфом в голосе. — Но она хотя бы успела побывать замужем. А ведь здесь есть еще и этот мальчик. Мальчик! — властно обратилась она, глядя в никуда. — Скажи, что ты об этом думаешь?

Себастьян покраснел.

— Вы имеете в виду... О тюремном заключении?

— О каком еще тюремном заключении? — раздраженно повторила Королева-мать. — Что ты думаешь о своей новой встрече с моей внучкой?

— Ах вот вы о чем! Что ж, это, разумеется, просто поразительно. То есть я хотел сказать, насколько же забавные случаются иногда совпадения, не так ли?

Импульсивно миссис Окэм обняла Себастьяна за плечи и прижала к себе.

— Забавные — не совсем подходящее слово, — сказала она. — «Радостные» будет правильнее. Счастливые, словно ниспосланные самим Господом. Да, воистину самим Господом, — повторила она, и на ее глаза опять с необычайной легкостью навернулись слезы, а голос задрожал от переполнявших ее эмоций.

— Господь здесь, Господь там, — проворчала Королева-мать. — Ты слишком много говоришь о Боге.

— Но о Нем невозможно думать или говорить слишком много.

— Поминать Его имя всуе — это богохульство.

— Но Себастьяна действительно послал мне сам Бог.

И дабы подчеркнуть силу своей убежденности, миссис Окэм стиснула его еще крепче. С ощущением полной беспомощности Себастьян покорно позволял обнимать себя. Он чувствовал невероятное смущение. Она на публике выставляла его дурачком, причем до какой степени глупо он выглядел, можно было прочитать на лице миссис Твейл. На нем застыло то же выражение, какое он видел в тот день, когда она мучила его попытками заставить демонстративно шокировать миссис Гэмбл, — это был тот же полный жадного любопытства взгляд зрителя, перед которым разыгрывался эпизод из очень смешной комедии нравов.

— И не только богохульство, — продолжала Королева-мать. — Все время талдычить о Боге — признак дурного вкуса. Как носить жемчуга целый день вместо того, чтобы надевать их вечером, когда готовишься к ужину.

— Кстати, об одежде к ужину, — сказала миссис Окэм, стремясь перевести разговор в более спокойное русло. — Мы с Себастьяном договорились, что станем часто посещать вместе театральные спектакли и концерты, когда вернемся в Лондон. Верно я говорю, Себастьян?

Он кивнул и неловко улыбнулся. Затем, к его величайшему облегчению, миссис Окэм сняла руку с его плеча, и он смог отойти в сторону.

Из-за занавески своей воображаемой частной ложи миссис Твейл наблюдала за всем этим и получала удовольствие от комической пьесы. Святой Женщиной буквально овладел нестерпимый материнский зуд. Но мальчик, что было вполне естественно, не горел желанием стать жертвой этой разновидности женского вожделения. Поэтому бедной старой святоше приходилось подкупать его. Театры и концерты призваны были соблазнить его на роль малолетнего жиголо и помочь ей удовлетворить свою материнскую похоть. Но ведь существуют и другие формы житейского бесстыдства, которые юнцу покажутся куда как привлекательнее навязчивой «мамочки». Имеются магниты, беззастенчиво льстила она себе, гораздо более притягательные, чем похожее на мордочку мопса лицо Дэйзи, чем ее целомудренная, но перезрелая грудь. Может получиться занятно, если устроить интересный научный эксперимент... Украдкой от всех она улыбнулась. Да, вдвойне занятно после того, что произошло сегодня вечером на башне лорда Уорплесдена, а уж научные результаты могли стать поистине шокирующими в своей огромности.

При упоминании о концертах Королева-мать, которой всегда претила мысль о том, что ее могли лишить возможности стать причастной к чему бы то ни было, настояла на своем непременном присутствии, куда бы они ни направились. Но, разумеется, она сразу отвергла любую современную музыку, как и Баха, от которого ее всегда начинало клонить в сон. Это же касалось струнных квартетов — она терпеть не могла эти утомительные визгливые или скрипучие звуки...

Внезапно на сцене снова появился мистер Тендринг.

— Прошу прощения, — сказал он, когда Королева-мать закончила перечисление своих музыкальных фобий, и передал миссис Окэм листок бумаги.

— Что это? — спросила она.

— Несовпадение данных, — ответил мистер Тендринг, употребив со всей серьезностью термин из лексикона лицензированных бухгалтеров.

Фокси, обладавший слухом, глазом и нюхом собаки из богатой семьи на представителей менее привилегированных сословий, начал рычать.

— Ну-ну, тихо, — ласково успокоила его Королева-мать. Затем, повернувшись к миссис Окэм, пролаяла сама: — Что несет этот ваш странный человек?

— Несовпадение, — объяснил мистер Тендринг, — между квитанцией, полученной покойным владельцем дома в день его... Э-э, в день его кончины. И количеством предметов, фактически находящихся в упаковке. Он купил два, но сейчас там только одно.

— Одно что? — спросила миссис Окэм.

Мистер Тендринг улыбнулся почти лукаво.

— Как я предполагаю, это можно назвать произведениями искусства, — сказал он.

Себастьян внезапно ощутил приступ тошноты.

— Извольте пройти сюда, — предложил мистер Тендринг.

Они проследовали за ним к столику у окна. Миссис Окэм осмотрела сначала оставшийся рисунок Дега, а потом листок, в котором мсье Вейль засвидетельствовал покупку двух рисунков.

— Дайте-ка мне их, — сказала Королева-мать, когда ей объяснили ситуацию.

В тишине она ощупала картонку из-под рисунков и тонкую бумажку из магазина, а затем вернула их миссис Окэм.

— Значит, второй был украден, — сказала она, смакуя каждое слово.

«Украден!» — повторил Себастьян. Так и получится — они решат, что он украл рисунок. Только сейчас до него впервые дошло: у него нет никаких доказательств, что дядя Юстас подарил ему рисунок. Даже эта их маленькая шутка во время сеанса ничего на самом деле не доказывала. «Округлый зад и грудь простая» — эти слова имели ясный смысл для него. Но так ли очевидно будет их значение для других, если он попытается все объяснить?

Тем временем миссис Окэм ринулась пылко опровергать безосновательное пока предположение своей бабушки. Но упрямая старуха стояла на своем.

— Это, конечно же, один из слуг, — утверждала она почти ликующе.

И пустилась в долгий рассказ о своем бывшем дворецком, выпившем почти три дюжины бутылок ее лучшего бренди, о горничной, пойманной с рубиновой брошью Эми, о шофере, который выставлял завышенные счета за бензин и ремонт машины, о младшем садовнике...

А тот факт, что он сразу же отправился и продал рисунок, выставит его в самом дурном свете. Ах, если бы только он упомянул о подарке в то утро, когда обнаружили тело! Или во время сеанса — да, это был самый подходящий момент. Или сегодня утром в разговоре с миссис Твейл. Или даже вечером, когда миссис Окэм предложила ему сшить смокинг, пусть он рисковал предстать в ее глазах жалобщиком, ищущим сострадания без особых на то оснований. Ах, если бы только, если бы только... Потому что теперь было слишком поздно. Расскажи он об этом сейчас, и все будет выглядеть так, словно он признался только потому, что его поймали. А история с щедрым подарком дяди Юстаса прозвучит как придуманная на ходу, чтобы скрыть чувство вины — как глупая и неубедительная ложь. И все же, если он промолчит, одному богу известно, чем все это закончится.

— Но у нас нет никаких оснований даже предполагать, что рисунок был украден, — сказала миссис Окэм, дождавшись, пока поток воспоминаний Королевы-матери о бесчестных слугах иссякнет. — Бедный Юстас, вероятно, вынул его из упаковки и переложил в другое место.

— Он не мог никуда его переложить, — возразила Королева-мать, — потому что никуда не выходил. Юстас находился в этой комнате вместе с мальчиком, пока ему не приспичило в туалет, где он испустил дух. Все время в этой комнате — это ведь так, мальчик?

Себастьян кивнул, не вымолвив ни слова.

— Ты можешь ответить как полагается? — потребовал призрак армейского сержанта.

— О, извините, я и забыл... То есть конечно да, он был здесь. Все время.

— Ты только послушай это, Вероника, — заметила Королева-мать. — Он мямлит хуже, чем прежде.

Миссис Окэм обратилась к Себастьяну.

— Вы видели, как он что-нибудь делал с рисунком тем вечером? — спросила она.

На мгновение Себастьян растерялся, но потом в панике помотал головой:

— Нет, миссис Окэм.

Чувствуя, что краснеет до корней волос, он отвернулся и в попытке спрятать лицо, на котором, как ему представлялось, было написано все, склонился ниже над лежавшим на столике вторым рисунком.

— Говорю же тебе — его украли, — услышал он победоносный голос Королевы-матери.

— О, мистер Тендринг, и зачем только вы это обнаружили? — почти с тоской взвыла миссис Окэм.

Тот начал исполненную достоинства речь о профессиональном долге, но был снова бесцеремонно перебит Королевой-матерью.

— Послушай меня, Дэйзи, — сказала она. — Я не позволю тебе строить из себя сентиментальную идиотку, сочувствующую толпе никчемных слуг. Да они, скорее всего, грабят тебя направо и налево прямо сейчас!

— Это невозможно! — воскликнула миссис Окэм. — Я просто отказываюсь верить в такое. И вообще, зачем поднимать столько шума из-за какого-то жалкого рисунка? Если он такой же уродливый, как и оставшийся...

— Как это зачем? — повторил мистер Тендринг тоном человека, оскорбленного в лучших чувствах. — Разве вы не понимаете, что покойный заплатил за этот предмет крупную сумму? — Он взял квитанцию и снова подал ее миссис Окэм. — Семь тысяч лир, мэм. Семь тысяч лир!

Себастьян вздрогнул и поднял на него округлившиеся глаза. У него буквально отвисла челюсть. Семь тысяч лир? А тот вонючий делец сначала предложил ему всего тысячу, а потом еще издевательски хвалил за деловую хватку, когда поднял цену до жалких двух с половиной. Злость и унижение заставили Себастьяна еще гуще покраснеть. Какого же дурака он свалял! Каким же наивным был простаком!

— Видишь, Дэйзи? Теперь ты понимаешь? — Тон Королевы-матери делался все более торжествующим. — Они могли продать эту штуку чуть ли не за свою годовую зарплату!

Наступила краткая пауза, а потом Себастьян услышал мелодичный голос миссис Твейл.

— Не думаю, что это сделал один из с-слуг, — сказала она, намеренно выделяя свистящий согласный звук. — Мне кажется, виновен кто-то с-совсем другой.

Сердце Себастьяна застучало с такой скоростью и силой, словно играло само с собой в футбол. Да, она могла подсмотреть в открытую дверь, как он укладывал рисунок в свой портфель. А всего мгновением позже окликнула по имени. Так оно и случилось, окончательно уверился он.

— Себастьян, — снова негромко повторила его имя миссис Твейл, когда он не издал ни звука.

С огромной неохотой он распрямился и посмотрел на нее. Миссис Твейл продолжала улыбаться, как зритель на комическом спектакле.

— Полагаю, тебе все известно не хуже, чем мне, — сказала она.

Он глубоко сглотнул и отвернулся.

— Разве нет? — все так же мягко спросила она.

— Что ж, — начал он едва слышно. — Вы имеете в виду...

— Конечно же! — сразу вмешалась она. — Разумеется! Речь о той маленькой девочке на террасе. — И она указала в темноту за окном.

Пораженный до глубины души, Себастьян снова посмотрел на нее. В темных глазах танцевали искорки возбуждения; улыбающиеся губы, казалось, в любой момент могли раскрыться, чтобы дать волю громкому смеху.

— Маленькая девочка? — повторила Королева-мать. — Какая еще маленькая девочка?

Миссис Твейл пустилась в объяснения. И внезапно, с чувством неподконтрольного ему, но огромного облегчения, Себастьян понял, что получил отсрочку приговора.

## XXIII

Но уже очень скоро ощущение облегчения сменилось у Себастьяна недоумением и тревогой. Когда он остался один в своей комнате, то разделся и почистил зубы, не переставая размышлять, почему его освободили от ответственности. Неужели она в самом деле думала, что виновен ребенок? Видимо, да, уговаривал он сам себя. Вероятно, она так считала. Но какая-то часть сознания упрямо отказывалась принимать столь простое объяснение. Если это правда, то почему она смотрела на него этим своим странным взглядом? Что ее могло настолько забавлять в подобной ситуации? А если она не думала, что кражу совершила малышка, что, черт возьми, заставило ее выдвинуть эту версию? Ответ представлялся очевидным: она видела, как он забирал рисунок, считая, что он не вправе этого делать, а теперь решила выгородить. Но опять-таки, если вспомнить эту ее странную улыбку, с трудом сдерживаемый смех, словно она просто забавлялась, то и такой ответ становился не столь уж очевидным. Ни один из ее поступков не вписывался в рамки простого здравого смысла. А ведь нужно было еще иметь в виду ту несчастную маленькую девочку. Ребенка подвергнут допросу, и, возможно, весьма суровому. Потом под подозрение попадут ее родители, а кончится, конечно же, тем, что миссис Гэмбл настоит на вмешательстве полиции...

Он выключил в комнате весь свет, кроме лампы для чтения на прикроватной тумбочке, и взобрался на необъятную постель. Потом долго лежал с открытыми глазами и в тысячный раз разыгрывал в своем воображении возможные сцены, как если бы он вскользь упомянул о подарке дяди Юстаса при миссис Твейл или Королеве-матери, если бы признался этим вечером миссис Окэм, что уже заказал себе смокинг на деньги, вырученные от продажи рисунка, с улыбкой развеяв подозрения мистера Тендринга, прежде чем они приобрели хоть какие-то твердые основания. Как бы просто все вышло, и насколько достойно сумел бы он выбраться из затруднительного положения! Но реальность оказалась мучительно и унизительно иной, она отличалась от утешительных фантазий, как шлюха в голубом от Мэри Эсдейл. А теперь было слишком поздно рассказывать правду о том, что произошло. Ему нетрудно было вообразить себе, какими комментариями сопроводит его поведение Королева-мать — добродушная и мягкая, как наждачная бумага. Легкую презрительную улыбку миссис Твейл, а потом ее исполненное иронии молчание. И извинения, которые наверняка найдет для него миссис Окэм, но они получатся настолько сентиментально глупыми и невероятными, что бабушка признает ее окончательно свихнувшейся. Нет, теперь раскрыть правду он уже не мог никак. Существовал только один достойный путь — выкупить рисунок у мсье Вейля, а потом «случайно» обнаружить его где-нибудь в доме. Однако портной настоял на предоплате, и десять из двадцати двух полученных им драгоценных бумажек сменили владельца уже через час после того, как он стал их обладателем. Не накинет ли Вейль цену, если предъявить ему квитанцию? Нет, уныло помотал головой Себастьян. Деньги ему придется одолжить. Но у кого? И под каким предлогом?

Внезапно кто-то чуть слышно постучал в дверь.

— Войдите, — отозвался Себастьян.

В комнату проскользнула миссис Окэм.

— Это я, — сказала она и, подойдя к кровати, положила руку ему на плечо. — Боюсь, что уже очень поздно, — продолжала она извиняющимся тоном. — Но бабушка не оставляла меня в покое целую вечность. И все равно я не смогла удержаться от искушения пожелать вам спокойной ночи.

Вежливости ради Себастьян приподнялся в постели на локте. Но она покачала головой и безмолвным нежным движением снова уложила его на подушку.

Наступила долгая тишина, пока она смотрела на него сверху вниз — узнавая маленького Фрэнки и свое разбитое вдребезги счастье, впитывая в себя этот живой дар, это новое воплощение кудрявого посланца небес, обретенного в реальности. Розовое с золотом — детская головка на подушке. И по мере того как она всматривалась в его черты, всепоглощающее чувство любви вздымалось в ней, как приливная волна поднимается из глубин великого океана, от освежающих вод которого она так долго и жестоко была отрезана полосой безнадежной засухи.

— Фрэнки тоже надевал на ночь розовую пижаму, — сказала она голосом, который, вопреки всем усилиям говорить легко, дрожал от кипящих внутри эмоций.

— Правда?

Себастьян подарил ей одну из своих очаровательных улыбок, но на этот раз не сознательно, а совершенно бесцельно, потому лишь, что почувствовал в сердце ответную привязанность к этой нелепой женщине. И внезапно он понял, что как раз сейчас настало время рассказать ей все о пресловутом рисунке.

— Миссис Окэм... — начал он.

Но в то же мгновение, движимая желанием, которое было настолько сильным, что она даже не заметила его попытки что-то ей сказать, миссис Окэм заговорила сама.

— Вы будете очень возражать, — прошептала она, — если я вас поцелую?

И прежде чем он смог ответить, склонилась и прикоснулась губами к его лбу. Потом, немного отстранившись, она запустила пальцы ему в волосы — и это были для нее волосы Фрэнки. Ее глаза увлажнились от слез. Она еще раз наклонилась и поцеловала его.

И тут с пугающей внезапностью что-то им помешало.

— О, прошу меня извинить...

Миссис Окэм выпрямилась, и они оба посмотрели туда, откуда донесся голос. В открытом дверном проеме стояла Вероника Твейл. Ее темные волосы двумя густыми прядями ниспадали на плечи. На ней был застегнутый на все пуговицы длинный белый халат из сатина, придававший ей сходство с монашенкой.

— Страшно жаль вам мешать, — сказала она, обращаясь к миссис Окэм, — но ваша бабушка...

Она бросила фразу незавершенной и улыбнулась.

— Я снова понадобилась бабуле?

— Ей надо вам еще что-то сообщить по поводу пропавшего рисунка.

— Ах, вот несчастье! — Миссис Окэм глубоко вздохнула. — В таком случае мне, наверное, лучше пойти к ней. Хотите, чтобы я выключила свет? — спросила она у Себастьяна.

Он кивнул. Миссис Окэм щелкнула выключателем, а потом на мгновение приложила ладонь к его щеке и прошептала:

— Доброй ночи.

С этими словами она вышла в коридор, а миссис Твейл закрыла за ними дверь.

Снова оставшись наедине с собой, но теперь в полной темноте, Себастьян стал с недобрыми предчувствиями гадать, что так срочно понадобилось сказать Королеве-матери о пропаже. Разумеется, если бы он успел поделиться своей историей с миссис Окэм, это стало бы сейчас совершенно не важно. Но при том, как обстояли дела... Он помотал головой. При том, как обстояли дела, любые слова или действия дьявола в старушечьем облике могли только все еще более усложнить, сделать ситуацию совершенно для него невыносимой. А между тем возможность, которую он упустил только что, может больше и не представиться, потому что пойти к миссис Окэм самому и хладнокровно все ей рассказать стало бы для него хуже любой пытки. Настолько ужасной, что он в конце концов стал вновь склоняться к мысли: наилучшим шагом с его стороны станет обращение к Вейлю с просьбой вернуть рисунок. И как раз в самый разгар его воображаемой беседы с антикваром он услышал звук вновь открывшейся двери своей спальни. На стену, куда был устремлен его взгляд, легла полоса света, которая постепенно расширилась, а потом стала сужаться и исчезла совсем вместе со щелчком дверной задвижки. Снова воцарилась густая тьма. Себастьян повернулся под покрывалом в сторону, откуда доносился невидимый шелест шелка. Она вернулась, и уж теперь-то он все ей расскажет! Огромное облегчение вновь овладело им.

— Миссис Окэм! — сказал он. — Вы не представляете, как я рад...

Под простынкой рука коснулась его коленки, добралась вверх до самого плеча, а потом резким движением стянула с него покрывало и отбросила в сторону. Снова в темноте зашелестел шелк, и ему в ноздри ударила волна аромата духов — сладкий и знойный запах, в котором смешались цветочные тона и пот, весенняя свежесть и мускус животного.

— О, это вы, — прошептал Себастьян испуганным шепотом.

Но не успел ничего больше сказать, потому что невидимое лицо склонилось над ним, губы прикоснулись сначала к щеке, а потом нашли его губы, а пальцы, лежавшие на плече, опустились ниже и принялись расстегивать пуговицы пижамы.

## XXIV

Неземная невинность и чувственность, постепенно достигавшая накала экстаза, а в промежутках — нежная, но такая утонченно умелая любвеобильность Мэри Эсдейл — так себе это представлял Себастьян, к этому жадно стремился. Но только не к таким рукам, столь прекрасно ориентировавшимся во мраке, не к почти хирургическому исследованию присущего человечеству фундаментального бесстыдства. Как оказался он не готов и к этой всасывающей жадности мягких губ, которые неожиданно уступали место зубам и ногтям. К властному командному шепоту повелительницы и к ее молчаливому, полностью обращенному внутрь себя наслаждению, долгой и сладостной ненасытной агонии, которую нежданно для него самого вызывали его робкие и почти пугливые ласки.

В мире фантазий любовь представлялась чем-то вроде веселой и эфемерной интоксикации друг другом, но реальность прошедшей ночи более напоминала умопомешательство. Да, чистейшее безумие, маниакальное сражение в пропитанной мускусом тьме с другим таким же маньяком.

«Каннибалы-близнецы в бедламе...» Эта фраза пришла ему на память, когда он рассматривал красный, но уже начавший синеть след от укуса на своей руке. Каннибалы-близнецы, разрушающие один в другом черты собственных личностей, нарушающие все пределы разума и нормальности, стирающие в себе последние, самые элементарные приметы цивилизованности. Но в том-то и дело, что именно в средоточии этих людоедских страстей и заключалась притягательность. Превыше физического наслаждения приобретался терзающий душу опыт, когда полностью срываешь все оковы, когда больше не признаешь никаких границ и испытываешь экстаз абсолютного отчуждения от всего и вся.

Миссис Твейл надела свое серое с голубиным оттенком платье, а на шею нацепила маленький золотой крестик с рубином, который мать подарила ей в день первого причастия.

— Доброе утро, Себастьян, — сказала она, когда он вошел в столовую. — Кажется, весь стол сегодня за завтраком в нашем полном распоряжении.

Себастьян в панике оглядел пустующие стулья и неразвернутые салфетки. Он в глубине души надеялся застать здесь миссис Окэм, которая бы смягчила эффект от этой наводившей на него ужас, но неизбежной встречи.

— Да, я как раз подумал... То есть после такого путешествия... Они, должно быть, очень утомлены...

Из своей частной ложи в театре комедии миссис Твейл окинула его взглядом ярких и полных иронии глаз.

— Снова мямлите! — сказала она. — Мне, видимо, все-таки придется нарезать где-нибудь крепких березовых прутьев.

Чтобы скрыть замешательство, Себастьян подошел к столу с едой и стал заглядывать под серебряные крышки блюд с горячими кушаньями. На самом же деле ему следовало, думал он, накладывая себе порцию овсянки, ему следовало, как только он убедился, что они одни, подойти, поцеловать ее в затылок и прошептать что-то о прошлой ночи. И, вероятно, это еще не поздно было сделать даже сейчас. Прижать дуло пистолета к правому виску, досчитать до десяти, а потом в едином порыве совершить этот поступок. Один, два, три, четыре... С тарелкой овсяной каши в руке он приближался к столу. Четыре, пять, шесть...

— Надеюсь, хотя бы вам хорошо спалось? — спросила миссис Твейл своим низким и предельно четким голосом.

Он посмотрел на нее в растерянности, а потом опустил глаза.

— О да, — пробормотал он. — Да... Очень хорошо, спасибо.

Возможность поцелуя отпала сама собой.

— Вы хорошо спали? — повторила вопрос миссис Твейл с оттенком недоверия. — Несмотря на всех этих филинов?

— Филинов?

— Уж не хотите ли вы меня уверить, — воскликнула она, — что не слышали филинов? Вот маленький везунчик! Как бы мне хотелось спать так же крепко. Но я полночи не могла сегодня глаз сомкнуть!

Она отхлебнула глоток кофе, изящным движением промокнула губы, откусила небольшой кусочек от своего намазанного маслом тоста, проглотила и снова провела по губам салфеткой.

— На вашем месте, — сказала миссис Твейл, — я бы специально отправилась сегодня в Сан-Марко и полюбовалась на картины Фра Анджелико.

Открылась дверь, и вошел мистер Тендринг, за которым через секунду последовала миссис Окэм. Они тоже не слышали криков филинов, хотя миссис Окэм несколько часов не удавалось заснуть в тревоге из-за этого рисунка, будь он трижды неладен!

Да, этот проклятый рисунок, этот вонючий и презренный рисунок! От чувства своего полнейшего бессилия Себастьян разразился потоком чисто ребяческих ругательств, одновременно расправляясь с яичницей на масле. Но никакие самые грубые слова не приближали его к решению стоявшей перед ним проблемы, а вместо того, чтобы облагородить моральное самоощущение, богохульство и грязь только повергли его в еще более жестокую подавленность, заставив к тому же устыдиться.

— Вы собираетесь обратиться в полицию? — поинтересовалась миссис Твейл.

У Себастьяна екнуло сердце. Не сводя глаз со своей тарелки, он перестал жевать, чтобы ни в коем случае не упустить ничего из сказанного.

— Этого очень хочет бабушка, — ответила миссис Окэм. — Но я не хочу привлекать власти, пока мы сами не провели тщательные поиски.

Себастьян принялся за еду снова. Как выяснилось, слишком рано. Потому что миссис Твейл высказала мнение, что девочку необходимо привести в дом и основательно допросить.

— Нет, я сначала сама пойду и побеседую с ее родителями, — заявила миссис Окэм.

«Хвала Всевышнему!» — произнес Себастьян.

Это означало, что в его распоряжении был еще целый день. Уже кое-что. Да, но вот с какой стороны ему взяться за дело?

Легкое прикосновение к локтю заставило его вздрогнуть и выйти из глубочайшей задумчивости. К нему почтительно склонился лакей, протягивая поднос с двумя письмами. Себастьян их взял. Первое оказалось от Сьюзен. Он нетерпеливо сунул его в карман, даже не вскрыв, и посмотрел на второе. Почерк на конверте был незнакомый, а марка итальянская. Кто, скажите на милость, мог?.. А затем надежда родилась, разрослась и моментально превратилась в уверенность, почти в убежденность: письмо прислал владелец художественной галереи с объяснениями, что произошла чудовищная ошибка, с многословными извинениями, с приложенным чеком... Обрадованный, он вскрыл конверт, развернул единственный вложенный листок дешевой писчей бумаги и взглянул на подпись. «Бруно Ронтини» — значилось внизу. Разочарование нашло выход во вспышке озлобления. Этот дурак, который верил в Газообразное Позвоночное, этот раболепствующий исусик, пытавшийся и других привлечь своими идиотскими идеями! Себастьян собрался сунуть письмо в карман, но в итоге решил все-таки узнать, что хотел сообщить ему этот странный человек.

«Дорогой Себастьян! — писал он. — Вернувшись только вчера, я узнал невыразимо опечалившую меня новость о смерти бедного Юстаса. Не знаю, насколько изменились ваши планы под влиянием случившегося, но если вы останетесь во Флоренции еще какое-то время, помните, что я — один из ее старейших обитателей и ваш не прямой, но кузен, который будет только счастлив помочь вам лучше узнать город. По утрам меня можно всегда застать дома, а в послеобеденное время — в магазине».

«В магазине! — повторил Себастьян с иронией. — И пусть, черт его возьми, там и остается». Но потом ему пришло в голову, что, вероятно, даже этот дуралей может оказаться ему каким-то образом полезен. Букинист и антиквар. Легко допустить, что они хорошо знают друг друга. И Вейль, возможно, снизойдет до того, чтобы сделать коллеге одолжение. К тому же дядя Юстас говорил, что старый Бруно — вполне достойный человек, несмотря на все свои глупости. Размышляя над этим, Себастьян сложил письмо и положил в карман.

## XXV

Да, вся вселенная смеялась вместе с ним — космический смех над космических масштабов шуткой по поводу собственной неустроенности, над распространившимся от полюса до полюса кошмарным фарсом, который следовал по пятам за любыми добрыми намерениями. Полифония бесчисленных вспышек веселья — вольтеровские голоса, тоненько и триумфально хихикавшие над чудовищным и повсеместным распространением глупости и безрассудства; громкие голоса раблезианцев, похожие на звуки фаготов и контрабасов, неистово радовавшихся конечному торжеству гениталий, экскрементов и половой распущенности, исходивших хохотом при виде воцарившейся неизбежной животной грубости нравов.

Сотрясаясь в унисон со вселенной в пароксизме веселости, он тоже долго смеялся, получая нараставшее удовольствие от приятного возбуждения и ощущения своего торжества. А между тем свечение возникло вновь — тот же самый кристалл сияющей тишины, неподвижно мерцавший в паузах и разрывах между вспышками резкого смеха. Но теперь это уже было не угрожающее и опаляющее сияние, но мягкое и нежно-голубое, как то, что он заметил, когда поймал Бруно на попытке использовать его в своем трюке. Голубая ласкающая тишина, возникшая ненавязчиво, несмотря на вопли и хрипы фаготов, не вызывавшая тревожных чувств; красивая, но не броская и прекрасная до невыносимости, как прежде, а как бы покорно просящая, чтобы на нее обратили внимание. И созерцание ее не требовало сопричастности, не вызывало позывов к стыду за себя и к самобичеванию. Только нежность, только ласка. Но Юстаса на мякине не проведешь, Юстас был заранее готов к любым ее мелким стратегическим уловкам. На настойчивость этого голубого кристаллического молчания он отвечал новыми вспышками презрения, все более и более крикливыми по мере того, как свет приобретал самые утонченные формы красоты, а тишина становилась все смиреннее в своих попытках привлечь к себе его внимание. Нет, нет! Он ничего подобного не потерпит! И Юстас снова стал думать о триумфах образования, триумфах науки, религии, политики, и его веселье опять постепенно дошло до своего рода неистового безумия. Один пароксизм за другим космических масштабов пароксизмом. Какое наслаждение, какая сила, какое полное торжество! Но вот только внезапно он понял, что смех вышел из-под контроля, превратился в какую-то огромную независимую истерию, которая бушевала теперь вопреки его воле и даже доставляла ему совсем уже нежелательную боль. Она жила своей жизнью, которая была чужда его жизни, преследовала свои цели, совершенно несовместимые с его благополучием.

А там, да и прямо здесь сияла голубая тишина, взывающая к себе, ласкающая. Но нет! Этого допустить нельзя! Свет всегда был его врагом. Всегда и в любом обличье — голубом или белом, розовом или светло-зеленом. Его потрясла еще одна долгая и душераздирающая конвульсия презрительного смеха.

А потом вдруг резко изменилось доступное ему сейчас знание. Он снова вспомнил то, что еще не произошло, и не с ним, а с кем-то другим.

Сотрясаясь в приступе вселенской эпилепсии, ему явился вид на открытое окно, рядом с которым стоял старый бедолага Джон и смотрел вниз на улицу. Но какой же хаос творился там, в шумном мутном облаке золотистой пыли! Смуглые лица, разверстые и искаженные в криках рты, черные руки, сжатые в кулаки или тянущие пальцы, как когти. Их тысячи и тысячи. А с расположенной справа залитой ярким солнцем площади, из узкого переулка прямо напротив окна отряды чернобородых полицейских в тюрбанах прокладывали себе путь в глубь толпы, орудуя длинными бамбуковыми дубинками. По головам, по плечам, по тонкой кости запястья, воздетого, чтобы защитить испуганное кричащее лицо, — методично сыпались удар за ударом. Юстаса сотрясла еще одна конвульсия. Фигуры людей стали расплываться и разламываться, как отражения на поверхности потревоженной ветром лужи, а потом снова обрисовались во всей четкости, когда безумный смех умолк. Голубое нежное сияние сверху оказалось не просто небом, но светящимся кристаллом живой тишины. Полицейские методично пробивали себе дубинками путь вперед. Мысль о том, как ощущались эти резкие или даже смягченные удары, осознавалась с тошнотворной ясностью.

— Ужасно! — говорил Джон сквозь стиснутые зубы. — Ужасно!

— А будет куда как хуже, если японцы прорвутся в Калькутту, — заметил другой голос.

Медленно, словно с неохотой, Джон кивнул в ответ.

Профессиональные либералы сожалели об избиении народа дубинками! Юстаса скрутил еще один спазм, потом другой. Жестокий издевательский смех рвал его, как порывы урагана разрывают на части паруса, резал само его существо, будто в него впились железные зубья или когти. Но и сквозь эту муку Юстас постепенно осознал, что под самым окном упал, потеряв сознание, юноша, получивший тяжелый удар в висок. Двое других молодых людей склонились над ним. Внезапно сквозь крики и гудение фаготов возникло воспоминание о пронзительных воплях и испуганном повторении одной и той же неразборчивой фразы. Шеренга стальных касок двигалась через площадь. В толпе возникло паническое замешательство, движение в сторону от приближавшейся опасности. Работая локтями и толкаясь, двое молодых людей сумели все-таки поднять с земли своего товарища. И словно в каком-то таинственном обряде обмякшее тело юноши было ими вознесено на уровень плеч к голубому, манящему своей нежностью свечению тишины. Но лишь на несколько секунд. А потом сомкнувшаяся вновь толпа поглотила их в своем удушающем давлении. Приступ невеселого болезненного смеха смел их из его памяти. Только светящаяся тишина никуда не делась. Но Юстас был готов к любым ее проделкам.

Внезапно возникло другое окровавленное лицо. Но оно принадлежало уже не безымянному индийскому юноше; невероятным образом это было лицо Джима Поулшота. Да, Джима Поулшота! Этого никчемного лодыря, который в лучшем случае мог стать умеренно преуспевающим биржевым маклером году эдак в 1949-м. Но сейчас на Джиме был военный мундир, он лежал посреди рощи бамбука, а трое или четверо желтолицых мужчин с винтовками в руках стояли над ним.

«Я ранен, — повторял Джим тонким надтреснутым голосом. — Приведите мне врача. Скорее! Я ранен, ранен...» Трое желтокожих мужчин одновременно разразились почти добродушным смехом. И словно тронутая приливом потаенной жалости, вся вселенная покачнулась и влилась в этот хор.

А затем один из мужчин поднял ногу и наступил Джиму на лицо. Раздался вскрик. Каблук тяжелого башмака на каучуковой подошве поднялся и ударил снова, а потом еще раз с еще большей силой. Кровь заструилась из разбитого рта и сломанного носа. Лицо теперь стало с трудом узнаваемым.

Страх, сострадание, возмущение — но в то же мгновение и сумасшедший смех исторглись из его существа. «Никчемный лодырь», — твердила память, а потом взрыв неудержимого веселья: «Станет биржевым маклером в 1949 году, умеренно преуспевающим биржевым маклером».

А пока маклер 1949 года неподвижно лежал среди бамбука и стонал.

В тех зарослях бамбука,

В тех зарослях бамбука

Возможна констипация...

Шарманка у брачной конторы в Кенсингтоне и объяснение, предложенное Тимми для случившегося на поле для крикета.

Возможно, лишь запор,

Возможно, лишь запор...

Среди маленьких желтолицых мужчин ненадолго воцарилось зловещее молчание. Затем один из них что-то сказал и, словно желая наглядно показать, что имеет в виду, вогнал свой длинный штык в грудь Джиму Поулшоту. Ухмыляясь, остальные последовали его примеру — в лицо, в живот, в горло, в промежность — снова и снова, пока не стихли последние крики.

Крики умолкли, но смех продолжался — воющий, эпилептический, неконтролируемый, терзающий душу хохот.

А затем сцена повторилась. Окровавленное лицо, ужасающий блеск штыков, но теперь к видению непонятным образом примешивался халат Мими цвета красного вина. Adesso comincia la tortura — а потом объятия, любовный шепот и игры. И тут же удары каблуком в лицо, и острие штыка, погружавшегося в плоть. Со святым Себастьяном в окружении викторианских цветов, с бедняжкой Эми, трепетавшей перед церемонией бракосочетания в Кенсингтоне, и Лауриной в Монте-Карло. Ave verum corpus, истинное тело, поджатые викторианские губки, коричневые и слепые глаза сосков. И пока штыки вонзались и вонзались в другую плоть, продолжалось бесстыдное и не приносящее удовольствия холодное, автоматическое, сделавшееся обязательным трение их тел друг от друга. И все время вопли и звуки фаготов, железные зубья и клыки, терзающие само его существо. Вечная, вечная мука. Но он знал, что хотел от него свет. Знал, к чему его склоняла голубая нежность тишины. Нет, нет! На это он не пойдет! И Юстас намеренно опять отвернулся к разрезу в халатике, к изуродованному до неузнаваемости лицу, к невыносимой боли веселья и похоти, обязательной, навязанной самому себе навсегда, навсегда.

## XXVI

Ступеней оказалось почти так же много, как в доме на Гланвил-Террас, но вот он наконец и добрался до лестничной площадки пятого этажа. Прежде чем позвонить в квартиру, Себастьян сделал паузу, восстанавливая дыхание и напоминая себе, что в данном случае для чувства тошноты на пороге не было ни малейших оснований. Кто он такой, этот Бруно Ронтини? Просто дружелюбный старый осел, слишком порядочный, судя по всему, чтобы становиться саркастичным или слишком придирчивым, и почти совершенный чужак, если не считать очень отдаленного родства, который не имеет права говорить ему неприятные вещи даже при большом желании. И кроме того, Себастьян же не собирался исповедоваться в грехах. Нет, ничего такого не входило в его планы. Если он попросит о помощи, то с совершенно иных позиций. Он упомянет о сути дела мимоходом, так, словно оно не представляет для него особой важности. «Между прочим, вы, случайно, не знакомы с одним типом? Его фамилия Вейль». И все в том же духе, легко и воздушно. А Бруно — не его отец и не станет влезать с неприятными вопросами. Тогда все пройдет, как и было задумано. Стало быть, нет причин чувствовать себя тревожно. Себастьян сделал три глубоких вдоха, а потом надавил на кнопку звонка.

Дверь открылась почти немедленно, и перед ним предстал Бруно, остроносый и бледный, как мертвец, в сером свитере и красных войлочных тапочках на ногах.

Его лицо сразу же осветила гостеприимная улыбка.

— Хорошо, — сказал он. — Очень хорошо!

Себастьян пожал протянутую ему руку, пробормотал слова благодарности за письмо, а потом отвел лицо в сторону, чувствуя парализующее смущение, которое всегда нападало на него в разговорах с малознакомыми людьми. Но в то же время внутри его черепной коробки наблюдатель и строитель фраз трудились не покладая рук. Как он заметил, при дневном свете глаза Бруно были голубыми и очень яркими. Синие огни в глубоких провалах глазниц; живые и проницательные, но питавшиеся не отстраненным, лишенным человечности любопытством, которым сияли темные глаза миссис Твейл, когда прошлой ночью она внезапно включила свет и он обнаружил ее стоящей на четвереньках, выгнувшись над ним аркой белой обнаженной плоти. Она долгие полминуты смотрела на него и безмолвно улыбалась. В ее черных блестящих зрачках он мог видеть свое микроскопическое отражение. «Глухого к зову плоти, я научила тебя любить», — сказала она. Но маска тут же превратилась в гримасу, и она издала свой обычный короткий и сдавленный смешок, протянула изящную руку к лампе и снова погрузила комнату в полнейший мрак. Не без усилия Себастьян стряхнул с себя это воспоминание. А потом снова посмотрел в яркие, серьезные и проникнутые необычайным дружелюбием глаза.

— Знаете, — сказал Бруно, — я ведь вас, можно сказать, ждал.

— Ждали?

Бруно кивнул, повернулся и провел его через темную прихожую, размером не превышавшую стенной шкаф, в маленькую комнату, одновременно служившую и спальней, и гостиной, где единственными предметами роскоши были вид на далекие горы поверх городских крыш и квадрат солнечного цвета, огромным рубином сиявший на кафельной плитке пола.

— Присаживайтесь. — Бруно указал ему на более удобный из двух стульев, а когда они сели, задумчиво повторил: — Бедный Юстас!

Себастьян обратил внимание, что у него выработалась привычка оставлять пространство между своими фразами, и потому все сказанное им казалось обрамленным рамкой тишины.

— Расскажите мне, как это произошло.

Ощущая нехватку воздуха и новый приступ стеснительности, Себастьян начал свой рассказ.

Лицо Бруно приобрело горестное выражение.

— Умереть так внезапно! — воскликнул он, когда Себастьян закончил. — Настолько неподготовленным!

Эти слова вызвали в Себастьяне приятное чувство собственного превосходства. Внутренне он даже позволил себе ироническую улыбку. Это казалось невероятным, но старый идиот, кажется, действительно верил в адское пламя и таинство последнего причастия. Сохраняя серьезное лицо, но все еще хихикая над собеседником в глубине души, он поднял взгляд и обнаружил голубые глаза, пристально его рассматривавшие.

— Вы считаете, что это звучит настолько смешно? — спросил Бруно после ставшей уже привычной намеренной секундной паузы.

Пораженный, Себастьян покраснел и начал заикаться:

— Но я сам никогда... То есть на самом деле...

— Вы придерживаетесь тех же взглядов, что и большинство современных людей, — сказал Бруно тихим голосом. — Не думай о смерти до самого последнего момента. А затем, когда игнорировать ее приближение больше не получается, попроси, чтобы тебя накачали морфием, и погрузись в кому. Очень разумно, гуманно и научно, не так ли?

Себастьян колебался. Ему не хотелось грубить хозяину, потому что, в конце концов, он рассчитывал на его помощь. Кроме того, он старался по возможности избегать спора, в котором застенчивость заведомо ставила его в невыгодное положение и могла довести до каких-нибудь не слишком умных высказываний. Но если на то пошло, то чепуха всегда оставалась чепухой.

— Лично я не вижу, в чем ошибочность подобного подхода к смерти, — сказал он вроде бы осторожно, но поневоле несколько вызывающим тоном.

Он напрягся и сидел, чуть нахохлившись и отвернувшись, ожидая услышать аргументированный ответ оппонента. Но такового не последовало. Приготовившись отразить атаку, он столкнулся лишь со спокойным и по-прежнему дружелюбным молчанием Бруно, быстро поняв всю абсурдность и нелепость своих опасений.

Через какое-то время Бруно все же заговорил:

— Как я полагаю, миссис Гэмбл скоро устроит один из своих спиритических сеансов?

— Она его уже устроила, — сказал Себастьян.

— Вот ведь несчастное создание! Как же ей хочется уверенности и гарантий!

— Но должен заметить... Получается ведь достаточно убедительно, или вам так не кажется?

— О, что-то интересное, несомненно, происходит, если вы об этом.

Вспомнив комментарий миссис Твейл, Себастьян с понимающим видом ухмыльнулся.

— Нечто достаточно бесстыдное, — сказал он.

— Бесстыдное? — повторил Бруно, вскинув удивленный взгляд. — Какое странное определение. Почему вы прибегаете именно к нему?

Себастьян почувствовал неловкость и опустил глаза в пол.

— Даже не знаю, — сказал он. — Просто это слово показалось мне уместным, вот и все.

Снова воцарилось молчание. Сквозь рукав пиджака Себастьян ощущал то место, куда она впилась зубами. Притрагиваться к нему было все еще больно. Каннибалы-близнецы в бедламе... Но потом он вспомнил о треклятом рисунке, а время, между тем, стремительно утекало. Как же ему подвести разговор к нужной теме?

— Бесстыдство, — еще раз сказал Бруно в задумчивости. — Вы ощущаете бесстыдство жизни... Но в то же время не понимаете, почему к смерти необходимо готовиться, так?

— Могу только сказать, что во время сеанса он показался мне вполне счастливым, — ответил Себастьян, снова готовый занять оборонительную позицию. — Знаете, таким же веселым и жизнерадостным, каким был при жизни. При том условии, конечно, если это действительно был дядя Юстас.

— Если, — повторил Бруно, — если.

— Неужели вы не верите?.. — спросил Себастьян, несколько озадаченный.

Бруно склонился вперед и положил руку на колено юноши.

— Давайте попробуем прояснить для себя суть вопроса, — сказал он. — Тело Юстаса плюс некоторая бестелесная величина X в сумме равны Юстасу. И примем как должное ваше утверждение, что бедняга Юстас был таким счастливым и жизнерадостным, каким он вам показался. Хорошо. Приходит момент, когда Юстас покидает свое тело, но, принимая во внимание то, что произошло во время сеанса старой миссис Гэмбл, нам приходится верить, что X существует. Однако прежде чем двинуться дальше, нам необходимо спросить себя, а что же мы в действительности узнали во время сеанса. Мы установили, что X плюс тело медиума равняются некоему временному псевдо-Юстасу. Это можно считать эмпирическим путем полученным фактом. Но что же на самом деле представляет собой *Х* ? И что происходит с X, когда он не связан с телом медиума? Как он существует? — задал вопрос он.

— Одному Богу известно.

— Вот именно! А потому давайте не будем делать вид, что это известно нам. И не станем совершать ошибку, полагая, что если X в сочетании с телом медиума счастлив и доволен, то он точно так же счастлив и радостен, предоставленный самому себе. — Он убрал ладонь с колена Себастьяна и откинулся на спинку своего стула. — Отсюда следует, что те, кто находит для себя утешение в спиритизме, — продолжал он, — просто следуют ошибочной логике и приходят к ложным выводам на основе фактов, наблюдаемых во время сеансов. Когда миссис Гэмбл слышит россказни о стране вечного лета или читает сочинения сэра Оливера Лоджа, то получает дозу уверенности на будущее. Она пытается убедить себя, что мир иной будет похож на этот мир. Но на самом-то деле страна вечного лета и труды Лоджа мало чем отличаются от сказок Екатерины Генуэзской и... — Он сделал паузу, но потом уверенно завершил свою мысль: — ...и даже от «Ада» Данте.

— От «Ада»? — повторил Себастьян. — Но вы же не можете всерьез верить...

И в последней отчаянной попытке убедить себя, что Бруно не более чем старый осел, он громко рассмеялся.

Его смех какое-то время звучал, а потом словно провалился в пропасть невозмутимого молчания дружески смотревшего на него собеседника.

— Нет, — сказал Бруно, — я не верю в вечное проклятие. Но только не спиритические сеансы дают мне причины для этого. И еще меньше оснований для такого неверия я нахожу в самом по себе мире, где мы живем. У меня свои резоны. Они связаны с тем, что мне известно о природе...

Он осекся, а Себастьян с улыбкой предвкушения ожидал услышать от него слово «Бог».

— ...О природе Газообразного Позвоночного, — завершил фразу Бруно. И теперь тоже улыбнулся с печалью. — Бедный Юстас! Он чувствовал себя настолько безопаснее, называя Бога именно так. Словно название хоть в какой-то степени могло повлиять на факты. А одновременно всегда смеялся над другими людьми за речевые излишества.

«Сейчас он приступит к кампании по моему обращению в свою веру», — подумал Себастьян.

Но Бруно лишь поднялся, подошел к окну, ловким движением поймал с жужжанием бившуюся о стекло крупную синюю муху и выбросил на свободу. Все еще стоя у окна, он повернулся и спросил:

— Вас гложет какая-то мысль, Себастьян. Что случилось?

Застигнутый врасплох, полный панических подозрений, Себастьян помотал головой.

— Нет, ничего. — Хотя уже через мгновение готов был проклинать себя за упущенную возможность.

— И все же именно об этом вы пришли поговорить со мной.

В улыбке, сопровождавшей его слова, не слышалось ни намека на иронию или покровительственный тон. Себастьяна это приободрило.

— Дело в том... — Несколько секунд он колебался, а потом выдавил из себя неестественно театральный смех. — Понимаете, — заговорил он, пытаясь придать делу оттенок легковесности, — я стал жертвой надувательства, можно сказать, мошенничества, — повторил он с напором. Ему вдруг стало понятно, как рассказать свою историю без ссылок на мистера Тендринга или свою унизительную неспособность признать правду. Это будет история излишней доверчивости (с этим он готов согласиться), юношеской неопытности, которой хладнокровно и бесстыдно воспользовались. И теперь он нуждался в помощи.

— Предложить мне всего тысячу, тогда как сам продал его дяде Юстасу за семь! — с негодованием закончил он. — Это откровенный обман.

— Проблема в том, — медленно сказал Бруно, — что у них своеобразные моральные принципы, у этих дельцов-антикваров.

И ни у кого они не были более своеобразными, чем у Габриэля Вейля, мог добавить он, исходя из своего опыта предыдущего общения с этим человеком. Но только не вышло бы ничего хорошего, а скорее, напротив, он бы только все испортил, расскажи то, что он знал о Вейле, Себастьяну.

— Но как отнеслись к этому обитатели виллы? — спросил он. — Наверняка они обеспокоены.

Себастьян почувствовал, как краснеет.

— Обеспокоены? — переспросил он, в тщетной попытке изображая непонимание того, что имелось в виду.

— Ну да, они должны быть обеспокоены неожиданным исчезновением рисунка. И вас волнует именно их реакция, не так ли?

Наступило молчание. Потом мальчик безмолвно кивнул.

— Трудно предложить какое-то решение проблемы, — мягко сказал Бруно, — если тебе не известны все имеющие отношение к делу факты.

Себастьяну стало за себя невыносимо стыдно.

— Простите, — прошептал он. — Я должен был с самого начала объяснить...

И он понуро начал добавлять в свой рассказ детали, которые опустил прежде.

Бруно дослушал его до конца, не вымолвив ни слова.

— И вы в самом деле собирались рассказать обо всем миссис Окэм? — спросил он.

— Я не успел и начать, — объяснил Себастьян, — но тут ее, как нарочно, вызвали.

— А вы не подумали в таком случае поделиться всем с миссис Твейл?

— С миссис Твейл? О Господи, нет!

— Почему же сразу «о Господи»?

— Потому что... — В смятении Себастьян мучительно искал правдоподобный ответ. — Даже не знаю. Ведь рисунок принадлежал не ей. Она не имеет ко всему этому никакого отношения.

— Но, по вашим словам, именно она высказала подозрение в отношении маленькой девочки.

— Понимаю, но все же... — Каннибалы-близнецы в бедламе, и когда загорелся свет, ее глаза сверкали ярко, как у зрителя, который наслаждается комедией из дорогой привилегированной частной ложи в театре. — Просто мне как-то в голову это не пришло.

— Ясно, — сказал Бруно и несколько секунд молчал. — Если я верну вам рисунок, — продолжал он после паузы, — вы обещаете, что доставите его лично миссис Окэм и расскажете ей все начистоту?

— О да, честное слово, я это сделаю! — горячо воскликнул Себастьян.

Собеседник поднял костлявую руку.

— Не так быстро! Не так быстро! Обещания — вещь серьезная. Вы убеждены, что выполните свое обещание, если дадите его?

— Я в этом просто уверен!

— Но апостол Петр тоже был уверен, вот только петухи имеют обыкновение горланить в самое неподходящее время...

Бруно улыбнулся чуть лукаво, но в то же время с доброй симпатией во взгляде.

«Словно я был болен», — подумал Себастьян, глядя в его лицо, и одновременно почувствовал, что тронут и раздражен. Тронут такой добротой с его стороны, но расстроен услышанным в подтексте: что он был болен (причем недуг мог оказаться смертельным, если верить этим ярко-голубым глазам) полнейшей неспособностью сдержать слово. Но это было уже чересчур...

— Что же, — продолжал Бруно, — чем скорее мы возьмемся за дело, тем лучше, согласны?

Он стянул с себя свитер, открыл гардероб и достал старый коричневый пиджак. Затем присел, чтобы сменить обувь. Склонившись и завязывая шнурки на ботинках, он заговорил снова.

— Когда я совершаю плохой поступок, — сказал он, — или просто делаю глупость, то мне всегда кажется полезным составить и как бы мысленно изобразить... Нет, не график, а скорее генеалогическое древо, отображающее происхождение поступка, если вы понимаете, о чем речь. Семейное древо. Кем были родители проступка, его предки, дальние родственники? И кто может родиться в его результате? Как он изменит мою жизнь и жизни других людей? И удивительно, насколько далеко может завести человека подобный честный анализ. Ты обнаруживаешь такие крысиные норы в своем характере! Возвращаешься в забытое прошлое. Всматриваешься в окружающий тебя мир и начинаешь видеть возможные последствия в будущем. Только так ты сможешь понять, что ни один твой поступок не проходит бесследно, не является чем-то твоим, глубоко личным. — Он завязал второй узелок и поднялся. — Ну вот, думаю, это пока все, — сказал Бруно и надел пиджак.

— Есть еще проблема с деньгами, — смущенно пробормотал Себастьян, доставая свой бумажник. — У меня осталось всего около тысячи лир. Если бы вы смогли одолжить мне остальное... Я бы вернул долг при первой возможности.

Бруно взял пачку купюр, но одну из них вернул мальчику.

— Вы же не нищий францисканец, — сказал он. — По крайней мере пока. Хотя, кто знает, может наступить день, и спасаясь от себя самого...

Он с хитрецой улыбнулся, сунул деньги в карман брюк и надел шляпу.

— Не думаю, что буду отсутствовать очень долго, — сказал он, оглянувшись от самого порога. — Вы найдете здесь достаточно книг, чтобы развлечь себя. В том, конечно, случае, если вам нужен опиат в качестве успокоительного. Хотелось бы надеяться, что не нужен. Не нужен, — повторил он с внезапной напористой серьезностью, а потом повернулся и вышел.

Предоставленный самому себе, Себастьян снова сел.

Все получилось, разумеется, совершенно не так, как он себе воображал, но очень хорошо. Если вдуматься, лучше, чем он мог сметь надеяться — за исключением того, что сейчас он уже жалел об искаженной версии случившегося, с которой начал. Желая предстать в лучшем свете, он только все испортил и вынужден был приниженно и неохотно признаться во лжи. Мало кто упустил бы такой блестящий случай сделать ему по такому поводу самое суровое внушение. Но только не Бруно. Себастьян чувствовал глубочайшую благодарность к этому человеку за его понимание и снисходительность. Оказаться достаточно порядочным, чтобы сначала помочь выйти из затруднительного положения, а не поспешить прочитать наставительную проповедь — это было нечто неожиданное и необычное для Себастьяна. И Бруно отнюдь не глуп. Взять хотя бы его рассказ о генеалогическом древе дурного поступка...

«Генеалогия плохого поступка, — прошептал он в тишине, — его семейное древо...»

На память пришла вся его прошлая ложь, и он задумался о том, куда потом повели ее ответвления, что ей предшествовало и какие она могла иметь последствия. Ему, разумеется, не стоило прибегать к вранью, но, с другой стороны, если бы не идиотская принципиальность отца, ему бы и не пришлось. А если бы не существовало трущоб и наряду с ними богачей с сигарами, подобных несчастному дяде Юстасу, у отца не сложился бы идиотский кодекс принципов. А ведь дядя Юстас, вопреки всему, был чрезвычайно добрым и разумным человеком. В то время как тот профессор-антифашист не заслуживал доверия ни на грош. И какими же невыносимо скучными были товарищи отца по левым взглядам, представители низших сословий! Какую тоску наводили! Но скучными и тоскливыми они казались ему, напомнил себе Себастьян; так, быть может, и виноват в этом был тоже только он сам? Как исключительно его виной стала такая уж насущная необходимость в проклятом смокинге — просто потому, что они были у других парней, а на вечеринку к Тому Бовени собирались прийти две девицы. Но при этом нельзя сбрасывать со счетов и поступков других людей. Те две девушки оказались бы всего лишь еще одним предлогом для грез наяву, а все его грезы отныне будет преследовать воспоминание о реальности прошлой ночи с ее чудовищным бесстыдством и отчуждением, превосходящими любые фантазии. Людоеды в бедламе — и замок на двери сумасшедшего дома защелкнулся, лишив его последней возможности сказать правду. А между тем в тесном крестьянском домике где-нибудь в дальнем, никому не видимом и никем не посещаемом углу сада плачущий ребенок как раз сейчас отстаивал свою невиновность, отвечая на суровые и пристрастные вопросы взрослых. А когда все уговоры и угрозы не помогут получить от малышки той информации, которой она изначально не обладала, этот дьявол в старушечьей маске, миссис Гэмбл, добьется вызова полиции. И тогда уже допросят всех, включая и его самого. Но покажется ли им его история правдоподобной? Сумеет ли он держаться своей версии до конца? А если бы они догадались пойти и побеседовать с мсье Вейлем, как бы он потом объяснил свое стремление утаить правду? А затем... Себастьяна передернуло. Но теперь, слава богу, старик Бруно пришел на выручку. Рисунок вернут; он выплачет всю эту историю в жилетку миссис Окэм с такой несокрушимой искренностью, что она, как всегда, зарыдает и заявит, что в этом он тоже похож на Фрэнки. И все образуется. Дети его лжи так и останутся нерожденными, или, еще лучше, их тихо убаюкают в колыбельках — навсегда, а сама по себе ложь — ее не станет, словно она никогда и не произносилась вовсе. В самом деле, даже практической пользы ради, теперь лучше было бы утверждать, что ни слова лжи никогда и никем не произносилось.

«Никогда, — мысленно произнес Себастьян. — Никогда».

У него заметно улучшилось настроение. Он начал насвистывать, и внезапно вспышкой прекрасного озарения он с радостью понял, как органично понятие о генеалогии дурных поступков вписывается в структуру его новой поэмы. Четкое строение атомов, но молекулярный хаос, царящий внутри камня. Четкая организация клеток и органов человека и их физиологических функций, но полнейший хаос человеческого поведения во времени. И все же даже у этого хаоса существовали законы и определенная логика; геометрическая правильность присутствовала даже в процессе разрушения. Квадрат похоти равен, если можно так выразиться, сумме квадратов тщеславия и безделья. Кратчайший путь к удовлетворению желаний лежит через насилие. А что же тогда та ложь, к которой он прибегал? Что можно сказать о нарушенных обещаниях и предательствах? Сами собой в его сознании начали складываться фразы.

Зловонные корыстные уста,

Сложив ловушкой, нас ждет ложь повсюду,

И настигает, как настиг Христа,

Обманный поцелуй Иуды...

Он достал карандаш и блокнот, начав записывать. «...Обманный поцелуй Иуды». А после поцелуя Иуды свершилось распятие. Но ведь у смерти много предшественников, помимо алчности и обмана много других форм, в корне отличающихся от добровольного самопожертвования. Он вспомнил, что где-то читал статью о том, какой характер будет носить будущая война. «И трупики детей», — написал он.

И трупики детей на каждом из углов,

Как мусор, разметал бомбардировщик.

Но это лишь пустяк, пускай Господь поспит,

А Кальвин, породивший многих вдов,

Вещает шлюхам с кафедры веков

Наборы силлогизмов общих...

Через час в замке провернулся ключ. Слегка испуганный, но и раздраженный неожиданной помехой Себастьян поднялся на поверхность из глубин поглотивших его абстракций и посмотрел на дверь.

Стоявший на пороге Бруно встретился с ним взглядом и улыбнулся.

— Eccolo![[68]](#footnote-68) — сказал он, приподнимая тонкий прямоугольный пакет, обернутый в коричневую бумагу.

Себастьян несколько мгновений разглядывал его, не понимая, что это такое. Потом пришло узнавание, но он успел настолько убедить себя в успехе Бруно, что проблема теперь представлялась чем-то из прошлого, пройденного и забытого. И потому вид возвращенного рисунка оставил его почти совершенно равнодушным.

— А, это то самое, — сказал он, — Дега.

До него с запозданием дошло, что обыкновенная вежливость требовала выражения благодарности и радости. Он, как мог, повысил голос и воскликнул:

— О, спасибо вам, спасибо! Я бы никогда... То есть вы проявили себя настолько разумным человеком...

Бруно молча смотрел на него. «Маленький херувим в серых фланелевых брюках», — мысленно повторил он, вспомнив фразу Юстаса, сказанную на вокзале. И это было верно: улыбка ангельская, пусть в ней порой и сквозит расчетливость. Вообще же, в облике этого мальчика проглядывала такая милая, почти невероятная невинность, причем даже сейчас, когда он столь очевидно пытался играть навязанную ему роль. Но, между прочим, зачем ему играть роль и кто ему ее навязал? Если учесть, в какой панике он был всего час назад, почему сейчас не мог чувствовать искренней радости и благодарности? Изучая тонкие черты красивого лица, Бруно безуспешно искал ответы на свои вопросы. Он не мог не заметить, что сквозь очаровательную наивность проскальзывало по-детски неуклюже спрятанное лицемерие, а сквозь простодушную улыбку просвечивала чуть ли не намеренная хитрость. Но именно за это простодушие люди всегда будут любить его — всегда, на какие бы подлости ни заставила пойти его жизнь, на какие бы действия или малодушные бездействия ни подтолкнула. Но это ни в коем случае не было самым опасным последствием того, что человек являл собой серафима — но серафима, не обитавшего на небесах, лишенного видений райского блаженства, не признавшего даже, если на то пошло, самого существования Бога. Главная опасность заключалась в том, что, даже совершив низость или не сделав чего-то важного в жизни, из-за переполнявшей его красоты внутренней невинности он мог позволить себе избегать очищающих душу мук раскаяния. Будучи подобным ангелу, он не только позволит любить себя другим, но и влюбится сам: во всех грехах своих полюбит себя с таким пылом, что развеять эту самовлюбленность под силу станет только поистине гигантскому несчастью. И Бруно снова почувствовал, как его охватывает волна глубочайшего сострадания. Себастьян виделся ему слишком уязвимой целью, нежнейшей и радужной бабочкой Божьей, которой предстояло пережить и взлеты, и удары от окружавшего мира — остроту наслаждений, успехи с отравленными похвалами, которые могут продлиться долго. И только потом, если Провидение явит к нему милосердие, оно пошлет ему противоядие от отравы в виде боли, унижений и неудач...

— Вы что-то писали? — спросил он наконец, заметив блокнот и карандаш и воспользовавшись этим как поводом, чтобы возобновить разговор.

Себастьян покрылся застенчивым румянцем и убрал все в карман.

— Я размышлял о том, что вы сказали, прежде чем ушли, — ответил он. — О том, что у каждого поступка есть генеалогия...

— И вы стали пытаться анализировать генеалогию собственных ошибок? — спросил Бруно не без радостной надежды.

— Нет, не совсем так. Я скорее... Понимаете, я сейчас работаю над новой поэмой, а эта тема вписывалась в нее настолько удачно...

Бруно же подумал о том разговоре, после которого он только что вернулся, и в его улыбке все еще читалось горестное удивление, что такое вообще было возможно. Кончилось тем, что Габриэль Вейль уступил, но сдался он с далеко не мужественным достоинством. Против воли (потому что он приложил немалые усилия, чтобы скорее забыть пошедшие в ход выражения) Бруно вспомнил сейчас гадкие слова, которые были произнесены, страстные жесты волосатых рук с безукоризненно подпиленными ногтями, бледное лицо, искаженное гримасой бешенства. Он вздохнул, положил шляпу и рисунок на полку, а потом сел.

— Евангелие от Поэта, — медленно сказал он. — «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». На этом кончается первый, он же последний и единственный урок.

Воцарилось молчание. Себастьян сидел совершенно неподвижно, наклонив голову и уперев взгляд в пол. Он чувствовал стыд за самого себя, но одновременно что-то в нем восставало против этого, требовало объяснить источник стыда. В конце концов, что плохого могло быть в поэзии? Так почему же ему не писать стихи, если ему того хотелось?

— Могу я прочитать, что у вас получилось? — спросил Бруно после долгой паузы.

Себастьян снова покраснел, пробормотал, что вышло не так уж хорошо, но все-таки протянул ему блокнот.

— «Зловонные корыстные уста...» — Первую строку Бруно произнес вслух, а дальше читал уже про себя. — Хорошо! — сказал он, когда закончил. — Жаль, мне не дано выразить свои мысли с такой же силой. Обладай я таким даром, — добавил он с чуть заметной улыбкой, — то вы, возможно, провели бы время за составлением собственной генеалогии, а не написанием того, что может заставить других сделать это за себя. Но, конечно, это же вам повезло родиться с поэтическим талантом. Или же не повезло? Как вы считаете?

— Что значит «не повезло»? — спросил Себастьян.

— Каждая добрая фея-крестная может в итоге обернуться злой колдуньей.

— Что вы хотите сказать?

— Ибо легче верблюду пройти в угольное ушко, чем богачу... — Он оборвал фразу.

— Но я не богат, — возразил Себастьян, думая о том, на что толкнула его скаредность отца.

— Не богаты? Тогда перечитайте собственные стихи! — Бруно вернул ему блокнот. — А потом посмотрите на свое отражение в зеркале.

— Ах вот вы о чем...

— И в глаза женщин — они лучше зеркал, когда видишь их вблизи, — добавил Бруно.

А когда увидишь их совсем близко — всмотрись в комический и микроскопический образ «глухого к зову плоти», отраженный в ироничной яркости их зрачков. Чувствуя себя уже сейчас предельно неуютно, Себастьян гадал, что еще скажет ему этот человек. Но к его огромному облегчению, тот повернул разговор в более обезличенную плоскость.

— И к тому же, — задумчиво сказал Бруно, — известному числу внутренне богатых людей все-таки удается проникнуть сквозь игольное ушко. Возьмем, к примеру, Бернарда. И, возможно, Августина, хотя у меня всегда существовали подозрения, что он пал жертвой своего слишком возвышенного, несравненного стилистического мастерства. И Фому Аквинского. И уж точно Франсуа де Саля. Но их мало. Их очень мало. Подавляющее большинство богатых застревают или даже не пытаются протиснуться. Вы читали биографию Канта? — спросил он как бы вскользь. — Или Ницше?

Себастьян отрицательно помотал головой.

— В таком случае, возможно, и не стоит, — сказал Бруно. — Потому что за таким чтением трудно избежать чувства, что им воздалось по заслугам. А ведь был еще Данте...

Он покачал головой, и оба снова примолкли.

— Дядя Юстас как раз говорил о Данте, — осмелился нарушить тишину Себастьян. — В тот последний вечер. Перед тем как...

— И что же он говорил?

Себастьян постарался как можно достовернее передать суть их разговора.

— И он был совершенно прав, — сказал Бруно, когда мальчик закончил. — За исключением того, разумеется, что и Чосер не предлагает нам решения проблемы. Быть земным и прекрасно писать этот мир — ничем не лучше, чем быть земным иначе и прекрасно писать мир потусторонний. Ничем не лучше лично для индивидуума, я хочу сказать. Что же касается воздействия на других... — Он улыбнулся и пожал плечами. — «Пусть Остин тяжко трудится — таков его удел»[[69]](#footnote-69) или

...e la sua volontate è nostra pace;

essa è quel mare, al qual tutto si move,

cio ch’ella crea e che natura face[[70]](#footnote-70).

Я точно знаю, что выбрал бы сам. Между прочим, вы понимаете Данте?

Себастьян покачал головой, но немедленно раскаялся в таком признании вопиющего невежества и решил немного покрасоваться:

— Если бы это было по-гречески, — сказал он, — по-французски или на латыни...

— Но это, к сожалению, по-итальянски, — перебил его Бруно. — Итальянский язык заслуживает изучения. Хотя бы ради того, чтобы узнать, какое воздействие могут оказать на вас вот эти строки. Впрочем, можно только удивляться — добавил он, — как же мало они повлияли на человека, который, собственно, и написал их! Бедный Данте. Насколько мучительно он сам себя наказывает за принадлежность к столь знатной семье! Между тем ему одному было дозволено побывать в раю еще до смерти. Но даже там он не может прекратить яростной полемики о современной ему политике. И когда доходит до сферы Созерцательности, о чем он заставляет вести беседу святого Бенедикта и Петра Дамиани? Не о любви и свободе, не о возвышенных чувствах, приближенности к Богу. Нет, нет, они проводят все свое время так, как того хотелось бы Данте — понося дурное поведение других людей и грозя им адским пламенем. — Бруно печально покачал головой: — Такая растрата впустую огромного дарования. От этого делается обидно до слез.

— Почему же, как вы полагаете, он так растратил себя?

— Потому что хотел. А если спросите, почему он этого хотел, даже уже написав, что, по воле Божьей, мы все должны жить в мире, ответ будет заключаться лишь в одном: так работает ум гения. Ему довелось взглянуть на то, что находится за пределами реальности, и он стремится выразить полученные при этом познания. Выразить прямо, как во фразах вроде e la sua volontate è nostra pace, или же подспудно, так сказать, между строк. Просто потому, что владел красивым слогом. А написать красиво можно о ком угодно — от женщины из Бата до бешеной еврейки Бодлера и задумчивой Селимы Грея. И кстати, самые реалистичные описания обыденной жизни не несут в себе особого смысла, если не выражены поэтически. Красота есть истина; правда в красоте. Правда о красоте заключена в самих строчках, а красота правды — в белых пространствах, оставленных между ними. Если межстрочное пространство пусто и не несет в себе никакого смысла, то и сами строчки — это не более чем... Скажем, «Собрание древних и современных гимнов».

— Или поздний Вордсворт.

— Верно, а еще не забудьте о раннем Шелли, — сказал Бруно. — Юные могут быть столь же невыразительны, как и глубокие старики. — Он улыбнулся Себастьяну. — Так вот, как я уже сказал, прямо или косвенно, но гениальный человек умеет выразить свое видение и понимание высшей реальности. Но сами гении крайне редко живут в соответствии с этим пониманием. Почему? Потому что вся их энергия, все внимание поглощены работой над словом, композицией. Их интересует только творчество, а не жизнь, не действие. Но поскольку писать они могут только о том, что знают, это не дает им расширять свои познания.

— Что вы имеете в виду?

— Знание пропорционально существованию, — ответил Бруно. — Вы знаете в общих чертах, кто вы такой. А это определяется тремя факторами: тем, что вы унаследовали, что из вас сделала окружающая обстановка и, главное, как вы сами распорядились своим наследием и окружением. Гений наследует необычайную способность заглядывать за грань реальности и отображать увиденное. Если он при этом еще и живет в хорошей окружающей обстановке, то имеет возможность раскрыть свой талант в полную силу. Но если же он отдает всю свою энергию творчеству и не пытается в свете новых знаний модифицировать свою унаследованную и благоприобретенную сущность, он останавливается в процессе познания. Наоборот, его знания начинают становиться все более и более скудными.

— То есть его знания уменьшаются, вместо того чтобы увеличиваться? — все еще с некоторым недоумением спросил Себастьян.

— Да, уменьшаются, а не увеличиваются, — продолжал развивать свою мысль Бруно. — То, что не улучшается, меняется в худшую сторону. А в данном случае изменение в худшую сторону означает, что творец знает все меньше и меньше о природе высшей реальности. Соответственно, верно должно быть и то, что тот, кто делается лучше и приобретает больше знаний, рано или поздно подвергнется искушению перестать писать, поскольку всепоглощающий труд сочинителя становится препятствием на пути к новому познанию. И это скорее всего одна из причин, почему большинство гениальных людей с таким намеренным упорством избегают приближения к святости — из простого чувства самосохранения. И тогда мы получаем Данте, который пишет ангельские строки о Божьей воле, а уже его следующий выдох исполнен мстительной злости и тщеславия. Тогда мы получаем Вордсворта, благоговевшего перед Богом Природы и источавшего восхищение им, тогда как в жизни он культивировал эготизм и самовлюбленность, которые совершенно ошеломляли знавших его людей. Мы получаем Мильтона, создавшего целый эпос о том, как Человек впервые взбунтовался, но сам автор демонстрировал в жизни непомерную гордыню, которой позавидовал бы и Люцифер. И наконец, — добавил он с легким смешком, — мы имеем юного Себастьяна, постигшего истинность одного из основополагающих жизненных принципов — а именно взаимосвязанность всякого зла, — но использующего свою энергию не на то, чтобы действовать (это было бы слишком скучно), а чтобы превратить свое понимание в стихи. «Кальвин, породивший многих вдов», — неплохо написано, не могу не признать, но попытайтесь вы написать что-то более личное, основанное на собственном опыте, и могло бы получиться даже лучше. Или я ошибаюсь? Однако повторю сказанное прежде: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Он поднялся и направился в сторону кухни.

— А теперь давайте посмотрим, удастся ли нам наскрести что-нибудь на обед, — сказал он.

## XXVII

После скромного обеда они прогулялись по достопримечательностям Флоренции, и воображение Себастьяна все еще будоражили фрески Сан-Марко и надгробия Медичи, когда он добрался наконец до дома. Солнце опустилось уже совсем низко, пока он крутой и пыльной дорогой поднимался в сторону виллы. Его окружали благословенные синие тени, пространства, заполненные не камнем и штукатуркой, а отливавшие янтарем деревья и трава, исполненные для него сейчас необычайного, почти сверхъестественного значения. Блаженно, в состоянии расслабленной пассивной созерцательности, как сомнамбула с широко открытыми глазами, все видящая, но воспринимающая окружение словно чужими органами чувств, которая ощущает и мыслит, но испытывает эмоции, которые ей не принадлежат, с сознанием совершенно очистившимся и открытым, он двигался сквозь окружавшее его сияние и одновременно сквозь воспоминания обо всем, что совсем недавно видел и слышал. Огромные и гладкие глыбы мрамора, бесплотные святые в беленых стенах монастырских келий, слова Бруно, сказанные, когда они выходили из часовни Медичи.

— Микеланджело и Фра Анджелико — таинство святости и обожествление.

Приобщение к таинству святости. Личность достигает таких вершин величия, что перестает быть просто человеком, обыкновенным мужчиной или женщиной, а уподобляется богу, одному из обитателей Олимпа, как вот этот возвышенно-задумчивый воин, как те огромные титаны, нависшие своей обнаженной тяжкой мощью над саркофагами. А превыше святости все же обожествление, когда личность полностью растворяется в благости единения и человек может сказать: «Это уже не я. Это Бог во мне».

Тем временем перед ним снова возникла коза. Та самая, что пыталась жевать бутоны глицинии в свете фар машины в первый вечер с дядей Юстасом. Но на этот раз из угла ее рта торчала основательно пожеванная роза, как у Кармен в опере, и потому под воображаемые бравурные звуки «Тореадор, смелее в бой» животное подошло к ограде сада и, медленно дожевывая растение, посмотрело на Себастьяна сквозь прутья решетки. На желтом фоне глазных яблок зрачки казались двумя узкими щелками, в которых не читалось ничего, кроме тупой и темной бессмыслицы. Себастьян протянул руку и погладил длинный изгиб благородного семитского носа, приласкал все шесть теплых и мускулистых дюймов отвислого уха, а затем ухватился за один из дьявольских рогов. Кармен в испуге попятилась. Он ухватился крепче и попытался подтянуть животное ближе к себе. Внезапным мощным рывком головы создание высвободилось и стало быстро взбираться вверх по ступенькам. Крупное черное вымя раскачивалось при каждом поспешном шаге. Задержавшись у вершины ступеней, коза выпустила из себя дюжину шариков помета, а потом потянулась и сорвала другую розу, предназначавшуюся, видимо, уже для второго акта. Себастьян повернулся и пошел дальше сквозь сияние предзакатного солнца, сквозь свои воспоминания. Снова счастливый самозабвением сомнамбулы. Но одновременно где-то на периферии сознания уже вызревало предчувствие иных реалий, отложенных ненадолго, — лжи, которую он нагородил, и неизбежного разговора с миссис Окэм, ожидавшего его впереди. А несчастное дитя, возможно, уже подвергли допросу, выпороли, посадили на хлеб и воду в наказание. Но нет. Он отказывался расставаться со своим счастливым расположением духа, пока не возникло крайней необходимости. Кармен с розой и белой бородой; мрамор и фрески; приобщение к таинству и обожествлению. А почему бы тогда не назвать это, скажем, апотрагозом и капрификацией[[71]](#footnote-71)? Он громко рассмеялся. Но это не значило, что слова, произнесенные Бруно, пока они стояли на Соборной площади в ожидании трамвая, не произвели на него глубочайшего впечатления. Приобщение к таинству и обожествление — единственные пути, чтобы избежать невыразимой усталости от самого себя, от ужаса деградации, от неизбежности всегда оставаться всего лишь обыкновенным человеком. Два пути, но на самом деле только второй из них вел в открытое пространство. А столь многообещающий и звучащий более привлекательно первый путь рано или поздно приводил в прекрасный, но тупик. Под триумфальными арками, вдоль широкой дороги между статуями и фонтанами ты с помпой маршировал, чтобы познать всю горечь разочарования — торжественно и героически на всем ходу ты врезался в конечность существа своей личности. Тупик, разумеется, венчала стена из прочного мрамора, украшенная колоссальными монументами во славу твоей силы, благородства и мудрости. Но стена оставалась стеной, нисколько не лучше и не хуже, чем порочная ограда твоей прежней тюремной ограды, в которой ты был заточен, будучи просто человеком. В то время как другой путь... Но тут как раз пришел трамвай.

— Вы проявили ко мне невероятную доброту, — заикаясь, он начал нести банальности, когда они пожимали друг другу руки на прощание, но затем волна эмоций захлестнула его: — Научили видеть столько нового... И я действительно постараюсь. По-настоящему...

Смуглый носатый череп заулыбался, и в глубоких глазницах блеснули нежность и, уже в который раз, сочувствие.

Да, размышлял Себастьян, когда трамвай медленно полз вдоль узкой улочки к реке, он действительно постарается. Попытается стать честнее, меньше думать только о себе самом. Жить среди людей и реальных событий, а не прятаться от них в призрачном мире слов. Каким же жутким человеком он был! Неприязнь к себе и раскаяние гармонично смешались с теми чувствами, которые вызывало в нем послеполуденное солнце и те увлекательно незнакомые вещи, которые оно освещало. С Сан-Марко и с часовней Медичи, с добротой Бруно и с тем, что поведал ему этот человек. И постепенно его настроение модулировало от изначальной этической взволнованности в иную тональность. От экзальтации ощущения своей вины и будущих добрых намерений оно перешло в блаженную поэтическую созерцательность, в это неземное сомнамбулическое состояние, в котором он по-прежнему пребывал, когда одолел последний крутой поворот дороги и увидел перед собой ворота из кованого железа между двумя высокими каменными колоннами, торжественно выстроившийся ряд кипарисов, ломаной линией поднимавшийся к самой вилле; сама она, скрытая за отрогом холма, пока не показалась.

Он вошел через калитку для пешеходов. Мелкий гравий дорожки приятно захрустел под ногами, как кукурузные хлопья, подававшиеся к завтраку.

Иду по кукурузным хлопьям, и воображение

Рисует вновь мне чудеса Преображения,

Свершившегося в солнечных лучах...

Внезапно среди кипарисов в двадцати или тридцати ярдах от него на дорожку выбежала маленькая темная фигурка. Ощутимо вздрогнув всем телом и почувствовав жутковатую тяжесть внизу живота, Себастьян узнал девочку с корзиной для прополки, узнал живое воплощение своей вины, больной совести, предвестницу реальности, которую в поэтической отрешенности так хотелось забыть. Заметив его, ребенок замер на месте и стоял, глядя округлившимися черными глазами. Ее лицо, как заметил Себастьян, выглядело бледнее, чем обычно. На нем проступали следы пролитых слез. О господи... Он улыбнулся ей, крикнул:

— Привет! — и помахал приветственно рукой.

Но не успел он сделать и пяти шагов по направлению к ней, как девочка повернулась и, как испуганный зверек, бросилась бежать той же тропинкой, по которой пришла сюда.

— Постой! — выкрикнул он.

Но она, разумеется, не остановилась, а когда он подошел к открытому пространству между деревьями, ее уже и след простыл. Даже если он сейчас отправится и найдет девочку, подумал Себастьян, ничего путного из этого не выйдет. Она не понимала английского языка, а он не говорил по-итальянски. С угрюмым видом Себастьян пошел в сторону дома.

Когда он вошел, ему не попался навстречу никто из слуг, и из гостиной не доносилось ни звука. Слава богу, горизонт оказался чист. Почти на цыпочках он пересек вестибюль и стал подниматься по лестнице. Но на последней ступеньке остановился. Он уловил какой-то шум. Где-то за одной из закрытых дверей шел оживленный разговор. Двигаться вперед и преодолеть это невидимое препятствие или отступить? Себастьян все еще не мог ни на что решиться, когда дверь комнаты, прежде служившей спальней бедному дяде Юстасу, резко распахнулась и из нее вышла старая миссис Гэмбл, прижимая одной рукой к груди собачонку, в то время как за другую ее держала миссис Окэм. За ними следовало бледное, похожее на корову существо, в котором Себастьян узнал давешнего медиума. Потом показалась миссис Твейл, а почти вплотную к ней — о, неописуемый ужас! — шли Габриэль Вейль и мадам Вейль.

— Какое отличие от западного искусства! — говорил Вейль. — К примеру, хотелось бы вам ощутить под рукой лик готической мадонны, мадам?

Он протиснулся между миссис Твейл и медиумом, чтобы ухватить за рукав миссис Окэм.

— Так хотелось бы или нет? — настойчиво повторил он свой вопрос, когда она остановилась и повернулась к нему.

— Даже не знаю, что вам ответить... — неуверенно произнесла миссис Окэм.

— О чем он тут толкует? — грубовато спросила Королева-мать. — Лично я не понимаю ни слова.

— Об этих складках на портьерах эпохи треченто, — продолжал мсье Вейль. — Они такие жесткие, такие крикливые. — Он скорчил неприязненную гримасу. — *Qué barbaridad* ![[72]](#footnote-72)

Все еще не сводя глаз с угрозы в конце коридора, Себастьян бесшумно спустился ступенькой ниже.

— В то время как китайская вещь — это совсем другое дело, — не умолкал мсье Вейль, а выражение его лица мгновенно сменилось восторженным. — Un petit bodhisattva, par example...[[73]](#footnote-73)

Еще шаг вниз.

— ...Эти ткани просто текут и тают. Как масло в августе. Никакой шершавости, никаких готических складок — просто quelques volutes savantes et peu profondes...[[74]](#footnote-74)

Крепкие белые и волосатые руки нежно огладили воздух.

— Какое наслаждение только прикасаться к ним кончиками пальцев! Какая утонченная чувственность! Какое...

Еще шаг. Но на этот раз движение получилось слишком неуклюжим. Фокси VIII тут же повернул остренький носик в сторону лестницы и, принявшись активно крутиться в плотных объятиях миссис Гэмбл, разразился лаем.

— А, вот и Себастьян! — радостно воскликнула миссис Окэм. — Идите сюда и познакомьтесь с мсье и мадам Вейль.

Чувствуя себя преступником, всходящим на эшафот, Себастьян медленно преодолел три последние ступени и подошел к плахе, где ждал палач. Лай сделался громче и истеричнее.

— Уймись, Фокси! — рявкнула Королева-мать, но потом, желая смягчить суровость команды, объяснила, обращаясь сразу ко всем: — Но вообще-то он милый и безвредный песик. Совершенно безвредный.

— Себастьян Барнак, племянник моего приемного отца, — представила миссис Окэм.

Себастьян поднял глаза, ожидая увидеть ироническую улыбку и услышать объявление Вейлей, что они уже встречались с этим юношей прежде. Однако жена лишь вежливо склонила голову, а муж протянул руку со словами:

— Очень рад, несказанно рад знакомству, сэр.

— И я несказанно... — ответил Себастьян, с трудом ворочая языком, но всеми силами делая вид, что для него это лишь совершенно обычная встреча с новыми людьми, в которой нет ничего экстраординарного.

— Не сомневаюсь, — сказал мсье Вейль, — что вы разделяете любовь своего дяди к искусству.

— Да, то есть... Я хотел сказать...

— Взгляните только на одну его китайскую коллекцию! — мсье Вейль свел ладони вместе, а глаза устремил в небеса. — И о многом говорит тот факт, что большую ее часть он держал в своей спальне, — продолжал он, поворачиваясь вновь к миссис Окэм, — вдали от всех, наслаждаясь ее красотой в одиночестве! Какая утонченная особенность, какая повышенная чувствительность!

— На твоем месте, Дэйзи, я продала бы все оптом, — вставила ремарку Королева-мать. — Получи кучу наличных и купи себе «Роллс». Это будет просто и практично.

— Очень дельный совет! — буквально выдохнул мсье Вейль тоном ценителя, который с трепетом отмечает мудрость мысли, высказанной Рабиндранатом Тагором.

— Не уверена пока относительно «Роллса», — сказала миссис Окэм, которая уже давно занималась подсчетами, как лучше потратить деньги на нужды своих бедных девочек. А потом, чтобы не вступать в препирательства со своей бабкой, поспешно сменила тему: — Мне прежде всего хотелось бы поговорить с мсье Вейлем о том рисунке, — продолжила она, обращаясь к Себастьяну. — Поэтому Вероника позвонила ему после обеда, и он любезно согласился немедленно приехать.

— Никакой любезности с моей стороны, — запротестовал мсье Вейль. — Для меня это удовольствие и, конечно же, дань памяти нашему дорогому усопшему.

Он приложил ладонь к сердцу.

— Мсье Вейль придерживается оптимистического взгляда, — сказала миссис Окэм. — Он считает, что рисунок не мог быть украден. Более того, он уверен, что сможет найти его.

— Ты несешь чепуху, Дэйзи, — пролаяла Королева-мать. — Никто не может ничего знать о рисунке, кроме Юстаса. Вот почему я снова послала за миссис Байфлит, и чем скорее мы устроим еще один сеанс, тем лучше.

Наступило молчание, и Себастьян понял, что для него настал момент сдержать данное им слово. Если он не совершит этот поступок немедленно, если не объяснит, что произошло с рисунком, потом может быть слишком поздно. Но признаться в содеянном при всех... При этом жутком человеке, Королеве-матери и миссис Твейл — перспектива представлялась ужасающей. Но все же обещание есть обещание. Себастьян тяжело сглотнул, провел языком по пересохшим губам. Но тишину первой нарушила миссис Гэмбл.

— Ничто не убедит меня, что его не украли, — заявила она безапелляционно. — Ничто, кроме уверения из уст самого Юстаса.

— Ни даже тот факт, что рисунок уже найден? — спросил мсье Вейль.

У него поблескивали глаза, а говорил он как человек, который в любой момент готов радостно рассмеяться.

— Уже найден? — переспросила миссис Окэм.

Как фокусник, достающий из рукава кролика, мсье Вейль протянул руку и вытянул тонкий плоский пакет, который держал под мышкой левой руки Себастьян.

— В первоначальном виде, — объявил мсье Вейль, вскрывая пакет. — Мне ли не узнать бумагу, которую я использую для *emballage* [[75]](#footnote-75). — И еще более выразительным жестом, словно теперь это был уже не кролик, а по меньшей мере маленький единорог, он вынул рисунок и передал его миссис Окэм. — А что же наш юный друг? — продолжал он. — Почему он стоит здесь с таким печальным видом, словно на похоронах?

И он разразился громким смехом и похлопал Себастьяна по спине.

— Как? Как это случилось? — воскликнула Королева-мать. — Вы хотите сказать, что мальчик нашел рисунок?

— «Elle est retrouvée», — продекламировал мсье Вейль.

Elle est retrouvée.

Quoi? L’eternité.

C’est la mer allée

Avec le soleil[[76]](#footnote-76).

Но если серьезно, мой друг, если серьезно... Где вы его обнаружили? Не в том ли месте, где, как я с самого начала предположил, он может находиться? Не в... — Вейль сделал паузу, склонился к Себастьяну и что-то прошептал ему на ухо. — Не там, куда даже короли ходят пешком — enfin[[77]](#footnote-77) в туалетной комнате?

Себастьян еще мгновение колебался, а потом кивнул.

— Да, там между шкафчиком с медикаментами и стеной как раз есть небольшая щель, — прошептал он.

## XXVIII

Боль и рыдания от смеха. Кошмары жестокости, приступы холодной похоти и это невозможное отвращение, безостановочно терзавшее все его существо. Без конца, и это продолжалось все дольше и дольше с каждым повторением все нараставшей муки агонии.

А потом нежданно, одним резким порывом пришла вечность облегчения, подобная чуду. Вместо хаотичных смен непонятно как чередующихся периодов он вернулся в знакомый прежде временной порядок. И вернулись многочисленные мелкие ощущения, трепетное осознание того, что у тебя вроде бы снова появилось тело. Где-то лежало пространство, а в пространстве находились другие тела — ощущалось присутствие схожих с ним сознаний.

— Сегодня вечером с нами двое твоих старых друзей, — услышал он голос Королевы-матери, говорившей своим призрачным вариантом унтер-офицерского голоса. — Мсье и мадам... Кстати, как ваша фамилия?

— Мадам Вейль и Габриэль Вейль, — одновременно ответили женский и мужской голоса.

И, конечно же, это они и были: фламандская Венера и ее такой нелепый внешне Вулкан.

«Где каждый экспонат радует глаз, — пропел он. — Только у братьев Вейль — Париж, Вена, Флоренция, Брюссель...»

Но, как обычно, тупица-переводчица все истолковала неверно. Между тем антиквар начал говорить ему о китайской бронзе. Какой отменный вкус коллекционера, настоящего знатока, тонко чувствующего вещи! А затем с торжественной серьезностью, которая так забавно контрастировала с игривым французским акцентом мадам, Вейль ввернул что-то о «каллиграфической полифонии».

Какой роскошный абсурд!

— Он считает, что вы смешной! — пропищала медиум и сама тоненько захихикала.

Однако же эти Вейли, как неожиданно открылось Юстасу, были далеко не только смешными. Так или иначе, но они имели огромное значение, величайшую важность. Каким-то непостижимым, таинственным образом они приобретали масштабы символов эпохи. Да, другого слова не подберешь — они стали эпохальными людьми.

Юстас, как ему казалось, почти сумел дойти до разгадки, как и почему они сделались эпохальными, когда вдруг влезла Королева-мать.

— Мне представляется, что ты уже начал чувствовать себя как дома на той стороне, — сказала она.

«Вот именно, как дома!» — повторил он, вложив в свои слова весь возможный сарказм.

Но дура-переводчица сделала из его фразы своего рода сентиментальную констатацию факта.

— Разумеется, он чувствует себя как дома, — проскрипела она.

Затем Королева-мать предположила, что для тех, кто никогда прежде не присутствовал при сеансе, было бы интересно услышать нечто, доказывающее, что общение происходит именно с ним. И она начала задавать ему один за другим самые идиотские вопросы. Сколько он заплатил, когда покупал у мистера Вейля те рисунки? Как называется отель, где он обычно останавливается в Париже? Какие книги он читал в тот день, когда покинул этот мир? А потом, когда свои вопросы добавили миссис Твейл и оба члена семьи Вейль, разговор принял такой сбивчивый характер, опустился до таких тривиальностей, что Юстас оказался полностью сбит с толку, ему стало трудно мыслить ясно и даже вспоминать прекрасно известные вещи. Чувство самосохранения подсказало, что нужно отвлечься от смысла того, что говорилось, и сконцентрировать внимание не на словах, а на тембре, структуре и громкости того или иного голоса. И контрапунктом к доходившим извне шумам стал доноситься смутный ритм кровотока, дыхания и нескончаемый поток импульсов, посылаемых этим его временным телом. Теплота и давление, влага и щекотка, целый набор едва заметных болей и онемений, невнятные внутренние неприятные чувства и удовольствия. Он до такой степени наслаждался сокровищами физиологической реальности, ощущая их прямо и с непосредственной радостью, что не было никакой необходимости обращать внимание на других людей, думать о них или пытаться с ними связаться. Хватало этого простого ощущения пространства и времени, происходивших в нем жизненных процессов. Больше ничего не нужно. Это само по себе заменяло рай.

А потом сквозь щебечущую воздушную темноту своих ощущений Юстас снова заметил присутствие все того же голубого сияния тишины. Хрупкого, неестественно красивого, как эссенция, полученная сразу из всей голубизны неба и цветов, вселенского молчания и потенциально любой существовавшей в мире музыки. Нечто невыразимо нежное, манящее, умоляющее.

Но между тем воздух продолжал свое движение через его ноздри. Прохладный на вдохе и уже согретый до почти неощущаемой температуры на выдохе. По мере того как грудь расширялась и сжималась, усилие сменялось приятной легкостью движения, снова и снова. А какое это наслаждение — слышать ритмичное биение крови в сосудах ушей, ощущать ритм в висках! Как прелестно размышлять над смесью вкусов чеснока и шоколада, красного вина и... Да, почек. Над вкусами, которые помнили рецепторы языка! А затем, в одно мгновение, подобием необычайно гармоничного и скоординированного землетрясения в области рта и пищевода, ты сглатывал накопившуюся слюну, и с небольшой задержкой чуть заметное бурление под диафрагмой подсказывало, что процесс пищеварения продолжался непрерывно, как всегда. Это придавало окончательной уверенности, делало совершенным в своей завершенности его ощущения райского блаженства. И вдруг он опять вспомнил святого Себастьяна и чучела певчих птичек, вспомнил вкус дыма сигары во рту, прогретом выдержанным бренди, вспомнил Мими, и «Настоятеля собора в Пеории», и свою коллекцию исторических фактов, свидетельствовавших, к каким нелепым и катастрофическим последствиям всегда приводил идеализм. Причем вспомнил не со стыдом и с желанием самобичевания, а с откровенным удовольствием или, в крайнем случае, воспринимал все это как невинные забавы. Сияние настойчиво присутствовало где-то в стороне, но теперь ощущение обладания телом служило надежным препятствием для его вкрадчивого приближения. За стеной этого ощущения он оказывался защищенным от необходимости знать себя самого таким, каким другие знали его при жизни. И Вейли, дошло до него наконец, — именно эта Венера и ее смуглый Вулкан, — могли помочь ему навсегда избавиться от этого ненавистного знания. Его ждала темнота живой утробы, счастье вегетативного райского существования. Провидение уготовало ему участь — провидение живой плоти, жадно стремившейся втянуть его в себя, проглотить, жаждущее держать его, баюкать и кормить самой субстанцией своего аппетитного и такого жизнерадостного естества.

Сияние умоляюще усилило интенсивность своего тихого свечения. Но он знал, чего оно добивалось, и был вооружен против любых его уловок. Кроме того, всегда имелась возможность призвать на помощь Моцарта и рулетку, Мими и вечернюю звезду между двумя кипарисами. Это была превосходная возможность, при условии, что твоя психология подходила для сопротивления стратегическому наступлению сияния. А подобная психология оказывалась доступна, только попроси; или же продана в пароксизме бездумной жадности...

Внезапно писк той дебильной дамы перестал быть ничего не значащим звуковым фоном и трансформировался в нечто важное.

— До свидания, друзья, до свидания.

И из внешней тьмы донесся ответный хор прощаний, который быстро стал затихать, терять смысл, перешел в неясное бормотание. И все эти прекрасные импульсы-послания, которые испускало его тело, тоже постепенно начали меркнуть. Птичий щебет и шелест затихли, движение прекратилось. Внезапным рывком Юстас снова потерял тот столь удобный мир, где время шло в правильной последовательности, а место представлялось надежным и основательным, и оказался посреди бредового хаоса бесконтрольного сознания. В мутном потоке бесхозных образов, мыслей, слов и воспоминаний, где все автономно, где все само по себе, только две вещи сохранили стабильность. Нежное, льющееся отовсюду сияние и знание, что существует готовая принять его чернота из плоти и крови, в которой он при желании мог спрятаться от света.

Но здесь же еще раз перед ним возникла решетка сплетений взаимных связей, и он находился в самом ее центре, двигаясь от узла к узлу, от одной схематичной фигуры до ее странно искаженной проекции в соседнем сплетении. Двигался, двигался, пока неожиданно не попал в то место, где осторожно клал свою сигару в пепельницу из оникса и поворачивался, чтобы открыть шкафчик с медикаментами.

А затем последовало скольжение куда-то вбок, падение сквозь прорези решетки, и он снова стал обладателем воспоминаний о событиях, которые еще не произошли. Ему вспомнился день близившегося к концу лета, жаркий, безоблачный, и самолеты, гудящие в небе прямо поперек светящейся тишины. Потому что тишина никуда не делась, яркая, неизменная в своей нежности; да, она присутствовала здесь тоже вопреки всему, что происходило на длинной прямой дороге, протянувшейся среди тополей. Тысячи людей, которые все шли в одном направлении, подгоняемые одним и тем же страхом. Шли пешком, взвалив на спину узлы, неся на руках детей, или ехали, тесно прижавшись друг к другу, на переполненных телегах, или катили велосипеды с привязанными к рулям чемоданами.

И среди них был Вейль, брюхастый, почти облысевший, который толкал перед собой зеленую детскую коляску, забитую вынутыми из рам картинами, голландским серебром, китайским ониксом и с раскрашенной деревянной фигурой Мадонны, стоявшей криво, словно пьяная, на том месте, где полагалось бы спать ребенку. Отяжелевшая с приближением преклонных лет фламандская Венера хромала за ним, неся на себе марокканский чехол для одежды и свою котиковую шубу. «Je n’en peux plus[[78]](#footnote-78), — постоянно жалобно тянула она. — Je n’en peux plus». А порой в приступе отчаянья: «Suicidons-nous, Gabriel»[[79]](#footnote-79). Склонившись над коляской, Вейль не отвечал и даже не оборачивался, а вот маленький и очень худенький мальчуган, шедший рядом с ней, немного смешной в слишком широких брюках для гольфа, пожимал мамину руку, а когда она обращала к нему свое заплаканное лицо, ободряюще ей улыбался.

Слева от дороги за обширным пространством желтой стерни и деревьями фруктовых садов целый город был объят пожаром, и дым черным столбом поднимался из-за колокольни залитой солнечным светом церкви, стоявшей на самой окраине, а потом растекался сквозь ярко светившуюся тишину, превращаясь в огромный перевернутый конус коричневой темноты. Звуки отдаленных выстрелов прогрохотали в летнем воздухе. С заброшенной придорожной фермы донеслось диковатое мычание недоеных коров, а в небе над головами идущих снова внезапно появились самолеты. Их было только два, но почти в то же мгновение сзади донесся рев других моторов. Сначала чуть слышный, но вереница военных машин мчалась вдоль дороги на полной скорости, и потому с каждой секундой звук с ужасающей быстротой нарастал. Поднялись истошные крики и вой, люди в панике бросились к обочинам. И вот уже Вейль издавал какие-то нечеловеческие вопли рядом с перевернутой коляской. Испуганная лошадь заржала, попятилась назад вместе с оглоблями. Телега резко дернулась и нанесла мадам Вейль скользящий удар по плечу. Пошатываясь, она сделала два или три шага, стараясь сохранить равновесие, но затем один из ее высоких каблуков попал в щель между камнями мостовой, и она рухнула на нее лицом вниз. «Maman!» — взвизгнул маленький мальчик. Но прежде чем он смог хотя бы попытаться оттащить ее в сторону, первый из тяжелых грузовиков проехал колесами по распластанному, но живому еще телу. На мгновение кошмар прекратился. Между деревьями опять стала видна в отдалении церковь, такая яркая на фоне черного дыма, словно вырезанная солнцем по поверхности драгоценного камня. Потом мимо промчался еще один грузовик, в точности такой же, как и первый. Тело осталось лежать совершенно неподвижно.

А Юстас снова остался наедине со светом и тишиной. Один с квинтэссенцией всей голубизны небес, музыки и нежности, но вот только ни у небес, ни у музыки, ни у нежности не оставалось никакой возможности себя проявить. На мгновение, на вечность им овладело чувство полнейшей и окончательной вовлеченности. Но затем мучительное сознание обособленности вернулось, как и постыдное понимание своей отвратительной и темной природы.

В тот же момент вспомнились эти эпохальные люди. Эти Вейли. И опять стало понятным, что, будь на то его желание, прими он их помощь, и они смогли бы избавить его от чрезмерного избытка яркого света.

А машины неслись одна за другой. Одинаковые, серо-зеленые. В кузовах сидели мужчины, клацавшие металлом. В промежутке между четвертым и пятым грузовиками тело удалось оттянуть с проезжей части. Труп накрыли сверху котиковой шубой.

Все еще завывая, через какое-то время вернулся Вейль и стал тщетно искать обломки сломавшихся пальцев и короны Мадонны. Дородная краснощекая женщина обняла мальчика за плечи, отвела в сторону и заставила сесть, прислонившись к стволу одного из тополей. Мальчуган сгорбился под деревом, спрятав лицо в ладони, сотрясаясь всем телом от рыданий. И внезапно оказалось, что мысли о мальчике рождались не только вне его. Агония страха и горя кем-то воспринималась напрямую, кто-то полностью идентифицировал себя с этим ребенком, взял на себя часть его му́ки. Не только его боль, но и моя тоже! Знание Юстаса Барнака о мальчике слилось со знанием мальчика о себе самом. Это теперь было единое знание.

А потом произошло новое плоскостное смещение, и воспоминание о малыше снова стало частью чужих воспоминаний. Ужасно, ужасно! И все же, несмотря на весь страх, каким же блаженством было слышать у себя в ухе биение пульсирующей крови! Ему припомнилось теплое и сладостное ощущение сытости и опьянения, гладкость женской кожи, ароматный дым сигар... Но снова возник свет. Сияние в тишине. Нет, ничего подобного допускать нельзя! С твердой решимостью он сделал все, чтобы отвлечь от света внимание.

## XXIX

Как только завтрак закончился, Себастьян выскользнул из дома и почти бегом устремился вниз по склону холма к остановке трамвая. Ему срочно нужно было повидать Бруно. Чем быстрее, тем лучше. И рассказать обо всем, что произошло.

Пока он ждал на остановке, его мысли метались туда и обратно от чувства огромности своей вины до более сложного, но блаженного ощущения, что он случайно попал под моральное давление такой силы, справиться с которым не смог бы ни один нормальный человек. Он не сдержал обещания, нарушил слово, которое с такой хвастливой уверенностью дал, что делало ситуацию еще более унизительной. Да, но откуда ему было знать, что неожиданно появится Вейль? Кто мог предсказать, что этот тип в подобном положении поведет себя столь экстраординарным образом? Придумать за него спасительную версию, а потом буквально навязать ее! Да, его принудили солгать, повторял он, ища самооправдания. Заставили против его воли вопреки самым благим намерениям; ведь он действительно был готов при всех выложить правду. Разве это можно отрицать? К тому времени, когда пришел трамвай, Себастьян наполовину убедил себя, что именно так и обстояло дело. Он уже буквально открыл рот, чтобы признаться миссис Окэм в своем проступке, как вдруг по не до конца ясной и, возможно, корыстной причине это чудовище в человеческом облике вмешалось и не позволило ему сдержать слова. Однако проблема заключалась в том, понял он, пока трамвай еще трясся по Лунгарно, что Бруно выслушает, помолчит, а потом очень мягко задаст несколько вопросов, которые разрушат ее как карточный домик. И окажется Себастьян перед необходимостью признаваться в еще одной лжи, так и не покаявшись пока в предыдущей. Нет, решил он, лучше уж сразу сказать Бруно все начистоту, каким бы жалким он ни выглядел после этого: что он собрался сбежать, когда его загнали в угол, и ему оставалось потом Вейля только благодарить. Да, он заставил его нарушить обещание, но помог спасти свою драгоценную шкуру.

А вот и угол улицы, где жил Бруно. Трамвай остановился, Себастьян сошел и двинулся по узкому тротуару. Да, в глубине души он и в самом деле испытывал благодарность к человеку, который так облегчил ему ложь.

— Боже, насколько же я гадок! — шептал он. — Просто отвратителен!

Чуть смолянистый запах болонских колбасок ударил ему в нос. Он поднял голову. Это здесь — небольшая pizzicheria[[80]](#footnote-80) соседствовала с домом Бруно. Он вошел в высокий дверной проем и стал подниматься по лестнице. Оказавшись чуть выше площадки второго этажа, услышал, что сверху спускались какие-то люди, и совершенно внезапно увидел мужчину в мундире — то ли солдата, то ли полицейского. С идиотским сознанием своего могущества тот важно шествовал по ступеням. Себастьяну пришлось прижаться к стене, чтобы дать ему пройти. Секундой позже еще трое вышли с верхнего пролета. Человек в таком же мундире шел первым, еще один замыкал шествие, а между ними, держа в руке старый кожаный саквояж, спускался Бруно. Заметив Себастьяна, Бруно сразу нахмурил брови, сжал губы, словно призывал молчать, и чуть заметно покачал головой. Уловив намек, юноша тоже поджал губы и постарался напустить на себя совершенно бесстрастный равнодушный вид. В полном молчании все трое прошествовали мимо него и скрылись внизу.

Себастьян остался стоять на месте, вслушиваясь в звуки удалявшихся шагов. На месте желудка у него от страха образовалась чудовищная пустота. Что это значило? Что, черт побери, это могло означать?

Они уже спустились на первый этаж и пересекали холл. Потом звук внезапно оборвался; они вышли на улицу. Себастьян поспешил спуститься следом и как раз успел, выглянув наружу, увидеть, как последний из полицейских садился в ожидавшую машину. Дверь захлопнулась, старый черный «Фиат» тронулся с места, завернул за угол колбасной лавки и скрылся из виду. Себастьян долго невидящим взглядом смотрел туда, где только что стояла машина, и лишь через какое-то время двинулся в ту сторону, откуда пришел.

Прикосновение к локтю заставило его вздрогнуть и повернуть голову. Высокий сухопарый молодой человек пошел рядом с ним.

— Вы приходить повидать Бруно? — спросил он на скверном английском.

Припомнив слова отца о полицейских ищейках и agents provocateurs[[81]](#footnote-81), Себастьян ответил не сразу. Его тревога, видимо, отразилась на лице, потому что молодой человек помрачнел и покачал головой.

— Вам не бояться, — сказал он почти зло. — Я друг для Бруно. Мальпиги. Карло Мальпиги. — Он поднял руку и указал: — Пойдем туда.

Четыре широкие ступени вели к входу в церковь. Они подняли и сдвинули в сторону тяжелый кожаный полог, который висел в проеме открытой двери. В конце высокого и сводчатого туннеля несколько свечей рассеивали сумрак, пропахший старыми благовониями. За исключением женщины в черном, молившейся у самого подножия алтаря, внутри никого не было.

— Что произошло? — спросил Себастьян, когда они вошли.

С трудом подбирая слова на далеком от совершенства английском и охваченный эмоциональным стрессом, молодой человек сбивчиво попытался ответить. Друг Бруно, человек, служивший в полицейском управлении, пришел вчера, чтобы предупредить, что они собираются это сделать. На хорошей машине он мог легко успеть пересечь границу. Многие готовы были пойти на любой риск, чтобы помочь ему в этом. Но Бруно отказался: он просто не хотел бежать, просто не хотел.

Голос молодого человека надломился, и даже почти в полной темноте было видно, как крупные слезы покатились по его щекам.

— Да, но за что он арестован? В чем его могут обвинить? — спросил Себастьян.

— На него донесли, что он связан со сторонниками Каччегвиды.

— Каччегвиды? — повторил Себастьян, и у него снова жутко скрутило низ живота, когда он вспомнил, с какой радостью запихивал в бумажник двадцать две купюры, и свое глупое хвастовство о том, как отец помогал итальянским антифашистам. — Это сделал Вейль? Он написал донос? — шепотом спросил он.

Как ему показалось, очень долго молодой человек смотрел на него молча. Мокрое и странно искаженное, его узкое лицо непроизвольно дергалось. Он стоял совершенно неподвижно, а его руки безвольно свисали по сторонам; только большие кисти то сжимались в кулаки, то снова разжимались, словно жили какой-то своей напряженной, но исполненной му́ки жизнью. Но потом он прервал молчание.

— Так все из-за вас, — произнес он очень медленно, но вкладывая в каждое слово такой заряд концентрированной ненависти, что Себастьян в страхе попятился от него. — Все происходить из-за вас.

Шагнув вперед, он наотмашь ударил Себастьяна по лицу. Тот издал крик от боли и пошатнулся, упершись спиной в колонну. Скаля зубы и воздев над головой кулаки, Карло угрожающе нависал над ним, но, увидев, что Себастьян достал носовой платок и пытается остановить хлынувшую из носа кровь, внезапно опустил руки.

— Извинить, — пробормотал он на ломаном языке. — Извинить.

И быстро повернувшись, поспешил покинуть церковь.

Без четверти час Себастьян уже вернулся на виллу, причем лишь слегка распухшая губа могла выдать, что утром с ним что-то приключилось. В церкви он полежал поперек двух стульев, пока кровотечение из носа не прекратилось, потом слегка умылся святой водой и вышел на улицу, где купил чистый носовой платок и закончил приводить себя в порядок, воспользовавшись туалетом Британского института.

Когда он поднимался по склону холма, ему встретилась та же коза, но у Себастьяна возникло смутное внутреннее ощущение, что сегодня он не имеет права даже остановиться, чтобы понаблюдать за животным, а горячее чувство вины не позволяло предаваться поэтическим фантазиям. И он шел вверх по дороге, через ворота, мимо царственных кипарисов, чувствуя себя настолько глубоко несчастным, что даже жить больше не хотелось.

На приземистой ограде террасы перед виллой, у подножия пьедестала, на котором поросшая мхом Помона держала свой рог изобилия, в полном одиночестве сидела Королева-мать, поглаживая лежавшую на коленях собачку. Заметив ее, Себастьян остановился. Получится ли прокрасться мимо нее на цыпочках в дом, чтобы не быть услышанным? Старая женщина внезапно подняла голову и устремила незрячий взгляд в небо. К своему огромному удивлению и даже с некоторой оторопью Себастьян увидел, что она плачет. Что могло случиться? Но потом он заметил, как именно лежит Фокси поперек ее бедер: обмякший, похожий на те коричневые меха, которые женщины любят набрасывать на шеи, лапы бессильно обвисли, голова располагалась ниже остального тельца. Стало очевидно, что животное мертво. Понимая теперь, насколько будет неправильно прокрасться мимо незамеченным, Себастьян пошел по хрустящему гравию дорожки, стараясь делать каждый шаг как можно более звучным.

Королева-мать повернула голову.

— Это ты, Дэйзи?

Себастьян назвал свое имя.

— А, так это ты, мальчик, — сказала она тоном почти презрительного разочарования. — Подойди и сядь здесь.

Она похлопала ладонью по прогретой солнцем штукатурке покрытия стены, достала вышитый носовой платок, промокнула из глаз слезы и вытерла влагу со щек.

Себастьян сел рядом с ней.

— Бедный маленький Фокси... Что с ним стряслось?

Старуха спрятала платок и посмотрела в его сторону слепыми глазами.

— А вы разве не знаете?

Себастьян объяснил, что все утро провел в городе.

— Эта дура Дэйзи считает все несчастным случаем, — сказала Королева-мать. — Но она ошибается. Я знаю, что произошло. Они убили его.

Ее тонкий, но хриплый голос задрожал от необузданной ненависти.

— Убили?

Она выразительно закивала:

— Чтобы отомстить. Потому что мы подумали, будто та девчонка украла рисунок.

— Вы в самом деле так считаете? — прошептал Себастьян огорченно. Бруно арестован, а маленькая собачка убита, и все потому, что он сделал или же, наоборот, не сделал. — Вы действительно так думаете?

— Говорю же тебе, я точно знаю, — нетерпеливо прохрипела Королева-мать. — Они накормили его крысиным ядом — вот что случилось. Вероника нашла его после завтрака мертвым на террасе.

И совершенно неожиданно она разразилась громким, до ужаса непохожим на обычный человеческий плачем. Подобрав беспомощное тельце с колен, она подняла его и прижалась лицом к мягкой шерстке.

— Маленький Фокси, — произнесла она совершенно убитым тоном. — Мой маленький Фокси-мопси...

Но затем жалкая гримаса отчаяния вновь сменилась на ее лице выражением невыразимой ненависти.

— Это звери! — воскликнула она. — Самые настоящие чудовища!

Себастьян в ужасе смотрел на нее. Это была его вина. Только его, и больше ничья.

Гул мотора подъехавшей машины заставил его повернуться.

— Это «Изотта», — сказал он, обрадованный возможностью сменить тему.

Машина обогнула балюстраду у лестницы и остановилась прямо напротив нее. Открылась дверь, и наружу выскочила миссис Окэм.

— Бабушка! — возбужденно воскликнула она. — Я нашла его.

И она извлекла из-под плаща маленький круглый комочек оранжевой шерсти с черными блестящими глазками и черным вздернутым носиком.

— Его папаша был удостоен трех первых призов. Вот он! Протяните руки.

Миссис Гэмбл вытянула пару своих украшенных драгоценными перстнями когтистых лап, и крохотного щеночка вложили в них.

— Какой он малюсенький! — воскликнула она.

— Ему всего четыре месяца, — сказала миссис Окэм. — Ведь так сказала нам женщина? — Она обратилась к миссис Твейл, которая выбиралась из машины вслед за ней.

— Исполнилось четыре месяца в прошлый вторник, — подтвердила она.

— Но он, надеюсь, не черный? — спросила старуха.

— О нет. Подлинной лисьей масти.

— Значит, он тоже Фокси, — заявила Королева-мать. — Фокси IX. — Она поднесла зверька к лицу. — Какая нежная шерстка! — Фокси IX изловчился и лизнул ее в подбородок. Королева-мать издала при этом радостный визг. — Так он меня уже любит? Любит он свою старую бабулю?

Потом она посмотрела в сторону миссис Окэм.

— Пять Джорджей, — сказала она, — семь Эдвардов, восемь Генрихов. Но никогда не было никого под номером девять.

— Как насчет Людовика XIV? — предложила миссис Окэм.

— Мы можем говорить только об английских королях, — сурово возразила Королева-мать. — В Англии династии всегда заканчивались не больше, чем на цифре восемь. Маленький Фокси станет первым IX.

Она опустила руки. Фокси IX нашел щель в тюремной решетке ее пальцев и с любопытством обнюхал трупик Фокси VIII.

— Я купила своего первого «померанца» в 1876 году, — предалась воспоминаниям Королева-мать. — Или в 1874-м? Словом, это был тот год, когда Гладстон пообещал упразднить подоходный налог, но так и не сделал этого, старый проходимец! Прежде мы всегда держали мопсов. Но Нэду не нравилось, как они храпели во сне. Потому что он сам храпел — вот и вся причина. Но наш крошечный Фокси, — спросила она уже совершенно другим тоном, — он же не будет храпеть, правда?

И она снова поднесла щенка к лицу.

Бесшумно, как привидение, появился дворецкий и объявил, что обед подан.

— Он сказал что-то про обед? — спросила Королева-мать и, не дожидаясь ничьей помощи, почти вскочила на ноги. С легким стуком тельце Фокси VIII упало на землю. — О, бедняжка, я и забыла, что он лежал у меня на коленях. Подбери его, мальчик, сделай одолжение. Гортензия сколачивает для него гробик. Я специально дала ей лоскут от старого розового сатинового платья на внутреннюю обивку. Подай мне руку, Вероника.

Миссис Твейл шагнула вперед, и потом все потянулись в сторону дома.

Себастьян наклонился и не без отвращения подобрал мертвую собаку.

— Бедный маленький песик! — сказала миссис Окэм, и когда они двинулись вслед за остальными, ласково положила ладонь на плечо Себастьяну. — Надеюсь, вы хорошо провели утро в городе? — спросила она.

— Да, очень хорошо, спасибо, — ответил он как можно неопределеннее.

— Осматривали достопримечательности, как я полагаю, — начала она, но потом вдруг осеклась. — Кстати, совершенно вылетело из головы. После того как вы ушли, принесли телеграмму от вашего отца.

Она открыла сумочку, развернула бланк и прочитала:

ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В КАНДИДАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ВЫБОРАХ ВОЗВРАЩАЮСЬ НЕМЕДЛЕННО СЕБАСТЬЯН ДОЛЖЕН ВСТРЕТИТЬ МЕНЯ

В 4 ЧАСА ДНЯ СЛЕДУЮЩУЮ СРЕДУ

ПАРОХОД ТОМАС КУК

И СЫН ПОРТ ГЕНУИ!

— Очень жаль, — покачала головой она. — А я-то рассчитывала, что вы погостите до конца каникул. И... О боже! Нам теперь не хватит времени, чтобы успеть сшить смокинг.

— Боюсь, что так, — сказал Себастьян.

Времени не оставалось, чтобы получить хотя бы один из костюмов, подумал он. Потому что смокинг, заказанный им у портного дяди Юстаса — и, между прочим, наполовину оплаченный, — должен быть готов к первой примерке как раз в тот день, когда ему предстояло уже находиться в Генуе. Все, как выяснялось, ничего не стоило, оказалось напрасным. Все несчастья, приключившиеся с ним, все пережитое чувство вины, как и арест Бруно, как и эта несчастная мертвая собачонка. А ведь проблема его участия в вечеринке Тома Бовени так и не решена, и она становилась все более насущной с каждым прошедшим днем.

— Очень жаль, — повторила миссис Окэм.

— О чем это ты? — спросила ее Королева-мать.

— Себастьян скоро нас покинет.

— Не будет больше уроков, как не мям-мямлить, — сказала миссис Твейл, смакуя слово. — Впрочем, ему это только доставит радость.

— Тебе нужно как можно лучше распорядиться временем, которое у тебя здесь еще осталось, — сказала Королева-мать.

— О, он сумеет, сумеет, — заверила ее миссис Твейл и издала едва слышный короткий смешок. — Вот мы и у ступеней, — уже с серьезным видом предупредила она. — Если не забыли, то их всего пять. Ногу поднимаем невысоко, но шаг делаем широкий.

## Эпилог

Зенитные орудия на Примроуз-Хилл открыли беспорядочную стрельбу, и, хотя пустыня осталась в далеком прошлом, как и кошмарное завывание пикирующих самолетов, Себастьян почувствовал приступ знакомого трепетного напряжения. Словно он был скрипкой с завязанными узлами струнами, которые как раз настраивали, с упрямой силой натягивая все туже и туже, пока не начинало казаться, что струна вот-вот лопнет. Станет легче, если начать двигаться, подумал он и вскочил, но слишком резко. Бумаги, сложенные на подлокотнике кресла, стали разлетаться по полу. Он наклонился и попытался начать ловить их еще в полете той рукой, что была ближе к ним. Но как раз эта рука у него отсутствовала. «Идиот!» — отругал он себя. Уже давно с ним не происходило ничего подобного. Заставив себя прибегнуть к ставшей привычной методе, он собрал листы той рукой, которая оставалась в его распоряжении. Пока он был поглощен этим занятием, шум снаружи стал утихать, а потом вдруг наступила блаженная тишина. Он снова сел на место.

Отвратительное ощущение! Но в нем присутствовал по меньшей мере один позитивный момент: напоминание о том, что ты больше не находился в том же теле, которое вело себя наперекор твоим истинным желаниям и устремлениям. Neti, neti — ни то, ни это[[82]](#footnote-82). Сомневаться не приходилось. Но, конечно же, подумал он, сомнений не было и прежде, в те ушедшие дни, когда он и хотел бы сказать «нет» своей чувственности, но не мог. Разница заключалась лишь в том, что при тех обстоятельствах сдаваться на милость чужому телу представлялось забавой, тогда как сейчас это превращалось в дикость.

Зазвонил телефон. Он снял трубку.

— Алло!

— Себастьян, дорогой!

На мгновение ему почудился голос Синтии Пойнз, он уже начал придумывать предлоги, чтобы вежливо отказаться от неизбежного приглашения.

— Себастьян? — повторил голос, когда никто не ответил, и, к огромному облегчению, он понял свою ошибку.

— О, это ты, Сьюзен! — воскликнул он. — Слава тебе, Господи!

— А за кого ты меня принял?

— Так, за другого человека...

— За одну из своих бывших возлюбленных, надо полагать. Которая звонит, чтобы закатить сцену ревности. — Хотя тон Сьюзен был игривым, в нем проскальзывал и саркастический упрек. — Она оказалась недостаточно красивой для тебя — я угадала?

— В самую точку, — согласился с ней Себастьян.

Хотя Синтия Пойнз была не только пассивно, от природы хороша собой, но и активно проповедовала сентиментализм, числилась среди литературных снобов и обладала печально известной слабостью к мужчинам, несмотря на это она ухитрялась оставаться образцовой молодой матерью.

— Но разве не должны мы в первую очередь поздравить друг друга с Новым годом? — спросил он, меняя интонацию.

— Для этого я и позвонила, — сказала Сьюзен.

И она продолжила, выразив надежду, что 1944 год начался для него успешно, а закончила чуть ли не молитвой, чтобы пришел долгожданный мир. А между тем все трое ее детей подхватили простуду, а у Робина даже поднялась температура. Ничего трагического, конечно, но поневоле за них тревожишься. Зато, к счастью, стала гораздо лучше себя чувствовать ее мама, а Кеннет только что сообщил о появившемся у него шансе получить перевод на службу в Англию — лучший подарок к Новому году, о каком она только смела мечтать!

Затем трубкой завладела тетя Элис и начала свой обычный гамбит:

— Как дела на литературном фронте?

— Пока отстреливаемся, — ответил Себастьян, — но могут понадобиться подкрепления.

Когда ты говорил с тетей Элис об искусстве, философии или религии, бодрость и веселый голос становились обязательными.

— Надеюсь, что ты напишешь еще одну хорошую пьесу, — прозвучала оптимистическая фраза.

— К счастью, — сказал он, — у меня осталось пока достаточно денег, заработанных на предыдущей постановке пять лет назад.

— Тогда прислушайся к совету умной женщины: не вкладывай ни пенни в акции японских компаний.

Пошутив на темы финансовых руин, оставшихся от Дальнего Востока, тетя Элис вдоволь посмеялась, а потом спросила, слышал ли он анекдот об американском капрале и архиепископе Кентерберийском.

Он слышал его не раз, но, не желая лишать ее удовольствия, попросил рассказать. И потом, когда веселая история подошла к концу, издал все полагавшиеся звуки.

— А теперь у меня снова рвет из рук трубку Сьюзен, — закончила разговор она.

Оказалось, что Сьюзен забыла спросить, помнит ли он Памелу — ту курносую девушку, ее подругу, которая еще училась в прогрессивной школе. Она сама потеряла ее следы, но случайно встретила буквально несколько недель назад. Как же она восхитительна теперь! Умная, обо всем информированная! Работает в правительственном статистическом управлении. И очень, очень привлекательная со своей пикантной своеобразной внешностью — ну, ты понимаешь, о чем речь.

Себастьян про себя улыбнулся. Очередная потенциальная жена, которых Сьюзен с присущей ей неутомимостью продолжала выискивать для него. Что ж, быть может, придет день, когда она действительно отыщет подходящую ему спутницу жизни, за что он, конечно, будет ей бесконечно благодарен. Но пока...

Памела снова приедет в Лондон на следующей неделе, продолжала Сьюзен. Они должны непременно встретиться втроем.

Когда она все ему высказала и он повесил трубку, то испытал странную смесь умильной нежности и полнейшего отчаяния, которую всегда вызывали в нем подобные разговоры. И проблему представляло не какое-то зло, с чем было бы легче совладать, напротив, ему доставляла мучения эта естественная, честная и такая редкая в людях доброта.

Он подумал о славной тетушке Элис, неутомимой труженице, вопреки постоянно скручивавшему ее ревматизму. Тащившей все на себе, даже не пытаясь играть роль (а какой выгодной была бы эта роль!) великомученицы, которая с трудом, но держится. А она выдерживала все сваливавшиеся на ее голову несчастья с безыскусной горестной простотой. Беднягу Джима убили в Малайзии. Дом со всем скарбом спалила немецкая зажигательная бомба. Девять десятых семейных сбережений пропали, когда рухнули финансовые системы Сингапура и Явы. Дядя Фред, сломавшийся от всех этих ударов судьбы, окончательно сошел с ума. Но она не заводила постоянных разговоров на эту тему, хотя не сделалась ни менее скучной, ни более сдержанной на язык. Она сохранила свои прежние, несколько старомодные, но приветливые манеры и в ответ на шутку за словом в карман не лезла. Словно решила, что если ее семейному судну суждено утонуть, оно уйдет под воду с развевающимся флагом юмора и хорошего настроения.

А еще была Сьюзен с тремя чудесно воспитанными, восхитительными малышами, с бесценными письмами, приходившими от ее мужа Кеннета, воевавшего где-то на Ближнем Востоке. И надо было слышать рассуждения Сьюзен на темы войны и мира, жизни и смерти, добра и зла, по-прежнему исходившие от нисколько не изменившейся представительницы верхнего слоя среднего класса, мировоззрение которого оставалось незыблемым, несмотря ни на что.

Мать, дочь, зять — глядя на них глазами драматурга, он мог бы легко превратить всех троих в героев потрясающе веселой комедии. Но с точки зрения моралиста они были куда как более серьезными персонажами, заслуживавшими лучшей литературной участи: смелыми и надежными, готовыми на самопожертвование так, как никогда не был готов он сам и даже не надеялся хотя бы близко стать рядом с ними. Доброта в чистых слитках без малейших примесей, ограниченная лишь в том, что ей самой не было понятно собственное предназначение и не ясна цель своего существования.

Без Сьюзен, Кеннета, тети Элис и им подобных общество попросту развалилось бы на части. А с ними оно было постоянно обречено на попытки самоубийства. Они были одновременно и опорой и динамитом, шпангоутами парусника и жучками, проедавшими древесину изнутри. Только благодаря их доброте вся общественная система еще продолжала работать без сбоев, но из-за их же доброты система в основе своей оказывалась построена на безумии. Причем безумие достигало таких масштабов, что все три очаровательных малыша Сьюзен по достижении определенного возраста просто обречены были стать пушечным мясом, танковым мясом, самолетным мясом или жертвами все новых, более совершенных мясорубок, которые разрабатывали такие же умнейшие молодые инженеры, как Кеннет.

Себастьян вздохнул и покачал головой. От всего этого существовало, разумеется, только одно лекарство, но они не желали даже попробовать принимать его.

Он поднял блокнот, состоявший из отдельных листов, который лежал на полу рядом с креслом. Пятьдесят или шестьдесят страниц разрозненных и недатированных записок, сделанных через неравномерные интервалы за последние несколько месяцев. Первый день года казался удачным моментом, чтобы просмотреть их. Он начал читать.

«Существует высшая форма утилитаризма, как и его рядовая, обыденная, „садовая“ форма.

«Ищите прежде Царство Небесное, а остальное приложится». Это классическое выражение высшего утилитаризма, а наряду с этим: «Я показываю вам печаль (мир для обыкновенных, добрых, неусовершенствованных людей) и конец печали» (мир для тех, кто достиг единенного божественного познания).

В этих лозунгах становится понятной низшая и наиболее распространенная форма утилитаризма. «Я показываю вам печаль (то есть мир, каков он сейчас) и конец печали» (мир, каким он станет, когда прогресс и еще несколько неизбежных революций и ликвидаций людей сделают свое дело). И тогда получается: «Ищите прежде остальное — проверенные временем добродетели, общественные реформы, обучающие программы по радио и новейшие научные достижения. А в свое время — в двадцать первом или в двадцать втором столетии — царствие Небесное само приложится».

Все люди рождаются равными и наделенными неотъемлемым правом на разочарование. И потому, пока они добровольно не откажутся от этого права, — троекратное ура техническому прогрессу и всеобщему среднему образованию.

Почитайте, что Эсхил пишет о Немезиде. Его Ксеркс приходит к плачевному концу по двум причинам. Во-первых, потому, что он агрессивный империалист. А во-вторых, потому, что стремится взять силы природы под свой почти полный контроль: к примеру, построить мост через Геллеспонт. Мы понимаем дьявольскую природу политических проявлений чрезмерной жажды власти, но всегда обходили вниманием зло и опасности, исходящие от ее технологических проявлений. И потому, вопреки очевидным фактам, продолжаем внушать своим школьникам, что прикладная наука не имеет негативных сторон, а всегда приносит продолжительные и все более широкие выгоды человечеству. Идея прогресса основана на том, что можно безнаказанно оставаться самонадеянным.

Разница между современной метафизикой и метафизикой прошлого заключается лишь в использовании разных терминов, которые на деле ничего не меняют ни для людей, ни для системы мышления, которая ассоциируется с претерпевающей изменения научной дисциплиной. «Не достигнув Абсолюта, Бог не может почивать на лаврах, а добившись его как поставленной цели, он потерян, и религия вместе с Ним». Это точка зрения Брэдли, то есть современное мнение. Но индуистская Шанкара столь же жестко стремилась к Абсолюту, как и Брэдли. Но при этом насколько же велика разница! Для Брэдли не существует единой формы познания Абсолюта, но возникает возможность (а в конечном счете даже необходимость) различных форм интеллектуальной интуиции, открывающих путь для освобожденного духа к цели познания. «Один из методов освобождения духа — Бхакти, или преданное служение высшему существу. Серьезные поиски человеком своей реальной сущности возможны, как считается, только через набожность. Другими словами, эта набожность может быть определена как поиски Атмана», где Атман, разумеется, есть индивидуальный духовный принцип каждого из нас, идентичный понятию Абсолюта. А вот метафизики древности не теряли в этом процессе религии; они обретали ее в чистейшей из всех возможных форм.

Самый большой недостаток любой философии состоит в ее философах. Наслаждаясь привилегией знакомства с профессором X, мы знаем, что его личные воззрения на Природу и ценность существования не могут быть истинными. А что же тогда (помилуй нас, Господи!) с нашими собственными великими воззрениями? Но, к счастью, уже в глубокой древности появились святые, умевшие писать. И мы с профессором можем беззастенчиво пользоваться трудами лучших из них.

Насколько же восхитительно легко избегать пороков, к которым у тебя не имеется естественных наклонностей! Я, например, ненавижу долго просиживать за едой, равнодушен к деликатесам и обладаю желудком, который начинает бунтовать уже после первых двух унций алкоголя. Удивительно ли после этого, что я — человек умеренный и воздержанный? А что же относительно любви к деньгам? Слишком брезгливый и самоуглубленный для того, чтобы похваляться своей состоятельностью, слишком глубоко погруженный в мир слов и понятий, чтобы интересоваться, например, недвижимостью, или первоизданиями, или любыми другими «дорогими вещами», слишком недальновидный и скептически настроенный, чтобы заниматься инвестициями, я всегда (за исключением пары лет студенческого идиотизма) довольствовался тем, что имел. А для человека, наделенного столь скромной мускулатурой, моим талантом и катастрофической способностью влипать в самые разные неприятности вплоть чуть ли не до убийства, властолюбие представляет еще меньшую проблему, чем даже алчность. Но вот в том, что касается мелких проявлений тщеславия и гордыни, где доходит до чрезмерного равнодушия к окружающим, жестокости, до отсутствия стремления к благотворительности, проявлений страха и лживости, или если говорить о чувственности...

Я помню, я помню тот дом, где j’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans[[83]](#footnote-83), где эмоции уже воспринимаются спокойно и где nessun maggior dolore che[[84]](#footnote-84) смерть при жизни, помню давно минувшие дни. И все остальное, все остальное. Потому что девять муз — дочери Мнемозины. Память же — это сама плоть и суть поэзии. А поэзия, безусловно, лучшее, что может получить человек от жизни. Однако есть еще жизнь духа, которую можно представить себе аналогом более высокого витка спирали по сравнению с обычным животным существованием. Переход из вечности, в которой обитают животные, в конкретное время, в чисто человеческий мир воспоминаний и предчувствий. А потом из времени, если таков выбор человека, переместиться в мир духовной бесконечности, то есть в Царствие Небесное. Сама же по себе жизнь духа протекает исключительно в настоящем, никогда не в прошлом или в будущем; это жизнь здесь и сейчас, а не с оглядкой на ушедшее или с попытками заглянуть в завтрашний день. В ней совершенно нет места пафосу или сожалениям, как и сладостному пережевыванию радостных моментов тридцатилетней давности. Ее четкий свет не является порождением сияний закатов, радующих сердце старых добрых деньков, как и неоновых огней тех высокотехнологичных Новых Иерусалимов, которые скрываются, неразличимые пока за горизонтами грядущих революций. Нет, жизнь духа как бы вне времени, это жизнь в соответствии с ее смыслом и основополагающим принципом. Вот почему все те люди, которые достигли истинного знания, настаивают, что воспоминания надо пережить и дать им потом умереть. И когда тебе удается умертвить воспоминания, учил Хуан де ла Крус, тебе остается лишь малый шаг к окончательному совершенству и благодати, которая заключается в слиянии с Богом. Это утверждение после первого прочтения осталось мне непонятным. Но только потому, что в то время меня в первую очередь привлекала жизнь поэзии, но не духа. Ныне же, после прохождения через унизительный опыт, мне понятно, как воспоминания могут затенить и помешать постижению Царствия Небесного. Подавление, укрощение памяти есть необходимое условие для приобретения нового знания».

«Подавление» — это слово послало его сознание в полет по касательной вниз. Вместо того чтобы думать об опасностях памяти, он предался воспоминаниям. Вспомнил Пола де Вриза в 1939 году — бедного старого Пола, который сидел, полный столь монотонного энтузиазма, столь интеллигентной чепухи в голове. Сидел, склонившись через столик маленького кафе в Вильфранше, и говорил, говорил, говорил. Темой, конечно же, было знаменитое «наведение мостов», к которой он любил возвращаться, связывая в единое целое разрозненные островки любого серьезного разговора. Это потрясающе «увлекательная» идея, настаивал он с нажимом на слове, всегда несказанно раздражавшем Себастьяна. Он рискованно оперировал весьма отвлеченными понятиями, которые призваны были ликвидировать пропасти, лежавшие между искусством, наукой, религией и моралью. Но мосты, как ни странно, он тоже собирался наводить с помощью подавления. Подавления предрассудков, наглой самоуверенности и даже здравого смысла — во имя научной объективности. Подавления стремления к обладанию собственностью или эксплуатации ради возможности созерцать уже созданную красоту или творить новую. Подавления страстей для достижения идеала рациональности и добродетели, подавления своей личности во всех ее аспектах ради освобождения, для единения с Богом. Себастьян помнил, как слушал его с достаточно острым интересом, но и несколько снисходительно, как можно слушать очень умного человека, который в чем-то остается полнейшим дурачком, тем более что именно с его женой прошлым вечером ты прелюбодействовал. Кстати, так совпало, что как раз в тот вечер Вероника переписала для него сонет Верлена:

Подруги юности и молодых желаний!

Лазурь лучистых глаз и золото волос!

Объятий аромат, благоуханье кос

И дерзость робкая пылающих лобзаний!

Только в случае с Вероникой ни о какой робости в хирургически дерзких лобзаниях не могло быть и речи, а вопреки стараниям Элизабет Арден телу уже исполнилось тридцать пять лет. Это же относилось и к «молодым желаниям». Их никогда не было, никогда. Существовало только неотразимо привлекательное, пугающее и дразнящее средство отчуждения от нее, более полного, чем он познал с другими женщинами, которых любил или которым лишь позволял любить себя. И в то же мгновение он вспомнил тогда о жене. Несмотря на все тревоги по поводу ее беременности, она показалась ему в тот момент чем-то крайне незначительным, мелким, как быстрая хрупкая птичка, — какой и была на самом деле Рэйчел. Вспомнил все обещания, которые давал ей, покидая Ле-Лаванду, чтобы погостить у де Вризов, клятвы верности, которые, как он знал, еще произнося их, будут им нарушены — хотя жена позже обо всем наверняка узнает. И разумеется, она узнала, причем гораздо раньше, чем он ожидал. Себастьян вспомнил, как она лежала на больничной койке через месяц после выкидыша, когда заражение крови уже поселилось в ней.

— Это все твоя вина, — с упреком шептала она.

И когда он в слезах упал рядом с ней на колени, она отвернулась от него. На следующее утро доктор Бюло поджидал его еще на ступенях лестницы.

— Мужайтесь, друг мой! У нас очень плохие новости по поводу вашей супруги.

Плохие новости, и виноват был лишь он один; его снедало чувство вины parmi l’odeur des corps[[85]](#footnote-85), посреди запаха йодоформа и памяти об аромате тубероз, покрывавших гроб. Гроб Рэйчел, гроб дяди Юстаса. И рядом с обеими могилами стояла Вероника, по-монашески элегантная в трауре, лишь только с маленькими фрагментами теплого и белого средства отчуждения, видными под маскировочной одеждой. А спустя всего две недели после похорон Рэйчел — снова каннибалы в бедламе...

...«Это все твоя вина». Фраза продолжала повторяться даже в моменты самых невероятных крайностей, в мгновения абсолютной несхожести, иных ощущений, как ничто другое далеких от попыток сближения с Богом. Но он продолжал, потому что все это было так подло, а он намеренно стремился вновь изведать пряное наслаждение еще одной гнусности, почувствовать на вкус отвращение, смесь чувственности с омерзением и ненавистью к себе, потому что для него это стало самой захватывающей темой, из которой родилась целая книга стихов.

Он как раз с упоением бился над одним их этих стихотворений, когда кто-то присел рядом с ним на его любимую скамейку на Променад-дез-Англе. Он в раздражении повернулся, чтобы посмотреть, кто посмел так бесцеремонно нарушить его священное уединение. Это был Бруно Ронтини, но Бруно десять лет спустя, Бруно — бывший заключенный, а теперь изгнанник с далеко зашедшей последней болезнью. Глубокий старик, согбенный и до крайности изможденный. Но на носатом черепе по-прежнему светились полные радости яркие голубые глаза, излучавшие неизменную в своей интенсивности, но чуть отстраненную нежность.

Лишившийся дара речи от страха Себастьян взялся за протянутую ему сухощавую руку скелета. Это тоже было на его совести! Но, как теперь оказалось, хуже всего остального представлялся тот факт, что за столь долгое время он всего лишь прикладывал неимоверные усилия, чтобы стереть свой позор из памяти. Началось все с поисков извинений и самооправданий. Он был всего лишь ребенком, а кто, скажите, в своей жизни смог ни разу не ляпнуть чего-то по ошибке? И ошибку он совершил просто по глупости, а не из корысти или со злым умыслом, помните об этом тоже. И ничего бы не случилось, если бы не крайне неудачное стечение обстоятельств. А Бруно, вероятно, все равно ждала тюрьма; Бруно они уже давно взяли на заметку. Эта глупость с рисунком стала лишь предлогом, ускорившим события, которые произошли бы так или иначе, рано или поздно. И никто, даже с самым воспаленным воображением не стал бы утверждать, что именно Себастьян был в ответе за все. Через два дня после ареста он уже ехал домой. Отец взял его в свой избирательный штаб, работа в котором показалась ему очень интересной. А потом наступили дни напряженной учебы, чтобы по результатам экзаменов получить стипендию, которой, к своему и всеобщему удивлению, ему удалось добиться. А когда осенью он отправился в Оксфорд, Дэйзи Окэм по секрету вручила ему чек на триста фунтов, чтобы пополнить его бюджет. И он с таким пьянящим наслаждением тратил деньги, вовсю радовался обретенной свободе, прошел через целую серию любовных приключений, что перестал даже думать о необходимости изобретать какие-то там извинения и оправдания: он напрочь обо всем забыл. Инцидент отодвинулся на окраину памяти как нечто незначительное. И вот теперь совершенно нежданно, словно из склепа забытья, явился этот старый умирающий человек с глазами, сиявшими, как у воскресшего Лазаря. Для чего? Чтобы упрекнуть, судить и приговорить?

— Эти стрелы! — сказал Бруно. — Все эти стрелы!

Но что такое с его голосом? Почему он говорит едва слышным шепотом? Страх перерос в совершеннейшую панику.

Улыбка Бруно приобрела оттенок насмешливого сочувствия.

— Кажется, они теперь летят куда следует, — прошептал он. — В заранее намеченные, легкоуязвимые цели...

Себастьян плотно закрыл глаза. Нет, сейчас ему лучше было вспомнить о маленьком домике в Вансе, который он снял для умирающего. Обставленный и отделанный в вопиюще дурном вкусе коттедж имел огромное преимущество, потому что из спальни Бруно окна выходили сразу на три стороны, а еще имелась веранда, теплая, непроницаемая для ветров, откуда можно было любоваться на лежавшие террасами поля молодой пшеницы, рощицы апельсиновых деревьев и олив, протянувшиеся вниз до самого Средиземного моря.

— Il tremolar della marina[[86]](#footnote-86), — шептал Бруно, наблюдая, как закатное солнце накрывает великолепным отсветом воду. А порой ему нравилось цитировать Леопарди:

...e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete[[87]](#footnote-87).

А потом еще и еще раз, безмолвно, и потому только по движениям губ Себастьян разбирал слова:

E in naufrager m’è dolce in questo mare[[88]](#footnote-88).

Маленькая старушка мадам Луиза готовила и делала уборку, но до последних нескольких дней, когда доктор Борели настоял на приглашении профессиональной медсестры, все остальные заботы о больном брал на себя исключительно сам Себастьян. Те пятнадцать недель, что прошли между встречей на Променад-дез-Англе и почти до смеха простыми похоронами (по настоянию Бруно, они не должны были стоить дороже двадцати фунтов), стали самым запоминающимся периодом в его жизни. Самым памятным и в каком-то смысле самым счастливым. Конечно, присутствовали и грусть, и боль, с которой он наблюдал за страданиями, не в силах никак их облегчить. Но на фоне тоски и боли постепенно исчезло гнетущее чувство вины, страх и постоянное предчувствие непоправимой утраты. И можно было видеть радостную безмятежность Бруно, а в какой-то момент даже почувствовать свою сопричастность к его знанию, которое и служило источником столь естественно выражаемого им чувства удовлетворения. К знанию своего безвременного и бесконечного присутствия, к интуиции, прямо и безошибочно подсказывавшей, что вопреки любому желанию отделиться никакое разделение не было возможно — только слияние в самой своей сути.

По мере того как рак горла прогрессировал, речь больного становилась все более и более затрудненной. Но долгое молчание на веранде или в спальне красноречиво говорило именно о том, что невозможно передать никакими словами — подтвержденную знанием реальность, которую существующий словарь, когда описывал все проявления материи во времени, выражал лишь косвенно и всегда в форме отрицания. «Ни это, ни то» — вот и все, что передавала речь. А вот молчание Бруно само стало знанием и почти триумфально кричало: «Это!» И снова радостно: «Это, это, это!»

Случались, само собой, и ситуации, когда обойтись без слов становилось совершенно невозможно, и тогда он начал писать. Сейчас Себастьян поднялся и из одного из ящиков письменного стола достал конверт, в котором хранил все мелкие клочки бумаги, на которых Бруно карандашом излагал свои редкие просьбы, ответы на вопросы, комментарии и советы. Снова усевшись в кресло, Себастьян принялся в произвольном порядке перечитывать их.

«Не слишком ли я вас обеспокою просьбой поставить на стол букет фрезий?»

Себастьян улыбнулся, вспомнив, сколько удовольствия доставили старику цветы.

«Не переживайте, — увещевала следующая записка. — Всплеск чересчур бурных эмоций — это всего лишь проявление темперамента. Бога же можно любить без всяких внешних чувств — одной лишь внутренней волей. И так его может любить любой из нас. Хотя бы ваш сосед».

А к этому листку Себастьян скрепкой подцепил еще одно краткое послание на ту же тему. «Не существует никаких секретных формул или методов. Вы учитесь любить в процессе любви — постоянно обращая внимание и делая то, что, как вы заметите, необходимо сделать».

Он взял следующий бумажный квадратик.

«Сожаление — это эрзац, которым гордость пытается подменить раскаяние, эгоистический предлог не принимать Божьего прощения. Непременное условие для того, чтобы получить такое прощение, — это самозабвенность. Гордый человек предпочитает сам осыпать себя упреками, потому что упрекаемая личность не забывает о себе; она остается неизменной».

Себастьян стал размышлять о контексте, в котором эти слова были написаны — о своем пристрастии к самобичеванию, о своем почти истерическом стремлении совершить некий драматический акт искупления за содеянное, расплаты за вину перед Бруно, который умирал, перед отчаявшейся и озлобленной Рэйчел, уже умершей. Если бы он только мог подвергнуть себя какой-то нестерпимой боли или унижению, если бы оказался способен на свершение героического подвига! Он ожидал встретить в этом понимание и поддержку. Но Бруно лишь посмотрел на него несколько секунд оценивающе, а потом с неожиданным проблеском лукавства в глазах прошептал: «Вы не Жанна д’Арк, знаете ли. И не Флоренс Найтингейл». А потом, протянув руку за карандашом и блокнотом, принялся писать. Себастьяну запомнилось, что непосредственно в тот момент записка буквально шокировала его своим спокойным тоном и, как ему показалось, чуть ли не циничным реализмом. «Вы в подобной роли окажетесь совершенно бессмысленны и неэффективны, понапрасну растратите свой талант, а ваш героический альтруизм наделает немало бед, потому что в результате вам все так наскучит, начнет вызывать такое отвращение, что для вас сделается невыносимой сама по себе мысль о Боге. А кроме того, вы будете выглядеть таким благородным и взывающим к сочувствию, что, в придачу к вашим внешним данным, заставит весь окружающий слабый пол влюбиться в вас. То есть не пятьдесят процентов, как сейчас, а всех без исключения. Они пойдут за вами как матери, любовницы, сподвижницы, ученицы — до единой. А вам не хватит сил противиться этому, или я не прав?» Себастьян пытался возражать, говорил что-то о необходимости самопожертвования. «Существует только одна форма реального покаянного самопожертвования, — получил он ответ. — И это пожертвование собственной воли, чтобы дать место познанию Бога». А потом, чуть позже, на отдельном листке: «Не пытайтесь играть чужую роль. Найдите возможность отказаться от собственной внутренней сущности во имя Бога, сохраняя свою внешнюю видимую сущность неизменной для окружающего мира».

Сбитый с толку и несколько разочарованный, Себастьян поднял взгляд и увидел, что Бруно снова улыбается, глядя на него.

— Вам кажется, это слишком просто? — донесся шепот. Затем снова в ход пошел карандаш.

Себастьян просмотрел разрозненные обрывки из блокнота. Вот то, что написал карандаш тогда.

«Вершить чудеса в моменты кризисов — намного легче, чем бескорыстно любить Бога каждый момент каждого дня! Собственно, из-за этого и возникает большинство кризисов — потому что людям так трудно правильно вести себя в обычное время».

Читая с трудом нацарапанные записки, Себастьян внезапно понял всю огромность поставленной перед ним задачи. А ведь скоро, очень скоро Бруно не окажется рядом, чтобы помочь ему.

— Мне никогда не справиться с этим одному! — воскликнул он.

Но больной старик оставался непреклонен.

«Этого не сможет сделать никто другой, — писал его карандаш. — Другие люди не могут дать тебе возможность смотреть своими глазами. В лучшем случае они поддержат тебя, чтобы ты использовал собственное зрение».

Потом ему пришла еще одна мысль, и он записал ее на другом листке. «Но, конечно же, как только ты научишься пользоваться своими глазами, то увидишь, что вопрос о том, чтобы остаться в одиночестве, даже не стоит. Никто не одинок, если только он сам не хочет этого».

И словно для того, чтобы наглядно проиллюстрировать свою точку зрения, он положил карандаш и посмотрел за окно на залитый солнцем пейзаж и море. Его губы зашевелились.

— «Кукуруза востока и бессмертье пшеницы... Essa è quel mare al qual tutto si move... E in naufrager m’è dolce... Как обломки судна, пошедшего ко дну в том море...»

Он сомкнул веки. Но через одну или две минуты снова открыл глаза, посмотрел на Себастьяна с улыбкой, исполненной безграничной нежности, и протянул свою костлявую руку. Себастьян ухватил и пожал ее. Больной смотрел на него с той же улыбкой еще недолго, а потом опять закрыл глаза. Наступило продолжительное молчание. И внезапно из кухни донесся тоненький, как птичий писк, голосок мадам Луизы, напевавшей свой любимый вальс сорокалетней давности: «Lorsque tout est fini»[[89]](#footnote-89)

На изможденном лице Бруно отобразилось изумление.

— Кончено, — прошептал он, — но разве кончено?

И его вновь открытые глаза светились внутренним смехом.

— Ведь все только начинается!

Очень долго Себастьян сидел совершенно неподвижно, потому что, увы, но воспоминание о знании, которое он обрел в тот день, сильно отличалось от самого знания. И в конце концов, возможно, даже память следовало в себе подавить. Он глубоко вздохнул и вернулся к чтению своих записей.

«Вина за войну — вина за Лондон и Гамбург, за Ковентри, Роттердам, Берлин. Верно, ты не был политиком или финансистом, и тебе повезло не родиться в Германии. Но в менее явной степени, хотя в более фундаментальном смысле на тебе лежала вина в том, что ты упрямо хотел всего лишь оставаться только самим собой, довольствовался состоянием духовного эмбриона, недоразвитого, нерожденного, ничего не ведающего. По крайней мере, частично я сам виноват в полученном увечье, и на руке, которой больше нет, осталась кровь и маслянистый почерневший срез обугленной плоти.

Просмотри любую иллюстрированную газету или журнал. Новости (причем только дурные и никогда — хорошие новости) чередуются в них с фикцией, фотографии военной техники, трупов, руин соседствуют со снимками полуобнаженных женщин. Фарисейски я думал когда-то, что эти вещи соседствуют случайно, что между ними нет никакой прямой связи. Как и я сам — личность чувственная, чистый эстет — не мог нести никакой ответственности за происходившее в мире. Но привычка к чувственности и эстетизму в чистом виде — это процесс изоляции себя от Бога. Предаваться им значит накрываться своего рода духовным плащом, защищая маленький промежуток времени, в центре которого находишься ты сам, от капель ливня вечной реальности. Но единственная надежда для реального мира состоит в том, чтобы постоянно и насквозь пропитываться тем, что лежит по ту сторону времени. Изолируя себя от Бога, мы исключаем из своего окружения единственную силу, способную нейтрализовать разрушительную энергию амбиций, алчности и жажды обладания властью. Наша ответственность, быть может, не так бросается в глаза, но она ничуть не меньше и столь же ощутима.

Дождь кончился. На паутине неподвижно висят бусинки капель. Над верхушками деревьев закрытым покровом натянуто небо, а эти поля простерлись вдаль символами полнейшего смирения и покорности.

Невидимый среди живой изгороди крошечный вьюрок периодически выдает свои трескучие трели. С мокрых ветвей над головой падают и падают капли, выбивая непредсказуемый ритм совершенно чуждой музыки. Но осеннюю тишину, кажется, ничто не способно нарушить: ни грохот проезжающего мимо грузовика, ни нарастающий до невероятной громкости, чтобы потом постепенно затихнуть, рев двигателя самолета, даже мои воспоминания о тех взрывах и долгих ночах метаний в боли становятся не стоящими воспоминаний или особого внимания — забудь, и все. Поверхность земной сферы гремит и клацает металлом! Но здесь, в ее стеклянном центре, из травы возвышаются грабы, растет ежевика и застыли в ожидании падубы. И между своими бессмысленными маленькими и трескучими декларациями независимости даже вьюрок по временам замолкает, вслушиваясь в эту тишину внутри тишины; склоняет головку набок и на пару секунд тоже осознает себя, дожидаясь в сумрачном сплетении веток освобождения, к которому он, быть может, вовсе не стремится. Но мы-то, мы можем прийти к этой свободе по собственному выбору, совершенно осознанно. А мы совершенно забываем, что нам есть чего ждать».

Какие-то из воспоминаний о том счастье, которое он испытывал, долго просиживая в одиночестве под деревьями, осыпавшими его каплями прошедшего дождя, сейчас вернулись к нему. Разумеется, этого оказывалось мало, чтобы почувствовать смысл пейзажей и кипевшей вокруг жизни. Для этого в помощь Вордсворту надо было призвать Данте и к Данте прибавить... А что? Да, кого-то вроде Бруно. Но если ты не творил себе кумира из отдельных проявлений общего принципа, если избегал духовной жадности и понимал, что эти буколические экстазы служили лишь приглашениями двигаться дальше к чему-то другому, тогда, конечно, ты имел право бродить, как одинокое облако по небу, и даже поверять сей факт бумаге. Он снова принялся за чтение.

«К величайшему изумлению гуманистов и сторонников либеральных верований, упразднение Бога оставило после себя ощутимую пустоту. Однако природа вакуума не терпит. Национализм, классовость и партийность, культура и искусство дружно хлынули в опустевшую нишу. Для политиков и тех из нас, кто был рожден с каким-либо талантом, новые псевдорелигии стали, продолжают оставаться и (пока они не уничтожат всю структуру общества) пребудут весьма ценными суевериями. Но присмотритесь к ним беспристрастно, sub specie aeternitatis[[90]](#footnote-90). До чего это глупо, странно и похоже на порождение Сатаны!

Сплетни, пустые фантазии, полная сосредоточенность на своих настроениях и чувствах — все это фатально для жизни духа. Но ведь, помимо прочего, любая, самая лучшая пьеса или рассказ не являют ли собой рафинированную форму сплетни или утонченную фантазию? А лирическая поэзия? Все эти «Ох!», «Ах!», или «Ням-ням», или «Черт возьми!», или «Любимая!», или «Я — полная свинья!» (в соответствующей стилистической обработке, естественно, и выраженное по-своему).

Вот почему некоторые целиком сосредоточенные на Боге святые предавали анафеме все формы искусства до единой. И не только искусства, но и науки, учености, мудрствования. Вспомните хотя бы Фому Аквинского. Изысканный виртуоз философской мысли, но стоило ему прийти к познанию первичного факта, по поводу которого он столь долго закручивал свои теории, и он отказался написать еще хотя бы строчку на тему богословия. А что, если бы он пришел к пониманию на двадцать лет раньше? Не было бы тогда знаменитых «Сумм»? Допустим, что не было бы. Стоило бы нам сожалеть об этом? Нисколько — решительно ответили бы мы на этот вопрос еще несколько лет назад. Но сейчас некоторые физики уже начали сомневаться, а так ли уж хороша философская система Аристотеля, когда понадобилось придать организованный вид некоторым из последних научных открытий. (Хотя тем временем, конечно же, современная наука в руках современных людей занимается, главным образом, разрушением не только вещей и жизней, но и самих структурных основ цивилизации — и перед нами вследствие этого возникают все новые и новые вопросы.)

Для художника или интеллектуала, который одновременно интересуется реальностью и хочет добиться освобождения, единственным путем остается хождение по острию ножа.

Ему необходимо помнить, во-первых, что все созданное им как творцом или мыслителем не приведет его к познанию Царствия Небесного, пусть даже его работы непосредственно направлены на получение этого познания. Напротив, все подобные труды только отвлекут его в сторону от цели. Во-вторых, что талант являет собой аналог искусства целителя или способности к чудесам. Но вот только «всего одна унция истинной божественной милости стоит стократ дороже тех благодатей, которые теологи величают „ниспосланными людям свыше дарами“, среди которых и дар вершить чудеса. Ведь возможно получить такой случайный дар, оставаясь при этом погрязшим во всех смертных грехах. И талант не обязательно приведет к спасению. Обычно от таких даров больше пользы соседям, чем самим их носителям». Но к этому Франсуа де Саль мог бы добавить, что чудеса такого рода отнюдь не обязательно укрепляют Веру. Как не делают этого самые изысканные произведения искусства. В обоих случаях укрепление Веры остается лишь вопросом случайности.

Третье, о чем необходимо помнить. Красота изначально созидательна, а сплетне, фантазии и простому желанию самовыражения присуще разрушительное начало. В большинстве произведений искусства эти позитивные и негативные элементы перечеркивают друг друга. Но в редких случаях анекдотический рассказ или фантазия строятся на основополагающем принципе и подаются таким образом, что сочетание составляющих их элементов складывается в новую, не имеющую прецедентов форму красоты. Когда происходит нечто подобное, возможность укрепления веры реализуется в полном объеме, а ниспосланный свыше талант находит оправдание своему существованию. Справедливо, конечно, и то, что подобное произведение может родиться совершенно произвольно в процессе написания, например, джазовой музыки или рекламного текста. В то время как сознательные усилия писать о Боге зачастую совершенно лишены божественного присутствия. И чтобы не забывать три этих постулата, есть только один способ — постоянно напоминать себе о них».

Что ж, теперь нельзя сказать, что ты не предупредил об этом сам себя, подумал Себастьян, переворачивая страницу. «Минимально необходимые рабочие гипотезы» — так была озаглавлена его следующая записка.

«Исследование материальной реальности средствами направленной чувственной интуиции — исследование, мотивированное и руководимое некой рабочей гипотезой, которое приводит к логическим результатам и позволяет сформулировать рациональную теорию, ведущую к новому витку развития технологий. Вот что такое естественные науки.

Полное отсутствие рабочей гипотезы означает, что не возникает мотива для начала исследования, нет причины ставить эксперименты того или иного рода, как не может возникнуть и рациональной теории на основе анализа и систематизации наблюдаемых фактов.

Напротив, слишком обширная рабочая гипотеза приведет лишь к тому, что уже известно, становясь догмой и исключая другие возможные варианты.

Помимо прочего, религия также является областью исследований. Но проводимых с помощью чисто интеллектуальных, интуитивных методов на несуществующих физически материалах, в чисто духовной сфере реальности и приводящих в результате к созданию рациональных теорий с последующими моральными актами, вытекающими из новой теории.

Чтобы дать толчок, стать мотивом и (на первоначальном этапе) задать направление такому исследованию, какой объем рабочей гипотезы нам потребуется?

Никакого, скажет сентиментальный гуманист; всего пара строк из Вордсворта, ответят юные поэтические натуры. Результат: эти люди на самом деле не имеют никакого мотива для более вдумчивого отношения к исследованию фактов, которые им то и дело встречаются на жизненном пути; такие бесполезны для прогресса теологии.

На другой чаше весов мы имеем папистов, иудеев, мусульман, в распоряжении которых глубоко исторически укоренившиеся и стопроцентно открытые религиозные верования. У этих людей не может быть недостатка в рабочих гипотезах по поводу нематериальной реальности, а это значит, что у них всегда присутствуют мотивы для продолжения работы и приобретения новых познаний. Но поскольку такие рабочие гипотезы слишком скованы догматическими традициями, большинство их ученых богословов лишь подтверждают своими трудами выводы, которые всем заранее известны и приняты как каноны веры. Однако их верования представляют собой смесь из хорошего, менее хорошего и даже плохого. Сохранившиеся записи, которые повествуют о потрясающей интуиции великих святых, проникавших в высшие сферы духовной реальности, соседствуют с хрониками о менее достоверных и бесконечно менее ценных интуитивных исследованиях людей, якобы обладавших паранормальными способностями, на более низких уровнях неощутимого существования. Данные последних неизбежно обрастали всевозможными домыслами, спорными выводами и сентиментальными чувствами, но все равно почитались пусть и второстепенными, но заслуживающими внимания проявлениями божественной сущности. Однако во все времена вопреки путам догматизма, которые накладывали на них избыточные рабочие гипотезы, горстка страстных и упорных богословов продолжала свои исследования, добираясь до той точки, в которой им открывался Свет Истины и где они находили единение с Царствием Небесным.

Для тех же из нас, кто не имеет удовольствия принадлежать к одному из устоявшихся религиозных верований, кто разочаровался в гуманистической и поэтической составляющей религии, кого не устраивает мрак духовного невежества, склонность к пороку или же, наоборот, чрезмерной добродетели, минимальными рабочими гипотезами могли бы стать следующие.

Существует Божественная Сущность, или Царствие Небесное, наличие которого является незримой основой религии во всех ее проявлениях.

Царствие трансцендентально и имманентно.

У каждого человеческого существа есть возможность возлюбить, познать и, в конечном счете, полностью идентифицировать себя с Царствием.

Достижение этого объединительного познания, осуществление подобного высшего слияния на практике и есть смысл человеческого бытия.

Чем больше и обширнее место, которое занимают понятия «Я, Мое, Мне», тем меньше остается духовной территории для Царствия; соответственно и для дао, пути самоуничижения и сострадания Тао, и законов Дхармы по подавлению своих низменных желаний и подготовке к переходу в лучший мир. О чем свидетельствует, конечно же, вся история человечества. Люди всегда нежили свой эгоизм, не желали подавлять его, не понимали, почему им нельзя «наслаждаться свободой самовыражения“ и вообще „хорошо проводить время“. И они хорошо его проводили, вот только при этом они неизбежно вовлекались в междоусобные войны, заражались сифилисом, устраивали революции, погибали от алкоголизма, становились жертвами тиранов. В отсутствие адекватной религиозной гипотезы у них оставался выбор лишь между какой-то из форм безумия вроде национализма и осознанием своего полнейшего ничтожества и отчаяния. Невыразимые страдания! И тем не менее на протяжении всей своей истории, зафиксированной в письменных источниках, подавляющее большинство мужчин и женщин предпочитали риск и даже вполне очевидную неизбежность таких катастроф напряженной и каждодневной работе в попытках познать Царствие Небесное, открытое для всех живущих. Так что мы в массе своей всегда получали то, чего и заслуживали».

Пока не так уж плохо, отметил Себастьян. Но на будущий год он ставил себе расширенную задачу добавить в текст необходимые дополнения и примечания. Например, рассмотреть Царствие Небесное в его самых высоких проявлениях; отношения между божественной сущностью и личным Богом или Аватаром в человеческом облике и освобожденными святыми. А потом существовали два метода религиозности, которые следовало описать: прямой путь познания Царствия и поэтапный — восхождение через целую иерархию материальных и духовных проявлений, при котором всегда существовала опасность где-то в пути застрять. И кстати, где те заметки, которые он сделал по поводу прощальной речи Хотспера?[[91]](#footnote-91) Он пролистал страницы и нашел нужное место.

«Если ты высказываешь абсолютно все, то слова теряют свое значение. Вот почему никакой четкой философии невозможно вывести из Шекспира напрямую. Но в метафизическом смысле как система красота — истина, которая выражена в поэтической взаимосвязи между сценами и строфами, разлита в белых пространствах между такими даже словами, как „история, рассказанная идиотом и ничего не значащая“ („Макбет»), его пьесы встают в один ряд с великими теологическими «Суммами». И конечно, при том условии, что вы сумеете не обратить внимание на негативизмы, которые перечеркивают их смысл, сколько у него отдельных фраз, исполненных необычайной мудрости! Я, например, не перестаю думать о двух с половиной строках, в которых умирающий Хотспер вскользь суммирует гносеологию, этику и метафизику.

Но мысль — рабыня жизни, жизнь — забава

Для времени, а время — мира страж —

Должно найти когда-нибудь конец.

Три важные мысли, из которых в двадцатом веке обращают внимание только на первую. Порабощение мысли жизнью стало одной из популярнейших тем. Бергсон и прагматики, Адлер и Фрейд, мальчики из школы диалектического материализма и бихевиористы — кто только не предавался многословным рассуждениям на этот счет. Мозг — не более чем инструмент для создания других инструментов, контролируемый силами подсознания: либо сексуальностью, либо агрессивностью. Продукт общественного и экономического давления; сплетение заранее заложенных в него рефлексов.

Все справедливо до этой точки, но ложно, если отсюда не следовать далее. Поскольку очевидно, что если мозг есть «не более чем», то само это утверждение не может претендовать на истинность. Тем не менее все сторонники теории «не более чем» за него цепляются. Но они не могут быть правы; потому что если бы они были правы, то тем самым доказывали бы ошибочность своего утверждения. Мысль — рабыня жизни, — безусловно. Но если бы она не была и чем-то еще, мы не смогли бы прийти даже к этому частично верному обобщению.

Значение второй мысли, главным образом, чисто практическое. «Жизнь — забава для времени». Именно быстротекущее время разрушает все задуманные жизненные планы и схемы. Всякое продуманное наперед действие не давало ничего либо давало слишком много, но никогда — в точности того, чего от него ожидали. За исключением действий, проходивших в полностью контролируемых условиях или при обстоятельствах, где можно пренебречь отдельными личностями и оперировать только огромными цифрами или законами средних величин, где никакой точный прогноз попросту невозможен. Во всех реальных ситуациях, как правило, присутствует больше переменных факторов, чем человеческий разум способен принять в расчет и изменить их характер в нужную для себя сторону. Конкретные подтверждения этому всем хорошо знакомы и очевидны. Но несмотря ни на что, единственной верой, объединяющей большинство европейцев и американцев двадцатого века, остается вера в Будущее — в огромное и светлое будущее, которое, как они точно знают, принесет им прогресс. Достанет его, как фокусник кролика из шляпы. И во имя того, что вера нашептывает им по поводу грядущего времени, вопреки доводам разума, который говорит, что оно совершенно непредсказуемо, они готовы пожертвовать своей единственной ощутимой собственностью — настоящим.

С тех пор как я родился тридцать два года назад, около пятидесяти миллионов европейцев и только Бог знает сколько американцев были уничтожены во время войн и революций. Ради чего? Чтобы прапраправнуки тех, кто сейчас погибает или умирает с голоду, могли жить в восхитительных условиях в 2043 году от Рождества Христова. И в зависимости от своих вкусов и политических пристрастий (выбирая уэллсовскую, марксистскую, капиталистическую или фашистскую модель) мы совершенно серьезно воображаем себе, как чудно будут проводить время эти счастливчики. Точно так же, как наши викторианские прапрапрадеды воображали, какой прекрасной станет жизнь для нас, поколения середины двадцатого столетия.

Подлинная религия всегда мыслит категориями вечности. Только идолопоклонники подменяют вечность фактором времени — либо в форме обожествления прошлого, закоснелых традиций, либо в виде будущего, то есть прогресса в сторону утопии. Но в обоих случаях общим является поклонение Молоху, в обоих случаях требуются человеческие жертвоприношения в огромных масштабах. Испанский католицизм в прошлом мог служить типичным образцом идолопоклонства. Национализм, коммунизм, фашизм — все это общественные формы псевдорелигий двадцатого века, для которых кумиром стало будущее время.

Каковыми стали последствия нашего недавнего смещения акцентов от прошлого к будущему? Интеллектуальный прогресс от райского сада в Эдеме к утопии. Моральное и политическое движение от обязательной ортодоксии и божественного происхождения власти королей к всеобщей воинской повинности и безгрешности всякого начальства, когда объектом поклонения стало государство. Прошлое это или будущее, но из времени нельзя сотворить себе кумира безнаказанно.

Но в словах Хотспера есть заключительный пункт: время должно найти когда-нибудь конец. И не просто должно как этический императив и эсхатологическая надежда, но оно порой действительно как будто останавливается, что становится самым жестоким опытом для человечества. И только приняв в расчет фактор вечности, мы сможем освободить мысль из рабства времени. Только намеренно сосредоточив наше внимание и всецело предавшись вере в вечность, мы не позволим неумолимому времени превратить наши жизни в череду бессмысленных или даже дьявольских глупостей. Царствие Небесное — это реальность вне времени. Обретите его сначала, а все остальное — все, включая адекватное понимание смысла жизни и освобождение от неизбежности самоуничтожения, — приложится. Или, если перевести тему из евангельского в шекспировский ключ, вы можете сказать: «Положи конец своему неведению того, в чем ты должен быть на самом деле непреклонно убежден, в своей прозрачной и хрупкой сущности, и ты перестанешь уподобляться обозленной человекообразной обезьяне, которая вытворяет на глазах Высоких Небес такие чудовищные вещи, что даже ангелы не в силах сдержать рыданий».

«Постскриптум к тому, что я написал вчера. В политике мы обладаем столь твердой верой в совершенно неясное будущее, что готовы пожертвовать миллионами жизней ради не более чем видения курильщика опиума в виде утопии или мирового господства или навсегда достигнутой безопасности. Однако в том, что касается природных ресурсов, мы готовы отказаться от гораздо более предсказуемого будущего во имя сиюминутной выгоды. Нам известно, например, что если чрезмерно эксплуатировать участок земли, он потеряет плодоносность. А потому мы безжалостно вырубаем под новые поля лес, чтобы нашим детям не хватало древесины и они видели, как их горы подвергаются эрозии, а в долинах все сметают потоки наводнений. Тем не менее мы продолжаем и насиловать землю, и уничтожать леса. Словом, мы готовы пожертвовать настоящим во имя будущего там, где речь идет о сложных вопросах, стоящих перед человечеством, где предвидение результатов невозможно. Но в том, что касается относительно простых проблем природопользования, когда нам достаточно хорошо ясно, что именно произойдет, мы жертвуем будущим ради дня сегодняшнего. „Кого боги хотят погубить, они сначала лишают разума“.

Четыре с половиной столетия белые европейцы нещадно уничтожали, подавляли и эксплуатировали труд «цветного» населения из других частей света. Начали это католики из Испании и Португалии, потом подключились голландские и английские протестанты, католики-французы, православные русские, германские лютеране, опять-таки католики из Бельгии. Коммерция и слава Флага всегда и повсеместно сопровождались крестом прозелитизма.

Но у жертв хорошая память. Факт, который никак не в силах усвоить угнетатели. В своем великодушии такой колонизатор уже забыл, как чуть не вывихнул лодыжку, наступив на лицо раба, и теперь искренне удивляется, когда тот не желает пожимать руку, еще недавно бичевавшую его, и не проявляет рвения, получив предложение принять крещение.

Но есть и другой непреложный факт. Общность основ теологии — это одно из абсолютно необходимых условий сохранения мира. По очевидным, хотя и печально известным историческим причинам подавляющее большинство азиатов никогда не обратятся в христианство. Как нельзя ожидать, чтобы европейцы или американцы сумели переварить брахманизм или, скажем, буддизм. «Минимально необходимые рабочие гипотезы» могут служить великим объединяющим фактором.

Три телеграфных столба лежат в прострации на участке, заросшем высокой травой, под моим окном в гостинице. Лежат под разными углами друг к другу, спиленные и укороченные, но всем своим видом словно страстно желающие доказать существование третьего измерения (внезапно сделавшееся невыразимо таинственным). Слева как раз постепенно восходит солнце. И каждый столб отбрасывает свою тень в три или четыре фута шириной, а старая колея, оставленная в траве колесами грузовиков, почти незаметная днем, пролегает вдруг, как наполненный глубокой синей тенью каньон. Если рассматривать все это как просто «вид», то мало что может показаться менее выразительным, но в то же время, по какой-то странной причине, он содержит в себе всю красоту, все значение и весь глубочайший смысл поэзии.

Человек индустриальной эпохи — наделенный сознанием механизм с заранее определенной производительностью труда и соединенный со стальным маховиком, который вращается с постоянной скоростью. И после этого мы еще удивляемся, почему наступил Золотой век всевозможных революций и брожения в умах.

Демократия — это когда ты можешь сказать «нет“ своему боссу. Но ты не можешь сказать „нет“ боссу, если не имеешь средств к существованию, когда босс лишит тебя своего покровительства. Ни о какой демократии и речи быть не может там...»

Себастьян пролистал пару страниц. А затем его взгляд задержался на первых словах заметки, датированной: «Канун Рождества».

«Сегодня удалось почти без особых усилий добиться молчания — молчания интеллекта, молчания воли, молчания даже самых потаенных и подсознательных желаний. А потом — переход сквозь все эти молчания в интенсивно активное спокойствие живого и вечного молчания.

Или, возможно, я мог бы использовать другой набор неадекватных слов и сказать, что достиг сплава гармоничных интервалов, которые создают и являют собой красоту. Однако в то время, как отдельные проявления красоты — в искусстве, в мысли, в действии, в природе — всегда возникают из взаимосвязи элементов, которые сами по себе внутренне некрасивы, это был опыт непосредственной вовлеченности, прямого участия в парадоксе такой взаимосвязи, вне зависимости от ее составляющих. Прямой опыт познания чистоты интервала и принципа гармонии независимо от конкретных вещей, которые в то или иное мгновение подвергались разделению или гармонизации. И невероятным, непостижимым образом это чувство вовлеченности сохранилось во мне до сих пор, когда я пишу эти строки. Сохранилось вопреки инфернальному грохоту пушек, вопреки моим воспоминаниям, страхам и беспокойствам. Если бы только оно могло остаться со мной навсегда...»

Но благодать вновь исчезла, и в последние дни... Себастьян горестно помотал головой. Пыль и зола, обезьяньи дьяволы, безумная, не знающая святости отвлеченность. А поскольку истинное знание, подлинное знание, простирающееся дальше любых теорий и книжной учености, всегда состояло в полном слиянии с познанным, его никак невозможно было передать или выразить — даже самому себе, когда ты возвращался к прежнему невежеству. Лучшее, на что ты смел надеяться, используя словесную форму, — это навсегда запомнить возможность такого интуитивного познания и попытаться создать другим условия для приобретения сходного опыта и понимания. Себастьян снова открыл свою книгу.

«Провел вечер, слушая, как люди обсуждали будущую организацию мирового сообщества. Боже, спаси и смилуйся над всеми нами! Неужели они забыли, что Актон говорил о власти? „Власть развращает людей, абсолютная власть развращает абсолютно. Все великие люди были негодяями“. И он мог бы добавить к этому, что все великие нации, все великие правящие классы, все, именовавшие себя великими, религиозные или профессиональные объединения людей были злом. И зло от них находилось в прямой пропорции с масштабами власти, которой они пользовались.

Прошлое условно делится на эпохи Шекспира, Вольтера, Диккенса. Мы же обитаем в эпоху, в которой главенствует не поэт, писатель или мыслитель, а документ. Типичный представитель нашей эры — разъездной корреспондент газеты, который в промежутках между редакционными заданиями успевает накропать бестселлер. «Факты говорят сами за себя». Иллюзия! Факты похожи на куклу чревовещателя. Посаженная на колено умному человеку, она может оказаться способна изречь какие-то мудрые слова. Во всех остальных случаях она либо молчит, либо городит чепуху, либо вещает нечто сатанинское.

Нужно еще раз посмотреть, что Спиноза пишет о сострадании. Если не ошибаюсь, он считает его внутренне нежелательным, поскольку оно есть проявление страсти, но в относительном смысле допустимым, поскольку оно приносит больше пользы, чем вреда. Я думал об этом вчера почти все время, пока находился в обществе Дэйзи Окэм. Дорогая моя Дэйзи! Ее страсть к жалости и состраданию подвигает ее на всевозможные добрые дела и красивые поступки; но в силу того, что это все-таки страсть, она порой затуманивает ее разум, принуждает совершать глупейшие и порой очень неприятные ошибки, абсурдно искажая ее мировоззрение, делая его излишне сентиментальным и фундаментально ложным. Она, например, любит разговоры о том, как меняются в лучшую сторону и облагораживаются люди, претерпевшие страдания. Но ведь совершенно очевидно, если ты не ослеплен страстью к жалости, что это неправда. Страдание действительно может и часто приводит к своего рода эмоциональному подъему и временной вспышке отваги, терпимости и терпения, даже к альтруизму. Но если давление страдания становится слишком продолжительным, человек, наоборот, ломается под ним, становится апатичным, впадает в отчаяние и воинствующий эгоизм. Но стоит давлению исчезнуть, наступает немедленное возвращение к усредненной норме. Быть может, на короткое время в человеке зарождается ощущение любви ко всем ближним, но что касается истинной трансформации и улучшения характера личности — то это происходит лишь в исключительных случаях. Большинство моих знакомых вернулись с войны нисколько не изменившимися; некоторые стали заметно хуже, чем прежде; и лишь единицы — мужчины с адекватными философскими воззрениями и готовностью вести себя соответственно — сделались лучше. Но Дэйзи так полна сочувствия к ним, что уверена, будто все они стали лучше. Я коротко рассказал ей о бедняге Денисе К. и о том, чем обернулись страдания для него — пьянством, грубостью, презрением к элементарной порядочности и честности, абсолютным цинизмом.

Буддистские авторы проводят границу между состраданием и великим состраданием. Они различают жалость в ее примитивном, инстинктивном виде как не более чем временное эмоциональное расстройство; и жалость, основанную на принципе, на просвещенном понимании природы нашего мира, осознании причин возникновения страдания и в таком случае — целительную. Действие зависит от мысли, а мысль, по большому счету, зависит от запаса слов, которым мы располагаем. Основанный на жаргонах экономистов, психологов и сентиментальных религиозных деятелей словарь, к которому мы прибегаем в процессе мышления сегодня, наверное, наихудший из...»

Внезапно раздался звонок в дверь. Себастьян вздрогнул и поднял голову. Кого могло принести в такой поздний час? Вероятно, Дениса Кэмлина. И вероятно, снова в основательном подпитии. Что, если не открывать? Нет, это будет уж очень немилосердно. Бедный парнишка находил в его обществе хотя бы некоторое утешение. «Все это правда, — любил говорить он. — Я знал, что все окажется правдой. Но если человеку самому угодно уничтожить себя, то кто вправе ему помешать?» Потом в его тоне начнет звучать язвительная агрессивность, а слова станут омерзительными и богохульными. Но пройдет несколько дней, и он снова вернется.

Себастьян встал, вышел в прихожую и открыл дверь. В темноте за порогом стоял его отец. Он не смог сдержать возгласа удивления:

— Но почему ты не по другую сторону Атлантики?

— В этом вся прелесть путешествий во время войны, — ответил Джон Барнак с намеренно равнодушной интонацией, какую словно специально приберегал для встреч и проводов. — Никакой волокиты с бронированием билетов, отправкой предварительных телеграмм. Между прочим, смогу я у тебя переночевать?

— Разумеется, — ответил Себастьян.

— Только если я не причиню тебе слишком больших неудобств, — продолжал отец, поставив на пол чемодан и начиная расстегивать плащ. — Просто подумал, что удобнее будет открыть свой собственный дом в дневное время.

Затем он быстро перешел в гостиную, уселся и, даже не спросив Себастьяна, как у него дела, не поделившись никакими новостями о себе, принялся рассказывать о поездке по Канаде и Штатам. Потрясающий сдвиг влево в доминионе[[92]](#footnote-92) — поразительный контраст с тем, что происходит по другую сторону границы. Но вот сумеют ли республиканцы победить на выборах, это еще вопрос. Впрочем, какая бы партия ни победила и кто бы ни стал следующим президентом, будущую политику США будут диктовать самые простые реалии. Кто бы ни въехал в Белый дом, станет больше повсеместного правительственного контроля, повысится централизация власти, чтобы справиться с послевоенным хаосом, продолжится рост налогов...

Себастьян жестикулировал и издавал звуки, чтобы подчеркнуть свое повышенное внимание к теме, хотя по-настоящему его заботил только оратор, а не его речь. Каким же усталым выглядел отец, каким постаревшим! Четыре года трудов на войне — на родине, в Индии, а потом снова в Англии — измотали, истощили его силы. А теперь еще эти два месяца зимнего турне с ежедневным чтением лекций, участием в конференциях, казалось, довершили давно начавшийся процесс. За очень короткий срок Джон Барнак совершил переход от мужественной и полной сил зрелости к началу старости. Но естественно, подумал Себастьян, его отец слишком горд, чтобы признать даже очевидный факт, обладает слишком мощными волей и упрямством, чтобы пойти хотя бы на малейшие уступки своему уставшему и одряхлевшему телу. Аскет аскетизма ради, он будет продолжать бессмысленно загонять сам себя, пока не наступит полнейший коллапс.

— ...Законченный недоумок, — говорил тем временем Джон Барнак с презрением и гораздо громче, чем прежде. — И конечно же, не будь он зятем Джима Тули, никому бы и в голову не пришло предложить ему этот пост. Но если у тебя к тому же есть жена — чемпионка мира по откровенному подхалимству, то вполне понятно, почему ты достигаешь таких карьерных успехов.

Он разразился звучным металлическим смехом, а потом пустился в оживленную филиппику против непотизма при назначении на высокие должности.

Себастьян вслушивался, но не в сами слова, а в то, что за ними пыталось скрыться, но все же оставалось предельно ясным. Его отец был полон горечи и озлобления на руководство партии и на правительство, которые за все годы преданной и неустанной работы не вознаградили его ни должностью, ни хотя бы кабинетом в коридорах власти. Гордость не позволяла ему жаловаться: приходилось довольствоваться сардоническими выпадами против глупости и некомпетентности тех, кого предпочли ему. Но не понимал он и другого. В конце концов, если ты не умел сдерживаться и разговаривал со своими коллегами, словно они были недоразвитыми и плохо дисциплинированными детьми, то стоило ли потом удивляться, что при раздаче сладкого тебе не доставалось ни кусочка?

Старый, усталый, озлобленный. Но это было еще не все, отметил Себастьян, пристальнее вглядываясь в хмурое морщинистое лицо и вслушиваясь в голос, постепенно становившийся все более неуместно громким и командирским. Это еще не все. Едва заметно, почти непостижимым образом, но в фигуре отца проглядывала некая деформация — словно он постепенно превращался в горбуна или карлика. «Тот, кто не стремится сделаться лучше, становится хуже». Но нет, это звучало слишком примитивно и огульно. «Тот, кто не растет вверх, начинает расти вниз». Похоже на правду. Подобный человек мог в итоге закончить жизнь не мудрым стариком, а просто состарившимся зародышем. Взрослый человек, если иметь в виду ум и профессиональные качества, но всего лишь эмбрион в смысле духа и даже (какие бы черты стоика и прочие добродетели он в себе ни выработал) характера. В свои шестьдесят пять лет отец по-прежнему стремился оставаться таким же, каким был в пятьдесят пять, в сорок пять, в тридцать пять. Но именно это стремление и делало его сейчас настолько непохожим на себя, настолько другим. Потому что в прошлом он был как раз таким, каким и должен выглядеть занятый важным политическим делом молодой человек или мужчина средних лет. А сейчас он выглядел так, как не должен выглядеть человек преклонных лет, и потому его потуги оставаться тем же превращали его в неприглядную аномалию. Но, разумеется, в эпоху, когда уже был придуман Питер Пэн, а чудовищный ужас задержки человека в развитии возвели чуть ли не в ранг идеала, отец уже мог считаться далеко не исключением из правил. Мир полнился стариками за семьдесят, которые разыгрывали из себя тридцатилетних и чуть ли не подростков, в то время как им давно подошел срок готовиться к смерти, необходимо было отыскать духовную реальность, которую они на протяжении всей жизни прятали под целой горой разнообразного мусора. Конечно, в случае с его отцом мусор был высочайшего качества — личная аскеза, служение обществу, обширные познания, политический идеализм. Но его духовная сущность оказалась тем не менее так же надежно погребена, как если бы он всю жизнь был азартным игроком или, например, удовлетворял чрезмерные сексуальные аппетиты. Вероятно, даже более глубоко. Потому что завзятый картежник или отпетый развратник не воображали свои занятия чем-то достойным уважения и имели шанс раскаяться, встав на праведный путь. А вот хорошо информированный и достойный гражданин был настолько уверен в своей моральной и интеллектуальной правоте, что едва ли когда-либо допускал мысль, что ему следовало бы изменить образ жизни. Спасется скорее мытарь, но не фарисей.

Разговор постепенно и неизбежно перешел от темы партийного кумовства к тому, что должно произойти по окончании войны... До самого последнего времени, размышлял Себастьян, слушая отца, этот верный идолопоклонник будущего получал от своего бога хотя бы благословение в виде источника энергии для служения излюбленной мечте о социальных реформах. Но теперь он не только не пожинал плодов своего поклонения, но и стал жертвой того, что всю жизнь боготворил. Будущее и его проблемы теперь мучили его, как больная совесть или неудовлетворенная страсть.

Во-первых, следовало рассмотреть ближайшее будущее. На континенте царил такой ужасающий хаос, что для миллионов людей военные невзгоды скоро покажутся временем относительного процветания в сравнении с нынешней ситуацией. Даже в Англии наряду с огромным чувством облегчения будет присутствовать определенная ностальгия по простоте военной экономики и организации жизни. А что творится в Азии! Полная политическая неразбериха, невероятный голод и эпидемии, нарастающие настроения расовой ненависти и подспудные, сознательные или нет, но приготовления к грядущим войнам между людьми с разными оттенками цвета кожи! Джон Барнак воздел руки вверх, а потом позволил им упасть в жесте, означавшем полнейшую безнадежность. Но это, разумеется, далеко не все. Словно подстрекаемый мстительными фуриями, он перешел к более отдаленной во времени перспективе. В Англии, в Западной Европе и в Америке численность населения едва ли сколько-нибудь значительно увеличилась за последние тридцать лет, а почти одна пятая их обитателей достигли пенсионного возраста. И на фоне этого одряхления поднималась Россия с более чем двумястами миллионами преимущественно молодых людей, столь же самонадеянных, целеустремленных и империалистически настроенных, какими были англичане в давно ушедшую эпоху своей экономической и демографической экспансии. А восточнее России маячил Китай с почти пятью сотнями миллионов жителей, которых тоже постепенно начинали охватывать националистические настроения и желание развивать промышленный потенциал. Тем временем к югу от Гималаев четыреста или пятьсот миллионов голодающих жителей Индии в отчаянии пытались обменять продукцию своей дешевой рабочей силы на средства к существованию, которые позволили бы им нарастить население еще на пятьсот миллионов, а среднюю продолжительность жизни снизить еще на несколько лет.

Главным итогом войны, продолжал он мрачно, станет ускорение процессов, которые в противном случае носили бы более постепенный характер и потому не имели бы столь катастрофических последствий. Это, в частности, процесс стремления России к господству в Европе и на Среднем Востоке, экспансия Китая на остальной территории Азии и движение Азии в целом в сторону индустриализации. Потоки дешевых товаров хлынут на рынки стран с белым населением. И белый человек воспримет это как новый casus belli — повод к неминуемой войне между расами.

— А эта война станет чем-то вроде...

Джон Барнак бросил фразу незавершенной и начал говорить о несчастьях, свалившихся на Индию, — о засухе в Бенгалии, о пандемии малярии, о тюрьмах, переполненных людьми, бок о бок с которыми он сам еще несколько лет назад сражался за swaraj[[93]](#footnote-93). Нотки новой безысходной горечи зазвучали в его голосе. И не только потому, что ему приходилось жертвовать своими политическими симпатиями. Нет, корни его отчаяния уходили гораздо глубже. Он ведь был убежден, что любые, самые благородные политические принципы становились неважными перед лицом реальных проблем, сводившихся к простейшей арифметике, к соотношению численности населения и площадей пахотных земель. Слишком много людей, слишком мало орошаемых полей. И вот благодаря технологическому прогрессу, Pax Britannica и Мальтусу для одной шестой части человечества кошмар становился повседневной реальностью.

Себастьян отправился в кухню, чтобы заварить чай. Сквозь оставленную открытой дверь он секунду слышал вой труб и саксофонов, затем наводящие тоску, хотя и эмоциональные реплики актрис из какой-то драматической постановки по радио, а потом более спокойный мужской голос — его отец настроил приемник на новости.

Когда он вернулся в гостиную, выпуск уже закончился. С закрытыми глазами Джон Барнак откинулся на спинку кресла и, казалось, дремал. Лицо и обмякшее тело застигнутого врасплох человека выдавали крайнюю степень утомления. Когда Себастьян ставил поднос на столик, звякнула чашка. Отец вздрогнул и резко выпрямился. Изможденное лицо мгновенно вновь обрело знакомое выражение сосредоточенной целеустремленности. Тело вновь напружинилось, готовое к любому действию.

— Ты уже слышал про русских и чехов? — спросил он.

Себастьян покачал головой. Отец просветил его. Всплыли новые детали договора, рассчитанного на двадцать лет.

— Вот видишь! — закончил он торжествующе. — Это уже началось. Гегемония России в Европе.

Себастьян осторожно передал ему до краев налитую чашку. Еще не так давно, отметил он, речь бы шла не о «гегемонии России», а о «советском влиянии». Но это было до того, как отца особо заинтересовали проблемы численности населения. А теперь к тому же Сталин пересмотрел традиционное отношение революционеров к религии. Православную церковь снова использовали как инструмент укрепления национализма. Открылись новые семинарии, появился свой аналог Санта-Клауса, и миллионы людей свободно осеняли себя крестным знамением перед иконами.

— Всего год назад, — продолжал Джон Барнак, — мы бы ни за что не разрешили чехам пойти на это. Ни за что! Но теперь выбора не осталось.

— В таком случае, — сказал Себастьян после короткой паузы, — быть может, неплохо было бы по временам уделять внимание проблемам, где у нас выбор еще остался.

— Что ты имеешь в виду? — спросил отец, подняв на него взгляд, в котором сквозила подозрительность.

— Оставив в стороне всех этих русских, ты всегда имеешь возможность задуматься о природе вещей.

На лице Джона Барнака отобразилось выражение презрения и жалости, а потом он разразился смехом, звучавшим так, словно кучу металлолома сваливали из кузова самосвала на свалку.

— Четыреста дивизий, — сказал он, когда приступ миновал, — а мы противопоставим этому высокие мысли о Газообразном Позвоночном!

Это была ремарка в его старом добром стиле, но с той лишь разницей, что старый добрый стиль превратился теперь в новый стиль человека, который сам себя превратил в карлика и сам же успешно проделал над собой духовный аборт.

— И все же, — сказал Себастьян, — если бы ты довел эту мысль до... — Он замялся в поисках слова. — До того, чтобы она стала частью твоего существа, ты бы стал совершенно иным, не таким, как сейчас.

— О, это несомненно! — саркастически воскликнул Джон Барнак.

— А подобная духовная трансформация заразительна, — продолжал Себастьян. — И со временем эта инфекция могла бы распространиться так широко, что люди, которые командуют всеми теми батальонами, потеряли бы всякое желание пускать их в дело.

Еще один самосвал металлолома с оглушительным грохотом разгрузился. На этот раз Себастьян рассмеялся тоже.

— Да, — признал он, — должно быть, это звучит смешно. Но, в конце концов, один шанс на миллион — лучше, чем отсутствие шансов вообще, как будущая ситуация, которую рисуешь ты.

— Нет, я не говорил ничего подобного, — возразил отец. — Разумеется, сначала наступит период перемирия. Достаточно длительного перемирия.

— Но не мира?

Отец помотал головой:

— Нет. Боюсь, что настоящего мира нам ждать не приходится.

— Потому что мир никогда не приходит к людям, которые прямолинейно работают во имя мира. Он всегда является побочным продуктом чего-то более важного.

— Например, поклонения Газообразному Позвоночному, не так ли?

— Точно, — подтвердил Себастьян. — Мир может воцариться только там, где есть место метафизике, которую все признают, а некоторым даже удается по-настоящему осознать. — И когда отец вскинул на него удивленный взгляд, добавил: — Я говорю о непосредственном интуитивном восприятии. Это подобно тому, как ты осознаешь красоту поэзии или же, если на то пошло, женщины.

На этот раз молчание продлилось долго.

— Не думаю, что ты хорошо запомнил, какой была твоя мама, или я ошибаюсь? — неожиданно спросил Джон Барнак.

Себастьян покачал головой.

— Мальчиком ты был очень похож на нее, — продолжал отец. — Это выглядело так странно... Почти пугающе. Я и представить себе не мог, что ты дойдешь до этого.

— До чего?

— До того, о чем мы только что говорили. Разумеется, я продолжаю считать все это полнейшей чепухой, — поспешно добавил он. — Но должен признать... — На его лице появилось совершенно не присущее ему выражение смущения. А потом он словно испугался слишком откровенного признания в своей привязанности к сыну. — Должен признать, что тебе это нисколько не повредило, — закончил он рассудительно.

— Спасибо, — сказал Себастьян.

— Я ведь помню его еще совсем юнцом, — сказал отец, сделав глоток чая.

— Кого?

— Сына старика Ронтини. Бруно — так, кажется, его звали?

— Да, Бруно.

— В то время он не произвел на меня большого впечатления.

Себастьян вообще сомневался, что на отца кто-либо когда-нибудь производил большое впечатление. Он был всегда слишком занят, полностью поглощен своей работой, увлечен своими идеями, чтобы обращать внимание на других людей. Он смотрел на них только как на субъектов юридических дел, рассматривал как примеры тех или иных политических или экономических групп, но не различал в них личностей, индивидуальностей мужских и женских.

— Но, как я понимаю, в каком-то смысле он был незауряден, — продолжал Джон Барнак. — В чем-то даже исключителен. Хотя бы потому, что так считал ты.

Себастьян был даже тронут. Впервые в жизни отец сделал ему нечто вроде комплимента, допустив, что он, возможно, не безнадежный дурачок.

— Я знал его намного лучше, чем ты, — сказал он.

С болезненным усилием Джон Барнак сумел поднять свое тело из глубокого кресла.

— Время отправляться спать, — сказал он таким тоном, словно изрекал некую универсальную истину, а не просто признавался в усталости. Но потом он повернулся к Себастьяну: — Что такого особенного ты в нем нашел?

— Что в нем было особенного? — медленно повторил вопрос Себастьян. Он задумался, не сразу понимая, как лучше ответить. Он ведь мог столь многое рассказать. Упомянуть о его чистоте, к примеру, об исключительной правдивости во всем. Или о простоте, отсутствии всякой претенциозности. Или о нежности, его особой нежности, такой проникновенной, но в то же время полностью лишенной сентиментальности, не направленной даже на конкретную личность, потому что она была выше личностного начала, но ни в коем случае не отрицала и не принижала его. Или о том факте, который открылся Себастьяну в самом конце: Бруно являл собой не более чем тончайшую и прозрачную раковину, в которой заключалось нечто несравненно более ценное, чем он сам, — неземная красота мира, сила веры и познания. Но это, подумал Себастьян, относится к разряду вещей, которые его отец даже не попытается понять. Он поднял взгляд. — Больше всего меня поразила в Бруно, — сказал он, — его способность убедить тебя, что во всем заключен смысл. Причем не произнося ни слова. Просто самим своим присутствием.

Вместо того чтобы снова расхохотаться, как ожидал Себастьян, Джон Барнак стоял неподвижно, молча потирая рукой подбородок.

— Мудрый человек, — произнес он, — не задается вопросом о смысле. Он делает свою работу, а проблемы добра и зла остаются где-то на уровне обмена веществ. Вот в них действительно заключен хотя бы какой-то смысл.

— Но мы говорим не об отдельной личности, — сказал Себастьян. — Не о человеке, а о части космического порядка. Именно поэтому животным недоступны метафизические понятия. Они полностью сливаются со своей физиологией и через нее постигают космический порядок. В то время как человеческие существа сливаются, к примеру, с деньгами или выпивкой, политикой или литературой. А ни одна из этих сфер к космическому порядку отношения не имеет. И в таком случае только естественно, что для людей ничто не имеет смысла.

— И что же можно с этим поделать?

Себастьян улыбнулся, встал и провел ногтем по решетке динамика радиоприемника.

— Ты можешь продолжать слушать новости, а новости — всегда плохие, даже когда их пытаются подать как хорошие. Или же ты можешь сконцентрироваться и постараться услышать нечто совершенно иное.

Он ласково взял отца за руку.

— Но не лучше ли нам пойти посмотреть, готова ли для тебя гостевая комната?

1. Перевод М. Кузмина. — *Здесь и далее примеч. пер.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Кошачьи язычки (*фр.*). [↑](#footnote-ref-2)
3. Любовь к судьбе (*ит.*). [↑](#footnote-ref-3)
4. Дж. Китс. Падение Гипериона. [↑](#footnote-ref-4)
5. Персонажи произведений У. Шекспира «Буря» и «Сон в летнюю ночь». [↑](#footnote-ref-5)
6. Гарантирую (*нем.*). [↑](#footnote-ref-6)
7. Очень тихо (*ит.*). [↑](#footnote-ref-7)
8. Невыразительно (*ит.*). [↑](#footnote-ref-8)
9. «Меня зовут Падди Лира» (*народная песня*). [↑](#footnote-ref-9)
10. Боже! (*ит.*) [↑](#footnote-ref-10)
11. Известная британская феминистка. [↑](#footnote-ref-11)
12. Итальянская актриса. [↑](#footnote-ref-12)
13. У. Вордсворт. Нарциссы. [↑](#footnote-ref-13)
14. От *англ* . puss — кошечка. [↑](#footnote-ref-14)
15. А. Теннисон. Принцесса. [↑](#footnote-ref-15)
16. Там же. [↑](#footnote-ref-16)
17. «Мы были скучны в блестящем солнцем воздухе» (*ит.*). [↑](#footnote-ref-17)
18. Мировая скорбь (*нем.*). [↑](#footnote-ref-18)
19. Дорогой сорт гаванских сигар. [↑](#footnote-ref-19)
20. Положение обязывает (*фр.*). [↑](#footnote-ref-20)
21. Дж. Донн. Элегия VII. [↑](#footnote-ref-21)
22. Контраст (*фр.*). [↑](#footnote-ref-22)
23. Цвет вечности (*фр.*). [↑](#footnote-ref-23)
24. Добрый день! (*ит.*) [↑](#footnote-ref-24)
25. «Зеленая» лазанья (*ит.*). [↑](#footnote-ref-25)
26. Великий (*лат.*). [↑](#footnote-ref-26)
27. Жрец малый (*лат.*). [↑](#footnote-ref-27)
28. Крошка (*ит.*). [↑](#footnote-ref-28)
29. Свиньи (*ит.*). [↑](#footnote-ref-29)
30. Одна, одна (*ит.*). [↑](#footnote-ref-30)
31. Дорогая (*фр.*). [↑](#footnote-ref-31)
32. Я ужасно соскучился (*фр.*). [↑](#footnote-ref-32)
33. Вставная челюсть (*фр.*). [↑](#footnote-ref-33)
34. Всего лишь мосты — такие небольшие мостики, которые по сути есть мосты вздохов, по ним мы движемся от дворцов юности к темнице старости (*фр.*). [↑](#footnote-ref-34)
35. Срочно (*фр.*). [↑](#footnote-ref-35)
36. И в то же время столько нежности — столько остроумия! (*фр.*) [↑](#footnote-ref-36)
37. Сначала нужно придумать (*фр.*). [↑](#footnote-ref-37)
38. Специально для тебя, крошка (*ит.*). [↑](#footnote-ref-38)
39. Сейчас начнется пытка (*ит.*). [↑](#footnote-ref-39)
40. В которой повествуется о любви к (*ит.*). [↑](#footnote-ref-40)
41. Не англичанин, но ангел (*лат.*). [↑](#footnote-ref-41)
42. Пойдемте! (*ит.*) [↑](#footnote-ref-42)
43. Для понимающего сказано достаточно (*лат.*). [↑](#footnote-ref-43)
44. Искаженная цитата из О. Суинберна. [↑](#footnote-ref-44)
45. Голос и больше ничто (*лат.*). [↑](#footnote-ref-45)
46. Очарование пустяков (*лат.*). [↑](#footnote-ref-46)
47. Из Овидия: «Медленно, медленно бегите, ночные кони!» Метафора относится к быстротекущему времени. [↑](#footnote-ref-47)
48. Радуйся, истинное тело (*лат.*). [↑](#footnote-ref-48)
49. Малютка Морфиль (*фр.*). [↑](#footnote-ref-49)
50. Отсутствие логики (*лат.*). [↑](#footnote-ref-50)
51. Очень громко! (*ит.*) [↑](#footnote-ref-51)
52. Транспортные суда, производившиеся в США в годы Второй мировой войны. [↑](#footnote-ref-52)
53. Скрюченный горбун… как живешь ты в этом мире? (*ит.*) [↑](#footnote-ref-53)
54. Извините, синьор… Извините (*ит.*). [↑](#footnote-ref-54)
55. Что вы делаете? (*ит.*) [↑](#footnote-ref-55)
56. Опасные прыжки (*фр.*). [↑](#footnote-ref-56)
57. Все возможно (*фр.*). [↑](#footnote-ref-57)
58. Последнее «прости» (*фр.*). [↑](#footnote-ref-58)
59. Верно? (*фр.*) [↑](#footnote-ref-59)
60. Самые красивые песни — песни отчаяния,

    Бессмертными стали те, в которых звучат рыдания (*фр.*). [↑](#footnote-ref-60)
61. Но, увы… (*фр.*) [↑](#footnote-ref-61)
62. Дорогая баронесса! (*нем.*) [↑](#footnote-ref-62)
63. И королева Буэнос‑Айреса! (*исп.*) [↑](#footnote-ref-63)
64. Невмешательство государства в дела частных компаний (*фр.*). [↑](#footnote-ref-64)
65. Так добр, так добр (*ит.*). [↑](#footnote-ref-65)
66. Обязательное условие (*лат.*). [↑](#footnote-ref-66)
67. Издание Гарвардского университета, содержащее наиболее известные произведения греческой и римской литературы с параллельными переводами на английский язык. [↑](#footnote-ref-67)
68. Вот оно! (*ит.*) [↑](#footnote-ref-68)
69. Дж. Чосер. Кентерберийские рассказы. [↑](#footnote-ref-69)
70. Так, в искренней сливаяся мольбе

    За ближних и себя, брели толпою

    Печальною те призраки вперед… (*ит.*)

    Перевод О. Чюминой. [↑](#footnote-ref-70)
71. Игра слов. Себастьян обыгрывает англ. «apotheosis» и «deifivation» — таинство святости и обожествление. [↑](#footnote-ref-71)
72. Какая дикость! (*исп.*) [↑](#footnote-ref-72)
73. Маленький бодхисаттва, к примеру (*фр.*). [↑](#footnote-ref-73)
74. Замысловатые узоры с завитками и мягким теснением (*фр.*). [↑](#footnote-ref-74)
75. Упаковка (*фр.*). [↑](#footnote-ref-75)
76. Она нашлась.

    Кто? Вечность.

    Это море, ушедшее

    За солнцем (*фр.*). [↑](#footnote-ref-76)
77. То есть (*фр.*). [↑](#footnote-ref-77)
78. Я так больше не могу (*фр.*). [↑](#footnote-ref-78)
79. Давай покончим с собой, Габриель (*фр.*). [↑](#footnote-ref-79)
80. Лавка (*ит.*). [↑](#footnote-ref-80)
81. Провокаторы (*фр.*). [↑](#footnote-ref-81)
82. Индуистская мантра. [↑](#footnote-ref-82)
83. У меня больше воспоминаний, чем если бы я прожил тысячу лет (*фр.*). Ш. Бодлер. [↑](#footnote-ref-83)
84. Нет большей муки, чем (*ит.*). Данте. Божественная комедия. [↑](#footnote-ref-84)
85. Посреди трупного смрада (*фр.*). [↑](#footnote-ref-85)
86. И дрожь воды морской (*ит.*). [↑](#footnote-ref-86)
87. …Пространства

    Бескрайние за ними, и молчанье

    Неведомое, и покой глубокий (*ит.*).

    Дж. Леопарди. Бесконечность. Перевод А. Ахматовой. [↑](#footnote-ref-87)
88. Безмерности все мысли исчезают,

    И сладостно тонуть мне в этом море (*исп.*).

    Там же. [↑](#footnote-ref-88)
89. Но где умирает любовь (*фр.*). [↑](#footnote-ref-89)
90. С точки зрения вечности (*лат.*). [↑](#footnote-ref-90)
91. Персонаж пьесы Шекспира «Генрих IV. [↑](#footnote-ref-91)
92. В то время Канада еще имела статус британского доминиона. [↑](#footnote-ref-92)
93. Самоуправление или независимость (*хинди*). [↑](#footnote-ref-93)